



АЛТЕРНАТИВА

Денис
Коваленко

Тау ированные Ма ка ро ны

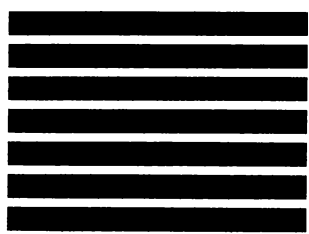


Денис
Коваленко

Тау

ированные

Ма
Ка
ро
ны



МОСКВА 2005

УДК821.161.1-32Коваленко Д.

ББК 84(2Рос=Рус)6-44

К56

Оформление Андрея Рыбакова

Коваленко, Денис

К56 Татуированные макароны / Денис Коваленко. — М.: Зебра Е, 2005. — 428, [4] с. — (Наша Альтернатива).

ISBN 5-94663-168-3

СIP РГБ

УДК 821.161.1-32Коваленко Д.

ББК 84(2Рос=Рус)6-44

© Коваленко Д., 2005

© Рыбаков А., художественное оформление, 2005

© Шукин А., макет, 2005

© Издательский дом «Зебра Е», 2005

ISBN 985-13-4237-8 (Харвест)

Содержание

Gamover

9

День первый

11

День второй

95

День третий

226

Татуированные макароны

263

Может быть, крикнут против меня и скажут, что я человек болезненный, истерический, клевету чудовищно, брежу, преувеличиваю. Пусть, пусть, — и Боже, как бы я был рад тому первый! О, не верьте мне, считайте меня за больного, но все-таки запомните слова мои: ведь если только хоть десятая, хоть двадцатая доля в словах моих правда, то и ведь и тогда ужасно! Посмотрите, господа, посмотрите, как у нас застреливаются молодые люди: о, без малейших гамлетовских вопросов о том: «Что будет там?..»

Ф.М.Достоевский
«Братья Карамазовы»

Gamover

День первый

I

На обыкновенной кухоньке обыкновенного хрущевского дома сидели четверо подростков, играли в карты. Деньги, выделенные им мамами на карманные расходы, закончились, а настоящий азарт только наступил. Бросать игру не хотелось, и все (каждый уверенный в своих силах), не сговариваясь, решили продолжить игру на запись, с дальнейшей отдачей в течение трех дней.

Игроки были ровесниками, более того — одноклассниками. Учась вместе уже девять лет, они были уверены в том, что знают друг друга, и никто не сомневался, что именно он выиграет, потому что иначе и быть не может: обмана нет никакого, а раз нет обмана, то и выиграть должен тот, кто умнее и кому больше везет.

Кухонька была небольшая. Поставив раскладной обеденный столик по центру, игроки сели друг против друга. Спинной к окну сел маленький, толстый, лопоухий Дима Абрамов, Абрамчик, как все его звали. Когда решили играть без денег, на запись, маленькие глазки его заблестели и пальчики затряслись. Из всех четверых это был самый хитрый и самый удачливый подросток. Жили они вдвоем с матерью, женщиной предприимчивой и безумно любящей своего сыночка. Цель у нее была одна: Димуля дол-

жен быть лучше всех одет, и чтобы ему все во всем завидовали. В хозяйстве ее находились два вино-водочных магазина, деньги водились всегда, так что будущее сына рисовалось ей только в прекрасно-замечательных тонах. К совершеннолетию сына ждала отдельная трехкомнатная квартира, автомобиль и уже упомянутые магазины. Так что Абрамчик, в глазах остальных троих игроков, являлся первой кандидатурой на проигрыш.

Напротив Абрамчика сидел Муся (Рома Юдин). Если с Абрамчиком все ясно — фамилия Абрамов, потому и Абрамчик, Мусю прозвали Мусей за его слащавую улыбку и не менее слащавые глазки. Так и казалось, вот сейчас почеси его за ушком, и он замурлычет. Мама его работала в библиотеке, папа — в ЖЭКе слесарем. У Муси никогда не было таких больших денег, как у Абрамчика. Но большая игра возбудила и его, глазки его заблестели, губы еще более растянулись в улыбке, но это было единственным, что выдало его волнение.

У стены, по левую руку от Абрамчика и по правую от Муси, сидел Максим Быков. Очень крупный, грузный подросток, полностью оправдывающий свою фамилию, но, несмотря на это, его звали просто Макс. Еще в первом классе он крепко врезал одному из мальчишек, рискнувшему назвать его Быком. Больше желающих получить в морду не оказалось.

Четвертого подростка, на чьей кухне все, собственно и сидели, звали Ваня Мамкин. Его так и звали: или Ваня, или Мамкин. Ни большой силой, ни деньгами, ни хитростью он не обладал. Но из всех четверых он был самым азартным и самым увлекающимся игроком.

Привычно поправив и так хорошо сидевшие очки, Ваня взял в руки карты и, не торопясь, со вкусом, тасуя, уточнил:

— В козла, в дурака?

— В секу, — пискнул Абрамчик.

Голос у него только начал ломаться, временами был очень груб, а иногда, особенно когда волновался, становился писклявым и недетским, ближе к бабьему. Абрамчик этого ужасно не любил, тотчас смутился, быстро закурил и повторил уже своим нормальным «мужским» грубым голосом:

— В секу.

Игра чуть не сорвалась. Макс, Ваня, и даже Муся, не в силах сдержать смех, прыснули и, не стесняясь, то в унисон, то по очереди запищали, захрипели, зарычали:

— В секу, в секу, в секу.

Муся хихикал, причем беззвучно, как он это делал всегда. Покрасневший Абрамчик медленно потушил сигарету, молча поднялся из-за стола и, зло посмотрев на Мусю, как на предателя, обойдя Макса, направился к выходу.

Мгновенно сообразив, что деньги уходят, подростки схватились за Абрамчика, ни в какую не желая того отпускать: Макс крепко держал Абрамчика за плечи, а Муся и Ваня обрабатывали его морально. В ход шло все: и то, что игру бросать нельзя, и: «ты что, не пацан» — (на это особенно давил Ваня), и: «ты че,меньжанул играть дальше?!» (Макс особенно на это налегал). Словом, уговаривали, как могли. Только не извинялись. Наконец, Абрамчика уговорили: убедили его, что он пацан, вернули на место. Абрамчик закурил, карты вновь оказались у Вани, и вновь Ваня задал всем вопрос:

— В козла, в дурака? — специально это было или случайно, но шутка сработала.

— В секу! — умышленно пискнул Макс.

Этого Абрамчик уже снести не смог. Под громкий смех он резко поднялся и вновь двинулся к выходу. Сама сека отошла на второй план. Даже не на второй — она стала предлогом для издевательств над Абрамчиком. Появилась новая игра — уговорить, убедить, усадить Абрамчика на место, дожидаться вопроса Вани: «В козла, в дурака?» — и —

понеслись: «В се-ку, в секу, в секу». И дальше снова не выпускать Абрамчика, вновь усаживать его, и так до бесконечности, пока не надоест.

Абрамчику хотелось плакать. Покрасневший, он еле сдерживал слезы. От выкуренных сигарет мутило, кружилась голова, а в ушах только и слышалось козлиное: «В секу, в се-е-ку». И чем больше Абрамчика мутило, тем звериней становился азарт остальных. Уже уставший, злой, задерганный, Абрамчик сидел на стуле спиной к окну и молча ждал, когда же кончится эта групповая истерика. Сейчас больше всего ему хотелось сыграть в эту секу, хотелось отомстить: Мусе-предателю в первую очередь, Макс-у, этому жирному быку, Ване — очкастому ублюдку. Ему — особенно, совсем не скрывавшему своего презрения и превосходства над ним, над Димой Абрамовым. Поймав паузу, Абрамчик быстро и внятно сказал:

— Будем играть, или будем стебаться?

— В секу?! — истерика с новой силой окатила Абрамчика, но он уже не краснел, не вскакивал с места, просто сидел, мял пальцами сигарету, ждал своего времени, когда будет смеяться он, а в этом Дима Абрамов не сомневался ни на секунду. Если он проиграет, пусть даже тысячу рублей, он-то отдаст. И не в три дня, а в три часа. А если кто-нибудь из этой нищей троицы проиграет хотя бы сто рублей, не то, что в три дня, в три месяца не расплатится. И здесь уже будет смеяться Дима Абрамов. Но им он этого не сказал, а лишь заметил:

— Если не будем играть, я уйду.

— В козла, в дурака? — Все-таки неутомима детская энергия. Шутка и теперь сработала. Зная, что все только и ждут, когда он поднимется и попытается уйти вновь, Абрамчик устало отвернулся к окну. А за окном весна. Еще дня три-четыре назад все ходили в пальто, в тяжелых дубленках, а теперь в свитерках, в легких курточках. Девушки ножки оголили, и за окном, по асфальтовой дорожке, цо-

кали такие... э-эх!.. что у Абрамчика даже слезы на глаза навернулись. И про игру он забыл, и про обиду.

— Блин, какие ножки, — стоном вырвалось из самой глубины души Абрамчика.

Тут же все повскакали и бросились к окну.

— Где?! Где?! Где?!

— Да вон же, — открыв окно, Абрамчик вытянул руку вслед удаляющихся ножек. — Девушка, повернись, рубль дам, — истошно взвыл он.

— Ты чего, перестань, услышит же, — Ваня испугался, даже покраснел, и, оправдываясь, добавил: — Красивая же. Была бы какая-нибудь уродина, тогда бы я тоже поорал.

Почувствовав свое превосходство, Абрамчик для крутости закурил, выдохнул с дымом:

— Девственник... Мальчик... Дрочун... — и манерно стряхнул пепел, постукивая по сигарете прямым указательным пальцем.

Ваня покраснел еще больше, напрягся, кулаки сжал и четко выдал:

— Ты кого это онанистом назвал?

Что Абрамчик, что Ваня физической силой друг от друга особенно не отличались. Роста одинакового. Абрамчик толстенький, кругленький. Ваня худой, сутулый, к тому же очкарик. Шансы равные. Муся, конечно, мог влезть, если что. Макс, тот бы ни за кого не влез, разнял бы в нужный момент, и то под вопросом. И даже если бы Муся не влез, и Ваня навалял бы Абрамчику, то завтра же, в школе, Абрамчик пожаловался бы кому-нибудь, и Ване точно бы наваляли. И Абрамчик это знал, сволочь, и повторил:

— Дрочун, — и пепел манерно стряхнул.

Не ответить Ване было нельзя:

— Дома не будем, — выдавил он сквозь зубы, — выйдем, только на разы... А то я тебя знаю, в нос получишь и сразу жаловаться побежишь.

— Базара нет, — Абрамчик выбросил в окно сигарету и первым направился к выходу. Следом — Муся. Макс с Ваней, не торопясь, последними.

Выйдя из подъезда, пацаны уверенно направились к логу. Аккуратно прошли по узенькой тропинке мимо гаражей и оказались на полянке. Она была небольшая, шагов в десять. У самого обрыва, меж двух тополей, висели качели, у гаражей стояли деревянный стол и две скамейки.

Муся первым делом прыгнул на качели. Подняв с земли палку, Макс выкатил из-под стола штук пять пустых водочных бутылок. Ногами спихнул их в лог.

— Козлы, бутылки-то могли за собой в лог выкинуть, — ругнулся он и вернулся к столу. Сел за него и весь во внимании уставился на бойцов. Встав так, что с одной стороны оказался овраг, а с другой — гаражи, бойцы смотрели друг на друга, напрягались, то сжимая, то разжимая челюсти, демонстрируя силу и решительный вид.

— Ну, чего, начинайте, — дал команду Макс.

— Как будем, до первой крови или до слез? — уточнил Ваня. — Или кто кого первый с ног повалит?

— Мне все равно, — гордо заявил Абрамчик и сплюнул.

— Тогда пусть Муся с качелей слезет или не качается, а то голова от него кружится.

В ответ Муся еще сильнее стал раскачивать и так высоко взлетавшие качели.

— Мне он лично не мешает, — и Абрамчик еще раз сплюнул.

— Муся, Ваня прав, кончай качаться, а то ногой кого заденешь, а это уже не на разы.

Макса Муся послушался, сбавил темп и остановился.

— Начинайте.

— Подожди, Макс, пусть он даст слово пацана, что если я ему сейчас навтыкаю, то он завтра жаловаться никому не будет.

— Да на фиг ты мне уперся, я тебя и сам завалю, — и Абрамчик еще раз сплюнул, но в драку лезть не торопился.

— Ни фига, ты слово пацана дай.

— Чегоменьжуешь? Ну, на тебе, слово пацана, зубан даю, — Абрамчик шелкнул пальцем по зубу, — ну, че, будем драться или тыменьжанул? — Абрамчик был смел на редкость.

Ванина нерешительность разжигала его, он уже был готов подскочить к Ване и сначала с левой ему, потом с правой, потом подсечку.. Сняв очки, Ваня протянул их Максу, встал в боксерскую стойку и приготовился к бою. Абрамчик тоже встал в стойку, но в каратистскую: ноги широко расставил, присел низко вполоборота, руку одну согнул, а другую угрожающе вперед выставил, но быстро устал — ноги от напряжения заболели, и, чтобы виду не показывать, что от усталости из стойки вышел, подпрыгнул и, делая угрожающие движения руками, мелко задержался, изображая настоящего каратиста.

Сняв очки, Ваня сразу же потерял Абрамчика. Что-то аморфное, бестелесное прыгало у него перед глазами. Сощурившись, Ваня ждал, когда это нечто на него прыгнет. От напряжения Ваню трясло, и он чувствовал, еще несколько минут такого напряжения и прыжков перед глазами — ни о какой драке и речи не будет: голова начнет раскалываться.

— Ну, давай, нападай, что ты прыгаешь, как Телепузик.

— Сам нападай, чего это я должен нападать?

— А я чего должен нападать?

— Вы драться будете или нет? — не выдержал Макс.

— А чего он не нападает?

— Пусть сам первый нападает.

Муся, сидя на качелях, безразлично наблюдал за бойцами. Бойцы на расстоянии пугали друг друга стойками. Макс притворялся усталым взрослым человеком, только из одолжения наблюдавшим за этим детством. Ваня сдался первым:

— Мне это надоело, — опустил руки, подошел к столу, надел очки и сел рядом с Максом.

— Меньжанул! Меньжовка! Баба! Дрочун! Ну, чего ты, давай драться! — вызывающе выкрикивал Абрамчик.

— Да пошел ты, сам дрочун, — и, подумав, Ваня добавил: — ты, Абрамчик, Шива многорукий, тебе надо в Индию ехать, а у меня от твоих танцев голова болит.

То, что дрочуном его называли, на это Абрамчик не обиделся, а вот на Шиву не знал, обижаться или нет. Первое сравнение вылезло со словом «вшивый».

— Сам ты вшивый, очкарик недоношенный.

Ваня устало отмахнулся. Поорав еще, повызывав Ваню на бой и получив от этого глубокое удовлетворение, Абрамчик напоследок назвал Ваню еще раз «вшивым дрочуном» и, хлопнув Мусю по плечу, дескать, видал, как я его, сел за стол. Продолжая притворяться уставшим, Макс незначай промолвил:

— А я карты с собой захватил, так, на всякий случай, — и в доказательство достал из кармана открытую Ваней колоду. — Может, сыграем в секу? Я серьезно.

Ваня хихикнул и сквозь смехок брякнул:

— А может, в козла или в дурака?

У Макса было крепкое желание выиграть денег, смеяться ему надоело, драки не получилось, до вечера времени валом, так что играть он решил сейчас и всерьез, и поэтому сказал:

— Хорош, пацаны, кипишевать, давайте, садитесь, все равно делать больше нечего.

Абрамчик, вполне удовлетворенный Ваниным поражением в битве, с мыслью, что появился повод совсем этого гада в говне утопить, приосанился.

Слез с качелей и Муся. Телерь с одной стороны стола сидели Макс и Ваня, с другой — Абрамчик и Муся. Все с прежней верой в победу и жадой справедливого мщения.

Максу до мщения дела никакого не было, ему денег хотелось выиграть. А про Мусю и понять было ничего нельзя. Карты оказались у Вани в руках. Тщательно их тасуя, он, с нескрываемым ехидством, повторил:

— В козла, в дурака?

— В секу, — сказал Макс, и сказал без шуток.

Ваня осекся, вытащил из колоды семерки, отложил их на край стола, и с явной дрожью в голосе (сейчас, правда, волновались все, кроме Муси, который, как обычно, с безразличием, что-то рассматривал на столе), положив перетасованную колоду на стол, уточнил:

— Три шестерки — сека, далее — три туза, потом — все по очкам; тузы липнут только к тузам, шестерки — к любой карте, у кого больше 21 — должен пройти дальше.

— Играем по рублю? — все согласно кивнули. — Только как будем считать, раз денег нет?

— Записывать будем, — и Макс, будто этого и ждал, достал из внутреннего кармана куртки тетрадный лист и ручку.

— Снимай, Макс, — предложил Ваня.

Сняв колоду, Макс передал ее Ване, и игра началась. Раздав каждому по три карты, Ваня вновь обратился к Максусу:

— Твое слово.

— Пас.

— Пас, — сказал и Абрамчик.

Пасанул и Муся.

— Три рубля мои, — не скрывая радости, вымолвил Ваня и нарисовал в тетрадке четыре кружочка, в каждом написал имя игрока и стрелки нарисовал от трех кружочков к своему, написав себе +3, противникам —1.

Не видя перед собой реальных денег, подростки проигрывали легко, даже сумму в 50 рублей считали несерьезной. Хотя для троих такие деньги стали бы существенной потерей. Но их пальцы не чувствовали сейчас хруста и ше-

леста купюр, а к воображаемым деньгам отношение всегда попроще.

С каждой раздачей азарт возрастал. Виртуальные деньги кочевали из одного кармана в другой. Проигравший двадцатку, тут же выигрывал тридцать. И следом с легкостью проигрывал 50.

Кто кому сколько должен, сейчас реально оценить никто не мог. Плюс-минус десять-двадцать рублей никто всерьез не воспринимал. И того пика, когда в азарте кричишь: «Сто?!», «Триста сверху!» — пока не было. Азарт только овладевал их головами, оттесняя разум на задворки. Но время делало свое дело: вот уже у Абрамчика кончились сигареты, Ваня до крови сгрыз ногти на левой руке, у Макса уже с трудом получалось выглядеть внешне спокойным. Поначалу он очень старался быть таким, но через час стал агрессивен, начал срывался на крик и даже раза два вскочил и стукнул кулачищем по столу. Один Муся не терял своего безразличия, будто не на деньги играл, а на поцелуи с девочками. Абрамчик, зная свое материальное преимущество, периодически пытался вывести кого-нибудь на крупную игру, иногда волнуясь, иногда спокойно говорил:

— Сто рублей сверху, или пятьсот рублей дальше.

Но, услышав ставку, все дружно пасовали. Подростки были еще слишком неопытны: радость от пришедшей крупной карты скрывали плохо — никак не скрывали. А когда пытались блефовать, слишком уж старались казаться нервными, изображая радостное волнение от якобы крупной карты. Остальные это видели, и блефующий, понимая, что он разоблачен, пасовал себе в минус. Но вот карты, уже потрепанные, оказались у Макса. Дав снять Абрамчику, он раздал каждому по три, положил колоду и вдруг спросил:

— А играем до скольких? Пока не одуреем? Или все-таки время обозначим?

— Предлагаю до восьми вечера, — предложил Муся. — В двадцать минут девятого по РТР кино будет... Очень интересное кино, «Прирожденные убийцы». Довольно-таки милый фильм, рекомендую.

— Тогда ровно в 20.00, неважно, кто сколько проиграл, игру заканчиваем, заключил Макс и, для большей убедительности, снял с руки часы и положил их на стол.

— Сейчас три без пяти. Абрамчик, твое слово.

— Прошел. Десять дальше.

Муся пропасовал. Выдержав паузу, Ваня отложил свои карты и, глядя в сторону, произнес:

— Добил твои десять и тридцать дальше.

— Пас, — Макс бросил карты на стол.

— Добил твои тридцать и пятьдесят дальше.

— Сто, — коротко бросил Ваня.

Макс присвистнул:

— Вижу, пацаны, серьезная у вас карта.

— А вот мы и посмотрим, — сказав это, Абрамчик зло врезался глазами в Ваню и, после паузы тихо произнес: — Пятьсот.

Муся чуть заметно ободрился. Макс, странно улыбаясь, предупредил:

— Гляди, Ваня, тебе отдавать, — и замолчал.

Выпрямившись, Ваня еще раз внимательно посмотрел на свои карты, положил их на стол и чуть ли не шепотом, медленно, разделяя каждое слово, проговорил:

— Я добил твои пятьсот рублей и ставлю сверху еще пятьсот.

— Вы че, пацаны, охренели? — Макс вскочил с места, — Абрамчик, если ты добыешь, советую вскрыться... Ну, вы, блин, даете, — и сев, замолчал так же внезапно, как и вскочил.

Абрамчик ответил очень спокойно, в голосе не было даже намека на волнение, даже самого маленького намека. Твердая спокойная уверенность:

— Добил твои пятьсот и тысячу сверху.

Ваня не просто улыбнулся, он ощерился до десен. Розовое счастливое лицо каждым мускулом радовалось. Прыснув, он чуть не в истерике крикнул:

— Добил и еще штуку дальше.

Макс глупо смотрел то на цветущего Ваню, то на Абрамчика, твердое спокойствие которого улетучилось. Пальчики его затряслись, он стал искать сигареты, смял пустую пачку и, все сильнее сжимая ее в покрасневшей ладони, ответил:

— Добиваю твою тысячу, и вскрываемся.

— Базара нет, вскрывайся.

Абрамчик по одной открыл свои карты: туз, туз, шесть. Нет, Ваня не побледнел, но радость его исчезла вместе с улыбкой. Бросив карты на стол, он тихо вымолвил:

— Вара.

— Ни фига себе. Тоже тридцать три. — Макс схватил Ванины карты: шесть, шесть, туз. — Пацаны, это круто, это игра.

33 у обоих, равное число, победителей нет, а это значило, что игра должна продолжаться. На кону «лежало» 3380 рублей. Вара — игру следовало «варить» дальше. Ни Макс, ни Муся ввариваться в игру, разумеется, не захотели. Доставлять сумму, лежащую на кону, — они не идиоты. Гораздо интереснее быть просто зрителем. Азарта не меньше, риска — никакого, зато сколько удовольствия.

— Жаль, новой колоды нет, — вздохнул Макс. — Но ничего, и так сойдет.

Карты оказались в его руках.

— Если я раздам, это будет лучше. Предлагаю вам играть в открытую, а то и так сумму нагнали.

Даже для Абрамчика сумма была ощутимой. Но реальной... Как ни странно, сейчас, заморожено смотря на максовы торжественные манипуляции с картами (Макс был

торжественен, словно не карты тасовал, а нож для жертвоприношения затачивал), Абрамчик думал: «Вдруг... вдруг... хрен с ним... Сотню баксов возьму из шкафчика, мать не заметит... Одну бумажку точно не заметит. Так будет лучше... А... Все равно».

А Ваня ни о чем не думал. Не было мыслей. Он песню пел. И не потому, что петь хотелось, а просто песня привязалась. И песня гаденькая, как нарочно: «Когда я вижу, как ты танцуешь, малыш, ты меня волнуешь. Когда ты смотришь так серьезно, малыш, я тебя люблю». Лопухая морда Абрамчика, смотрящая так серьезно на карты, так гаденько вписывалась в эту песенку, а песенка так гаденько... Словом, Ваню аж передернуло, но избавиться от мелодии не получалось — слишком мотивчик был навязчивый.

Единственная мысль, что пробивалась сквозь песенку, была: «Зачем?! Зачем я сел играть? Зачем так ставку поднял?! Малыш, ты меня волнуешь... Если... Чем отдавать... Малыш, я тебя лю-ю-блю-ю». Губы Ванины были крепко сжаты и пальцы в кулаки сжаты, и казалось, сейчас вскочит Ваня, прыгнет — кулаками об стол бабах! — и стол треснет — так Ваня сильно напрягся.

Макс положил карты на стол.

— Снимай, — предложил он Абрамчику. Абрамчик снял колоду, положил на место.

— Теперь ты, — Макс указал Ване на колоду.

Сняв всего три верхние карты, Ваня засунул их под нижнюю и положил колоду на место.

— Ну, пацаны, держитесь...

Повернувшись к Абрамчику, Макс осторожно, точно сапер, стал выкладывать карты: Валет бубей, 10 треф... (Абрамчика передернуло)... Дама пик. Десять очков.

Откинувшись, Абрамчик простился с сотней баксов. Шанс, что карта у Вани будет ниже, равносильна...

— Ни... себе!!! Вот это номер! — Макс восторженно санданул кулаком по столу.

Ваня, бледный, взял в руки свои три карты и, не веря, вглядывался в них. Вдруг ошибка, вдруг не разглядел. Девять пик, девять бубей, восемь червей — девять очков.

— Этого не может быть, — поднявшись, Ваня застыл, не отрывая взгляда от карт, лишь губы шептали: — Девять... девять... восемь... Этого не может быть. И все разномасть — этого не может быть...

— Это игра, — произнес Муся и сладко потянулся.

— Это... конец. — Тихо ответил ему Ваня и сел на место. Теперь ему было все равно, что будет дальше. Он проиграл.

— Ну, почему же так сразу и конец. Время только четыре часа, ты еще можешь отыграться, у тебя есть еще четыре часа, — слова, произнесенные Мусей, вывели всех из молчаливого оцепенения.

— В натуре, Ваня, — Макс хлопнул его по плечу, — не меньжуй, отыграешься.

Даже Абрамчик смягчился:

— Расслабься, Ваня, у нас договор, играем до восьми. Так что сейчас продолжим, а там, глядишь, и отыграешься.

Выигрыш опьянил Абрамчика, любви и сострадания к Ване у него не прибавилось, но отмщение свершилось. Королем сидел он за столом, зная, что Ваня, этот ненавистный ему очкарик, теперь в полной его власти, он уже знал, как будет играть дальше — он будет все время пасовать, и пусть он сто, двести раз пропасует, но все равно, ни в жизнь не отыграть у него Ване три тысячи. В какое-то мгновение он понял, что деньги Мамкино ему не нужны (да и достать-то их тому неоткуда). Зачем ему деньги, у него этого добра хватает и без Вани. Гораздо большего захотел Абрамчик — унижить Ваню, раздавить его, заставить сделать то, от чего тот сдохнуть захочет, то, чего бы он никогда в своей жизни не сделал. А вот что?

Образы, один грязнее другого, рисовались в его маленькой лопоухонькой головке: Ваня при всем классе насилует отличницу — страхолюдину Светку Соколову. Ваня, голый, ползет по коридору к кабинету директора. Ваня мастурбирует на уроке алгебры возле доски на виду у всех, особенно, чтобы эта математичка, жаба очкастая, видела. Ваня мочится на вахтершу бабу Ньюру. Ваня убивает учителя биологии...

— Пацаны, предлагаю по пиву. Я угощаю, — Абрамчик вальяжно положил на стол сто рублей. — Играем по-настоящему, а какая игра без пива.

— Правильно, заодно и колоду новую купим, — Макс первым поднялся из-за стола.

А Ване хотелось плакать. Он не верил, что может отыгаться. Он ненавидел себя.

— Я буду сидеть здесь, и ждать вас. — И на молчаливый вопрос уверил: — Я никуда не убегу, — увидел смеющиеся глаза Абрамчика, покраснел и зло выпалил: — Да! Никуда я не убегу. Я не заяц; чтобы бегать. Я буду сидеть и ждать. А когда ты вернешься, я отыграюсь. И выиграю! Понял, ты? Выиграю!

— Ты меня на «понял» не бери, понял? — взъерепенился Абрамчик. — А убежишь — найду. Ты думай, где деньги будешь искать! Понял?

— Хорош, — Макс увлек за собой все больше горячившегося Абрамчика, — разборки потом чинить будете. Ну, все, Вань, жди. — И подростки двинулись по тропинке и скрылись за гаражом, оставив Ваню наедине с самим собой и потрепанной колодой карт. Тупо уткнулся в валяющуюся на столе колоду, и одна зомбирующая мысль: «Где взять деньги, где взять деньги...», — стучала в голове азбукой Морзе.

Ване хотелось плакать, рыдать. И плакал он: смял зло карты, упал грудью на стол и навзрыд, с подвыванием, судьбу кляня, Абрамчика, себя... И мыслей не было у него

послать всех к черту и не отдавать эти деньги. Не было, и потому не было, что, выиграй он, ни копейки бы не скостил; а не отдай он долг, заключут же, жить не дадут, бить будут, больно бить будут, пока все до копеечки не выложит. Макс первый бить и будет (это Ваня четко представлял, и сомнений в этом не было). И не к кому за помощью будет обратиться (сам виноват, за уши никто не тянул).

Выплакался весь Ваня, слезы платком вытер досуха, отдышался.

Было еще время. Нечего слезы лить, нечего сопли распускать. Не баба, а мужик, а раз так, то реветь нечего. Успокоиться надо, дождаться надо и выиграть. Сначала отыграться. И выиграть. Нельзя проигрывать, никак нельзя. И решил он, твердо решил — выиграть, обязательно выиграть. «А нет...», — об этом Ваня и думать боялся. Как только мысль такая приходила, что не выиграть ему, проиграет он вчистую, и проиграет не три тысячи, а тридцать, — как только мысль такая лезла, гнал ее Ваня, злился и гнал...

По своей натуре Ваня человеком был неглупым и даже, в какой-то мере, одаренным. Учеба давалась ему легко. Учителя порой удивлялись: за что бы он ни брался, все у него получалось. Но здесь было одно «но» — Ванина горячность, даже азарт. Ваня мог за что-либо браться исключительно «по любви». В азарте он мог биться до последнего, словно находило на него что-то, но если азарт проходил, наступал ступор и никак уже, как бы ни старался, не мог Ваня продолжать работу дальше. И рассеян был Ваня не в меру, до романтизма рассеян. С увлечением, бывало, он, окунувшись в задачу, решал ее и дикий восторг чувствовал, и даже любовь, и ничего вокруг него уже не было... Но... стоило ему отвлечься (на мгновение, по пустяку — нос зачесался), машинально отвести от тетради глаза или в окно глянуть, увидеть за окном березу и ворону, сидящую на ней, и тут же, забыв про увлекавшую его задачу, он

с не меньшим упоением начинал разглядывать ворону, любуясь каждым ее перышком, тем, как она умно смотрит по сторонам, высматривает что-то, и Ване становилось интересно, что она там высматривает, он уже переводил взгляд туда, куда смотрела ворона, и вдруг замечал, какой изящный изгиб у березы, как красивы ее ветви, и какие нежные, приятные у нее листья...

Опомнившись через минуту, а может, и через все полчаса, он, словно проснувшись от тяжелого сна, мотал головой, перед ним лежала задача, требующая окончательного решения. Но прежнего упоения, с которым он занимался ею еще недавно, уже не было. Вернуть его Ваня не мог, расстраивался, иногда корил себя за беспечность (чаще винил ворону, березу, все то, что так некстати его отвлекало от дела), силился снова вникнуть, но мысли оказывались напрочь испорченными вороной и березой, а задача дальше, «без любви», не решалась.

Ваня расстроено откладывал ее на потом, брал в руки книгу, которую задали читать по литературе и до самозабвения, с головой, погружался в рассказ. И вот он уже не за столом в своей комнате, а с саблей в руках, рядом с ним Тарас Бульба, и все казачество бьется вместе с Ваней за веру православную... Но стоило в квартире этажом выше включиться магнитофону, и, забывая о книге, о казаках, о ляхах, Ваня с не меньшим интересом ловил мелодию знакомой песни и... вновь, очнувшись, не в силах был уже вернуть то наслаждение, с которым он только что читал Гоголя, сопереживая его героям. Поняв, что учить уроки дальше он не в состоянии, Ваня поднимался из-за стола, некоторое время ходил по комнате, приводя мысли в порядок, но мысли, как мошара, разлетались при первой же попытке поймать их: то думал о сестре, то о матери, которая, несомненно, расстроится, узнав, что домашнее задание так и не сделано.

Разозлившись из-за этого до ненависти на всех ворон сразу и на себя, в частности, Ваня, с ощущением, что он никуда

негодный лентяй, доводил себя до предельного, до совершенно ни в какие ворота не лезущего упоения и, набравшись его до краев, чуть ли не прыгал за стол (с мыслью о том, что время беспощадно улетает, улетает быстро и навсегда), хватал авторучку, мгновенно решал задачу, и, счастливый, успокаивался на том, что он, оказывается, не лентяй, а даже наоборот, трудяга, и что он теперь достойный сын своей матери.

И сейчас, сидя за столом на полянке, Ваня накрутил себя, завел, готов был в секунду все отыграть и все выиграть, и так настроившись, ни о чем уже думать не мог, кроме как о будущей, наверняка удачной, игре.

II

Выйдя с полянки, Муся предложил новую игру, и эта игра понравилась подросткам куда более банальной секи. Как таковая, сека потеряла для них интерес. К тому же Абрамчик обещал серьезно проставиться пивом и закуской, если дело выгорит, сводить Макса и Мусю в модный данс-клуб, отдохнуть там на славу: снять проституток, и все дела... Словом, новая, совсем недетская игра завладела их мыслями — посадить Ваню на бабки, сделать так, чтобы он проигрался, проигрался серьезно.

Всю дорогу до магазина они запоминали знаки, чтобы предупреждать друг друга о картах, которые будут на руках у каждого из них. Было решено купить несколько колод, из одной вытащить тузы, и в нужный момент подсовывать нужные карты то Абрамчику, то Ване. Мысль, с которой все и началось, — унижить Ваню, поданную Абрамчиком, Макс поначалу воспринял холодно — его интересовали только деньги, но Абрамчик так вдохновенно и красочно объяснил, что больших денег от Вани не добиться (даже если бить его), что куда выгоднее и интереснее заставить его сделать что-нибудь полезное...

— К примеру, убить кого-нибудь, — невзначай вставил Муся.

— Никаныча, — добавил Макс.

— А хоть бы и Никаныча, — согласился Муся.

— Вот это дело. Вот это, в натуре, дело полезное, — горячился Абрамчик.

Словом, идея, завладевшая ими серьезно, не на шутку, обсуждалась всю дорогу от магазина до полянки. Вряд ли она пришла бы им в голову случайно. Абрамчик ненавидел Ваню, он так и говорил: «Я его ненавижу». Ненависть была взаимная. Ваня, как человек, по большому счету, наивный и еще не научившийся прятать свои мысли, первым дал повод для этой ненависти. Ваня невзлюбил Абрамчика за деньги. Несправедливым казалось Ване, что такой глупый и пошлый человек, как Абрамчик, имеет деньги, а... вот... Ваня их не имеет. И действительно, почему деньги есть у тех, кто их не заслужил? Учился бы Абрамчик хорошо, или же увлечен был каким-нибудь делом, или хотя бы уж собака у него была или кошка, а он бы за ними ухаживал и любил их. Но у него даже и этого не было — Ваню ужасно это раздражало. (Сам Ваня безумно хотел собаку, но собак боялись, что сестра, что бабка, панически боялись.)

Еще когда учились в пятом классе, Ваня прямо сказал Абрамчику: «Дима, я не понимаю, почему ты ходишь в нашу обычную школу, а не в какой-нибудь лицей для недоразвитых богачей, у тебя ведь даже собаки нет. Ну, на что ты после этого годен?». Абрамчика задело и обидело не столько обвинение в «богатой недоразвитости», сколько укор в том, что даже собаки у него не было. И если бы знал Ваня, как Дима Абрамов мечтал иметь собаку, овчарку. Но у Абрамчика была жутчайшая, непобедимая аллергия на собак, и денег на лечение ее было столько угроблено, что хватило бы на целый питомник первоклассных овчарок.

Ваня часто бывал прямолинеен в своих высказываниях и поступках... Прямолинеен, наивен и доверчив. Если человек ему не нравился, он не скрывал этого, говорил в лоб, и наоборот, если человек был симпатичен ему, он не скрывал своего чувства, зачастую не отличая хорошего от плохого. Ваня был больше мальчиком чувствительным, чем разумным. Он мог легко полюбить человека за ум, совсем не замечая, что за умом этим прячется грязь и подлость; легко мог возненавидеть человека за глупость, безграмотность, не видя, что этот глупый человек бесхитростный и безобидный. Ваня был простодушен в своих чувствах — излишне подозрителен там, где не нужно, и доверчив не к месту. В Максе Ваня видел друга и защитника, хотя для дружбы тот не давал ни малейшего повода. Защищал же Макс абсолютно всех своих одноклассников, потому что был для них вроде старшего брата. Максу лидерство это льстило; он вправе был наказывать кого угодно и за что угодно в своем классе; это был его класс; но, не дай Бог, кто обидит даже самого презируемого Максом одноклассника, он тут же спешил восстановить справедливость и наказывал обидчика.

Макс согласился помочь Абрамчику в осуществлении его плана. На то было две причины: первая — он по настоящему ненавидел Никаныча; вторая — обычное любопытство и азарт. Ваня был его одноклассником, но ради такой истории он согласился пожертвовать Ваней, причем, не имея к нему ни личной ненависти, ни даже неприязни.

Станным казалось, что два столь открыто ненавидящих друг друга человека, как Абрамчик и Ваня, водились вместе в одной компании... Но они и не водились вовсе. Их нельзя было увидеть вместе на дискотеке, да и во дворе в компании ровесников они не общались (у них и круг общения был разный). Ни разу их не видели вдвоем, чтобы они дружески беседовали, разговаривали. Их связывали исключительно карты.

Может быть, во всех девярых классах их школы только эти четыре подростка играли в карты на деньги. Играть — играли все, от младших классов до старших. Но играли ради интереса или на щелбаны и прочие глупости. В школе за картами следили довольно строго, а потому пацаны уходили, обычно, в какой-нибудь двор или на спортплощадку.

Первый раз это случилось в седьмом классе. Компания мальчишек после уроков собралась в беседке, во дворе, недалеко от школы. Помимо Макса, Вани, Муси и Абрамчика сидели еще трое пацанов-одноклассников.

Играли в секу на щелбаны. Играли азартно, со вкусом, со знанием дела врежая в лбы проигравших острые щелчки. И именно в этот день злой от боли, с огромной бордовой шишкой на лбу, Абрамчик яростно выпалил:

— Щелбанами вы все мастера кидаться, — чего так, сегодня шишка есть, завтра пройдет. А на деньги слабо, а?

— Абсолютно не слабо, — не скрывая злой радости парировал Ваня, разминая пальцы правой руки, которыми он только что отсчитал Абрамчику тридцать щелбанов.

Мелкие деньги были у всех, но решились играть лишь Абрамчик, Ваня, Муся и Макс. В тот день Ваня обчистил всех до копейки, сняв с Абрамчика приличную для тринадцатилетних мальчишек сумму в 173 рубля — все, что было у Абрамчика на тот момент в кармане. С тех пор и повелось: почти каждый вечер четверка игроков собиралась у кого-нибудь дома, если не было родителей. Чаше у Вани: мать Вани постоянно работала, бабка с утра до вечера торчала у подъезда на лавочке, ведя там беседы с такими же бабками, а сестра запиралась в своей комнате и весь день не отрывалась от телевизора, нисколько не мешая мальчишкам; девушка она была чрезмерно пугливая и ни за что не выходила из комнаты, если в доме были посторонние.

В теплое время играли на улице, на полянке, когда она бывала пуста, или в других местах, отгороженных от лиш-

них глаз. Но всегда играли исключительно на наличку. В долг, на запись, как не подстрекал их Абрамчик, играть все же опасались, в частности, Ваня. Суммы у всех кроме Абрамчика, были копеечные, если проигрывали, то не слишком жалели, и на провокации Абрамчика, бросавшего на стол сторублевую бумажку, отвечали, что раз у них нет таких денег, то и ему ставить больше нельзя. И Абрамчику, имевшему на руках крупную карту (и, конечно, желавшему взвинтить ставку), приходилось довольствоваться копеечным выигрышем.

Но именно в тот день, с которого и началась эта история, все вдруг согласилось играть на запись. Слишком уж крепко началась игра. Даже Ваня, всегда боявшийся такой игры, как на запись без потолка, не выдержал, и, может быть, первый и предложил начать серьезную игру.

Когда подростки вернулись на полянку с пивом и с новыми колодами, Ваня сидел за столом, крепко уперевшись в него руками, точно начальник в ожидании подчиненных. Вид его был грозен. Утерев слезы, Ваня до возвращения пацанов успел убедить себя в полной своей будущей победе и нетерпеливо задергался, видя, как Макс распечатывает и тасует новенькую колоду.

А подростки явно были себе на уме, часто переглядывались, перемигивались, давали друг другу тайные знаки, причем так неумело, что любой тотчас догадался бы, что здесь что-то замышляется. Но Ваня был слишком поглощен игрой и азартом, чтобы обращать внимание на это, слишком был возбужден, чтобы спокойно приглядеться к своим партнерам и заметить, что они очень уж намерено чешут носы, уши, мигают глазами, демонстративно закуривают, каждый раз произнося громко: «Не против, если я

закурю?». Или: «А не закурить ли мне?». Макс, тот вообще в самый разгар игры ложился всем телом на стол для того лишь, чтобы услужливо дать Мусе прикурить, вместо того, чтобы просто протянуть ему зажигалку. Такая услужливость особенно раздражала Ваню. Ложась поперек стола, Макс закрывал Ване Абрамчика. Это злило Ваню — и только. И даже подозрения у него не было, что обманывают его — Ваня уже отыграл две с половиной тысячи, так что, ежели и обман, то очень замечательный обман и за такой обман можно только спасибо сказать.

Опьянен был Ваня. Радовался про себя: «Есть Бог, есть! И покажет он вам, кто сильнее, кто прав сейчас, и сделает он так, что вы все трое проиграете, а я выиграю, и я буду смеяться, а вы будете плакать. Потому что незачем Богу вам помогать, не заслужили вы этого, а заслужили наказания, а я заслужил награды, и мама моя заслужила, и сестра, и даже бабка-дура тоже заслужила». И теперь уверен был Ваня, что выиграет, непременно выиграет, и даже думал о том, что с деньгами сделает: и пылесос купить надо, и телевизор новый, и много еще чего надо. Вот он, тот самый момент, когда все решиться должно.

А Абрамчик все больше вслух злился, что проигрывает он, а Ваня выигрывает, но «плохо» злился, не по-настоящему, как будто и не злился вовсе. И чем больше Абрамчик злился, тем больше Ваня радовался, по-настоящему радовался, с остервенением, со слезным остервенением, с повизгиванием даже. И вот уже Ваня и не проигрывает, а выигрывает, уже сто рублей выигрывает (а играли всего-то час с небольшим). И от радости не видел уже Ваня ничего, не видел, как Муся внаглую (за Максом спрятавшись) три туза после того, как карту сняли, сверху положил и Ване их раздал, а Абрамчик три шестерки незаметно вытащил, а розданные ему карты под стол сбросил. Муся же на слабых картах первый высоко ставку поднял, и Макс его поддержал и даже перебил на более крупную, и Абрамчик

сверху пару тысконок подкинул. Ваня не знал, куда ему от радости такой деться: двадцать тысяч уже на кону стояло, а у него три туза, а раз все так играют крупно и не боятся, значит, шестерки по всем разошлись и нет ни у кого секи. И, радуясь, он сказал: «Десять тысяч сверху», — и все испугались, задумались, особенно Абрамчик; и Макс карты свои скинул (а раз скинул, уже 20 тысяч проиграл), и Абрамчик, хоть и задумался, но осторожно предложил, только глаза зло поблескивали, предложил на тридцати тысячах остановиться и вскрыться... Муся, как и Макс, сбросил свои карты. И странным Ване не показалось, что легко они сумму так нагнали и, нагнав ее, не дождавшись развязки, так же легко и карты побросали.

— Ну что! Вскрываемся, Абрамчик! — Ваня вызывающе посмотрел на него и вскочил даже. — Сейчас увидишь, что жила на мыло вышла. И сам сейчас будешь думать, где тридцать тысяч в три дня найти. Ну, где искать-то будешь? Убивать кого пойдешь или у матушки воровать станешь. — Со всего размаха ударил Ваня картами о стол, со вкусом, дескать, смотри, подавись, сволочь! Три туза сочно, звучно, точно ремнем по жопе, легли на стол, красиво, ровно легли — нате, смотрите, вот они мы какие, и попробуй только перебей нас. Ну?! Попробуй!!!

— Красиво, — спокойно, даже величественно выдохнул вместе с дымом Абрамчик, и равнодушно, даже как-то без вкуса, без азарта, по одной положил на стол три шестерки и заключил спокойно, ровно как смертный приговор: — Сека.

Не понял Ваня сначала. Ничего не понял: Как это сека? Какая еще сека? Быть не может. Какая там еще, к черту, сека?

— Какая еще к черту сека!!! — завопил он во всю глотку, — Какая сека!!! Где сека?!! Ты чего мне мозги паришь!

— А вот она лежит, нагнись, если не видишь, поближе нагнись, рассмотри — разрешаю, даже понюхать ее мо-

жешь, даже на вкус попробовать, чтобы убедиться, какая она на вкус — ЖОПА.

— Убью гада! — через стол Ваня бросился на Абрамчика, убить его хотел по-настоящему, убить, потому что понял: надули его. Но не успел. — Макс удержал и назад отбросил, сильно отбросил, со всего размаху; Ваня на спину грохнулся, больно лопатками о землю ударился, и слезы брызнули у него из глаз, и заревел он со всхлипами, громко, не стесняясь. Не поднимаясь, на четвереньках пополз, лбом землю бодая. Очки соскочили, отшвырнул он их, разобьются — плевать.

С любопытством наблюдали за ним подростки, с циничным любопытством, как иной раз мальчишка за жуком наблюдает — перевернет его (жука) палочкой на спину и смотрит, дыхание затаив, ждет, как же он будет на лапы, обратно, поворачиваться. А жук лапами подергивает, перевернуться не может; и вот, наконец, удастся ему перевернуться, а мальчишка обратно его палочкой на спину валит и с еще большим любопытством смотрит, что же дальше жук делать будет?

Замер Ваня, вывернулся, подобно гусенице, на корточках поднялся, зло взглянул на мучителей своих и произнес, всхлипывая еще от слез, но твердо:

— Ничего я вам не отдам, хоть бейте меня, хоть режьте, потому что не должен я вам ничего, потому что подстроили вы все это, и что мне три туза подсунули — вы все это подстроили, и то, что секу этому уроду зарядили, так что черта с два, и копейки я вам не отдам. Так вот. — И замолчал в ожидании ответа.

— Подожди, Дима, не лезь, — одернул Муся вскочившего Абрамчика. Послушавшись, Абрамчик сел на место и закурил. — Ты за руку поймал того, кто тузов тебе подкинул? — поинтересовался Муся; серьезен был голос его, уверен; и улыбнулся он как-то странно: широко оголив безупречные белые зубы, и что-то хищное блеснуло в этой

улыбке. Страшно вдруг Ване стало, даже передернуло его, и страх мелко стал тело покалывать, так что рубашка хэбэшная шерстяной показалась, и ежился Ваня, пытаясь отстранить свое тело от своей рубашки — такой неудобной. С земли Ваня не поднялся, слушал, замерев в скрюченной, неудобной позе. Речь Муси лилась сладко, но совсем не приторно; словно мифическая сирена, она завораживала Ваню, каждое слово имело свою особую интимную интонацию. Местами, она становилась даже сексуальной, плотоядно-сексуальной, вот-вот готовая нежно обнять слушателя, нащупать нужную ниточку его слабости, и, натянув ее, крепко намотать на свою волю и, почувствовав это, уже без малейшего намека на нежность, точно и беспощадно бить, бить каждым словом, как собаку, привязанную к дереву, бьют палкой, оставляя ей лишь право выть и скулить о пощаде. — Если, как ты говоришь, тузов мы тебе зарядили, а Абрамчику — секу, почему же ты сразу об этом не сказал, а играть продолжал? — Ваня не ответил, лишь дрожь его усилилась, и видно уже было, как все тело его ходуном ходит. — И кричал еще, что жила на мыло вышла. Зачем же ты тогда кричал, раз сразу знал, что обманывают тебя? Поймал бы тогда шулера за руку. Мы бы его наказали. А раз не сделал этого, то какое ПРАВО ИМЕЕШЬ обвинять нас в жульничестве? Помнишь «Преступление и наказание»? Вспомнил: «Тварь я, дрожащая, или право имею?» Ты — дрожишь, — Ваня и вправду дрожал, — а я — право имею. Получается, что обвиняешь ты нас напрасно, и только из-за того, что сам проиграл. Но здесь винить некого, здесь — как карта легла, здесь — игра. И то, что ты сейчас обвинил нас — меня, Макса — в том, что мы тебе карты специально подтасовали — это серьезное обвинение, за одно это Макс может обидеться, и никто за тебя не вступится, потому что не прав ты здесь. И зря пацана оговорил. За это можно и пострадать серьезно.

Во время монолога лицо Макса благородно зверело и выражало жажду справедливого отмщения. Муся протянул руку, удержав готового уже взорваться в праведном гневe Макса, и заметил:

— Но я прекрасно понимаю твое состояние и прощаю тебя; думаю, и Макс тебя простит, — Макс на это снисходительно улыбнулся и, соглашаясь, кивнул. — Но это только один раз, — и на это Макс кивнул. — Сядь за стол, ты знал, что игра будет серьезной, попасть мог каждый, попал ты. И веди себя, как мужчина, а не как последняя истеричка. Совершил поступок, отвечай за него. А иначе ты добьешься только одного — все-все узнают и просто будут плевать в тебя, и никто за пацана не будет тебя принимать, а только за последнего гомика и минетчика. Но я знаю, что ты не такой. Так что докажи, что ты мужчина, и отвечай за свои слова и свои поступки.

— Но у меня нет таких денег, — произнес растерянно Ваня, слушая ровный, убедительный голос Муси.

Странно, но он начал верить в свою виновность. (Ему нечего было возразить.) Он даже не вспомнил, что и Муся, и Макс также должны Абрамчику, и много, целых двадцать тысяч, каждый. Не вспомнил, не до этого ему было: последним ничтожеством чувствовал он себя. И не оттого, что Макса хотел несправедливо обвинить, и не оттого, что в отказ пошел. Ярko встали перед ним мама его, сестра. Вот кого он обманул. И правду Муся сказал, что каждый мог попасть, но получилось, что попал он, Ваня. И снова прав Муся — мужчиной быть надо, а не истеричкой последней. И, наконец, совсем Ване не хотелось, что бы в него вся школа плевалась, гомиком и минетчиком называли. Последнего ему совсем не хотелось.

— Но у меня нет таких денег, — повторил он совсем раздавлено.

— Сядь за стол, выпей с нами пива, и мы все обсудим.

Подчинившись Мусе, Ваня поднялся, ноги от неудобного сидения затекли и неприятно покалывали. Сделав шаг, он грузно опустился на скамейку, вытянув затекшие ноги.

— Теперь я вижу, ты настоящий пацан, не дело пацану, как шавке, валяться на земле и выть пискляво, точно сучка последняя. Не думаю, что ты хочешь, чтобы класс и школа узнали о твоём ползании. А то, узнав, не то еще подумают: подумают, что ты, чтобы долг не отдавать, отсосал у нас у каждого. Знаешь, как в зоне играют, когда денег отдать не можешь? — на просто так. Это значит, на жопу. Значит, опустят тебя все по кругу и в ротик, и в попу. Но на это играют не пацаны. А ты пацан. А пацаны, знаешь, на что играют, когда денег нет? На человека играют. Поставят на кон какого-нибудь педика, и, если кто проиграет, кровь этому педик у пускает. И никто ему слова плохого не скажет. Потому что поступил он, педика этого замочив, правильно, как пацан настоящий должен поступать. Вот и выбирай, кем тебе быть: педиком или пацаном. — Муся улыбался, но глаза смотрели жестко. Не улыбались глаза, ответа ждали и сами ответ подсказывали.

— Я пацан, а не педик, — выдавил из себя Ваня.

— А раз пацан, то и поступи, как пацан. На зоне, и не только на зоне, вообще, по жизни, карточный долг — долг чести. Ты можешь занять деньги и не отдавать их совсем, можешь позже отдать, но если ты проиграл в карты — ты обязан отдать деньги в срок. Д о л г ч е с т и. А если денег нет, то компенсируй чем-либо другим. Люди квартиры свои подписывают, машины, или же поступки совершают — понимаешь, поступки; поступок, достойный настоящего пацана. У тебя денег нет, машины нет, квартиры нет, которую ты можешь подписать. Остается поступок. Ты — пацан, а настоящий пацан всегда может совершить серьезный поступок. Ты готов совершить настоящий поступок?

— Я не знаю. Смотря что.

— Так настоящий пацан не отвечает. Так может только педик ответить. Ты педик?

— Нет.

— Тогда отвечай, как должен пацан отвечать.

Ваня растерянно смотрел на Мусю, не зная, что говорить и что от него хотят, как ученик, вызванный к доске, совершенно не знающий, что ему отвечать.

Ваня смущенно стал озиаться, ища помощи у Макса и даже у Абрамчика. Но ни Макс, ни Абрамчик даже не смотрели на него. Макс, с пуленепробиваемым лицом, упрямо смотрел в одну точку, куда-то за деревья, Абрамчик курил и всем видом выражал одно большое презрение. Не найдя в них поддержки, Ваня глупо улыбнулся (даже хихикнул, заискивающе, как дурачки на рынках хихикают, когда деньги выпрашивают), ужасно смутился от этого и, не поднимая глаз, рассматривая трещинку на столе, тихо пробубнил, точь-в-точь как двоечник на уроке:

— Я не знаю, что отвечать, — и запнулся, плотно сжав губы.

— Да, выходит, и вправду говорят, что ты минетчик, — Ваня упорно молчал, губы сжались еще плотнее, — что ты педик... Ладно, пацаны, пойдем, мне лично, в падлу с минетчиком за одним столом сидеть. — Муся поднялся. — Придется признаться завтра пацанам, что ты в рот берешь за деньги.

— Это не правда! Я в рот не беру.

— Это ты будешь завтра доказывать.

Поднялись и Макс, и Абрамчик. Абрамчик брезгливо поморщился и сплюнул.

— Пойдите, пацаны, пойдите, — Ваня схватил Мусю за руку. — Я понял. Я совершу поступок. Я пацан. Я не минетчик.

— Ты понимаешь, что ты должен совершить? — Муся высвободил свою руку.

— Понимаю, конечно, понимаю. Я поступок должен совершить.

— Как ты считаешь, Никаныч, биолог наш, хороший человек?

— Ну, я не знаю, наверное, хороший, я не знаю... Мне он ничего плохого не сделал.

— А слышал, что про него говорят, что он гомик?

— Слышал... Но разве это правда?

— Это правда... И, по-твоему, хорошо, что биолог наш — гомик?

— Я не знаю... вообще-то... плохо, наверное.

— Чего ты отвечаешь: «я не знаю», «наверное»? Отвечай, как надо, — рявкнул Макс, отвесив Ване приличный подзатыльник. — Чего ты мнешься, ты меня уже достал!

Спрятав голову в плечи, Ваня сел на лавочку, и сжался, точно воробей от холода.

— Отвечай, — Макс размахнулся.

— В общем-то, не очень.

— Не очень?!

— Нет, я, конечно, не так выразился, — плохо, конечно.

— Плохо?

— Ну, я не знаю, как еще сказать...

— Сказать надо так: убить его надо.

Косо глянув на звереющего Макса, Ваня поторопился:

— Конечно, правильно, его убить надо. — И поднялся со скамейки.

— Сядь, — приказал Макс. — Убьешь Никаныча — долг простим, не убьешь — за тобой штука баксов... — и, размахнувшись, Макс кулаком въехал Ване в грудь.

Повалившись на землю, глубоко дыша, Ваня еле выдал:

— За что?!

— Чтобы помнил. Пиши расписку.

— Какую расписку?!

— Опаньки, — развел Макс руками, — а деньги кто, я, что ли, должен? Встань.

Ваня встал, и крюком, с левой, Макс въехал кулаком в Ванину печень. Сев на землю, Ваня, задыхаясь, заплакал:

— Не надо! Не надо бить.

— Садись, — предложил ему Муся и перевернул тот самый тетрадный лист, на котором велся счет, положил его перед Ваней. — Садись и пиши.

— Не понял, что ли? Садись, пиши! — Максов голос прозвучал более доходчиво.

Поднявшись, Ваня сел за стол, взял авторучку и, всхлипывая, стал писать под диктовку Муси: «Я, Мамкин Иван, в честной игре проиграл Абрамову Дмитрию одну тысячу долларов. Отдам в течение трех дней. Если не отдам, то я отсосу у него, и он трахнет меня в жопу».

— Число и подпись.

— Вот и мило, — бережно свернув лист, Муся положил его себе в нагрудный карман рубашки, сел напротив Вани.

— Не плачь, ты же пацан. Замочишь Никаныча, расписку верну тебе.

— Меня же посадят.

— Да, брось ты. Скажешь, что он тебя домогался — мы подтвердим, и никто тебя сажать не будет, а наоборот, героем сделают.

— Правда?

— Конечно, правда, истинная правда.

— Ну, что, пацаны, — обратился Муся к остальным, — в козла, в дурака?

— В секу, — первым пискнул Абрамчик.

— В се-э-эку-у-а-ха-ха-а, — смехом взорвался Макс.

— В секу, в секу, в се-е-е-ку, — на перегонки блеяли, визжали, стонали Макс и Абрамчик. Муся, лишь беззвучно улыбался, а Ване хотелось вновь разрыдаться... Но нет. Он теперь крепился. Нельзя ему было плакать, никак нельзя. Пацан он, и поступок должен совершить. И думал

он примерно об этом, но думал как-то сумбурно, хаотично. Мысли его, то забежали вперед, и Ваня уже видел зарезанного Никаныча; то выдавали желаемое за действительное, рисуя поверженного Абрамчика с пачкой денег в руке, стоявшего перед Ваней на коленях, протягивавшего ему пачку денег и ревушего: «Я больше не буду играть в карты, заberi все мои деньги, а я пойду в тюрьму»; то беспощадно возвращали Ваню в настоящее. И здесь, во всей красе, представало счастливое лицо Абрамчика, петухом оравшего: «В секу-ка-реку».

Ваня отнесся ко всему очень серьезно. Теперь он был обязан совершить «поступок», и то, что рядом с ним сейчас весело смеялись и хохотали, Ваню даже злило. Ему через три дня человека убивать, а они ржут тут, сволочи.

— Я пошел, — Ваня поднялся из-за стола.

— Не-не-не-не, никуда не пойдешь. Вместе пойдем, — задержал его Макс.

— Я никуда не убегу.

— Само собой, — согласился Макс, но продолжал удерживать Ваню за руку.

— Отпусти меня, мне нужно готовиться. У меня три дня, а у меня нет ничего, даже ножа. — Тон Вани был слишком убедителен. Абрамчик перестал смеяться и, слегка растерянно, глянул на Мусю. Он совсем не ожидал, что все окажется так серьезно. Он, по правде, и не думал, что Ваня Никаныча убивать станет. Поиздеваться и только, вот, собственно, и все Абрамчиково желание. А тут, вона, как все слагается.

Убийство для Димы Абрамова было чем-то таким воздушным, неосязаемым. Конечно, классно будет, если Ваня возьмет и замочит Никаныча — это классно... Но... если сейчас... реально... поставить перед Абрамчиком Ваню с ножом, режущего Никаныча... Абрамчик первый заорет: «Помогите», — или в обморок упадет. Между мечтой и реальностью у Димы Абрамова была очень четкая граница, хотя сам он об этом никогда и не задумывался.

— Ладно, — выкрикнул Абрамчик, — готовься. Ножечек-то заточить сможешь?

Ваня посмотрел на него спокойно, даже устало:

— Смогу, — ответил он. — Макс, отпусти. Пойду домой.

— Да, никуда ты не пойдешь! — обиделся спьяну Абрамчик.

Его в самом деле обидело Ванино поведение. Если бы он сам отпустил Ваню, тогда другое дело, тогда пускай Ваня идет готовиться. А то Ваня, видите ли, по своей воле решил уйти. Так Абрамчик не договаривался. Ему хотелось еще, чтобы Ваня ползал, потер свои колени, чтобы Ваня рыдал. Бился головой о землю, Абрамчика просил о пощаде. А он, гад, вот так просто берет и уходит готовиться.

— Никуда ты не пойдешь — добавил Абрамчик — Ты мне деньги должен. Штуку. Так что никуда ты не пойдешь, а будешь сидеть здесь, пока я сам тебя не отпущу. Вот, когда я отпущу тебя, тогда ты можешь идти, а сейчас, пока я сам этого не захочу — во! — никуда ты не пойдешь, — и Абрамчик высунул Ване маленькую толстенькую дулю. Растерянный Ваня замер в непонимании.

— А я здесь причем? — вымолвил он уже не так решительно.

— А притом, раз проиграл, сиди и жди. Вместе пришли, вместе и уйдем, — и, довольный собой, Абрамчик закурил.

Ваня вернулся за стол.

— И когда же я буду готовиться?

— А когда я скажу. А захочу, без подготовки пойдешь. Тоже мне, готовиться собрался. Да, чего там готовиться: подошел, ножом в сердце — на, получи, сука — и все. Все просто. Я бы его и сам замочил. Руки не хочу марать.

И вообще, всех их мочить надо: и директоршу, и математичку, и литераторшу, сучку старую. Всех мочить, все они педерастки. И вообще всю школу взорвать вместе с учителями, и тогда будет кайф.

— Я школу взрывать не буду, — буркнул Ваня.

— Кстати, — Абрамчик пьяно уронил кулак на стол, — школу взорвешь вместе с Никанычем...

— Да пошел ты, знаешь куда, урод лопоухий.

— Кто это, урод лопоухий, а?! Да ты сам вафлер, ты записку писал, забыл?

Ваня вспомнил, осекся:

— Но школу взрывать не буду, — буркнул он.

— Будешь.

Абрамчик загорелся. Новый план загнать Ваню в угол вырисовывался очень четко. Расписка лежала у Муси в кармане, и этой распиской можно было мучить Ваню, пока у него шарики за ролики не залезут. И пусть этот гад только попробует вякнуть. Расписка — все. За эту расписку он не только школу, все, блин, повзрывает к едрене-матрене. «К едрене-матрене» было любимым ругательством директора школы.

— Ты у меня во где сидишь, — Абрамчик постучал ребром ладони по своей холке: — так что учти...

«Вот это я вляпался — расписка, — озадачился Ваня. — Нужно уничтожить расписку и все, и никого убивать не надо, и взрывать не надо... Расписка».

— Рома, дай, гляну, что я там написал, — с опасливой дрожью в голосе («хоть бы отдал, а там пусть убивают»), жалостливо попросил Ваня. Муся отрицательно покачал головой.

— Рома, ну, пожалуйста, — взмолился Ваня. — Я только посмотрю и все, и верну ее. Я только гляну последний раз... вдруг ошибки есть... и сразу пойду школу взрывать. Честно-честно только подержу ее в руках один разочек и сразу пойду взрывать школу... А, ну отдай, сука, расписку! Убью! — заорал Ваня.

Молчавший все это время Макс схватил ринувшегося к Мусе Ваню и с силой отбросил его на землю.

— Мочи пидора! — словно дикарь перед битвой, Абрамчик вскочил на стол, потрясая кулаками, прыгнул на зем-

лю и саданул Ваню пинком по почкам. — Мочи пидора! — визжал Абрамчик, всаживая в Ваню глухие пинки.

— Хорош! — рявкнул Макс.

— Бей, бей меня, сука! Убей меня! Не буду я никого убивать, ты меня убивай, я никого убивать не буду! — сжавшись в комок, выл Ваня: — Не буду!

Абрамчик уже не бил Ваню, тяжело дыша, он кругами мерил поляну, бурча тихо:

— Убью, убью, суку.

— Восемь часов, — посмотрев на часы, сообщил Муся. — Пойдемте по домам, кино скоро начнется. Не хотелось бы пропускать... Ваня, ты на Диму не обижайся. Расписка все равно у меня. Ну, что, идем? — поднявшись, Муся еще раз посмотрел на часы.

Итак, Ваня должен был убить своего классного руководителя, учителя биологии, Николая Ивановича — Никаныча. Ненависти, которую испытывали к нему многие из детей, он, Ваня, не испытывал никогда. Порой, ему учитель даже нравился своей мягкостью, своей непосредственностью в общении, даже фамильярностью. Никаныч не был тем деспотом, который орет на учеников, стучит кулаком по столу, отвешивает подзатыльники (вряд ли он был способен на подобное).

Это был очень пластичный, женственный мужчина лет тридцати, среднего роста, худой, с очень острыми чертами лица и маленькими, вдавленными внутрь мышинными зубками. Когда он смеялся, а смеялся он очень часто, манерно запрокинув голову назад, он, словно нарочно, показывал всем, какие у него маленькие, желтенькие зубки с белыми, многочисленными точками пломб. Его манерность, наверное, и раздражала многих. Общаясь, он часто всплес-

кивал ручками, демонстрируя свои длинные, тонкие пальчики, всегда ухоженные, с великолепными наманикюрованными ноготками. Порой, вглядываясь в запнувшегося на полуслове ученика, он нарочно театрально вытягивал лицо, при этом округляя маленькие карие глазки. Все в нем было какое-то маленькое, дробненькое, остренькое, длинненькое, и всем этим он всплескивал, притопывал и грозил.

Был ли он действительно гомосексуалистом, никто в классе наверняка сказать не мог, но, как только он открывал рот и начинал говорить, всем как будто кто-то на ухо нашептывал: он же гомик.

Слова он выговаривал протяжно, с претензией на аристократизм, и частенько в его речи проскальзывали выражения: «Да что ты, милочка», «Акстись, родной мой», «Ну, чего ты здесь звездишь?», — и многое еще в этом роде. Но, пожалуй, больше всего в Никаныче раздражало учеников то, что перед уроками он всегда переобувался в свои неизменные черные остроносые туфли, и более того, он менял носки: те, в которых он приходил в школу, он менял на «рабочие», черные, тонкого шелка. Это вызывало недоумение не только среди учеников, но и среди некоторых учителей.

Иногда Никаныч позволял себе пошалить, выкидывая такие номера, какие может себе позволить только шкодливый ученик, но никак не серьезный педагог. Он мог на уроке плевать из трубочки, сделанной из авторучки, маленькими жеваными бумажными шариками в слишком разболтавшихся детей, и был не против, если ребенок отвечал ему тем же; мог брызгаться водой из шприца, корчить рожи (особенно любил показывать язык), складывать непристойные комбинации из пальцев. Словом, опускался до уровня последнего балбеса и двоечника. Детям это, по правде сказать, нравилось. Исключение составляли крайние радикалы, абсолютно уверенные в том, что он гомик, и считавшие оскорбительным для себя его присут-

ствие в классе, не говоря уже о его выходках. Но этих-то как раз Никаныч и доставал больше всего, видимо, получая особое удовольствие от того, что они злятся, нервничают, а ничего сделать не могут. Несколько раз, заболтавшись с соседом на задней парте, Макс получал бумажным шариком в затылок, вскакивал, в порыве желая врезать этому гомику по рогам, но всегда вовремя осаживал себя и возвращался на место под общее шушуканье, провожаемый острым, ехидным взглядом нашалившего Никаныча. Все-таки, набить рожу учителю на уроке — поступок, на который решиться было непросто.

Несколько раз у Макса и таких же обиженных возникало желание отловить после школы этого гомика и отметить его, чтобы он знал свое место, но одними разговорами все и заканчивалось.

Однажды Макс решился поговорить с Никанычем: чтобы тот засунул язык куда следует, и не доставал их больше своими «шалостями». Разговора не получилось, вернее, разговор-то сам состоялся, но не такой, о каком мечтали Макс и другие.

Для пушей важности, Макс начал при всем классе, но начал грубо, неумело, со всей своей детской запальчивостью, часто путаясь в словах, и получилось, что он просто нагрубил учителю, а путно так ничего и не сказал. А хотел ведь предъявить коллективные претензии: дескать, почему вы себе позволяете так себя вести, мы, собственно, не дети, и пришли учиться, а не в бирюльки играть.

С последним заявлением Макс несколько погорячился. Открыв журнал, Никаныч зачитал оценки и посещаемость Быкова Максима, получилось: половина пропусков, остальное — двойки и тройки. Словом, речь Макс собирался сказать серьезную, обличающую, под конец он непременно хотел вернуть о том, что гомосексуалистам в школе не место. Но ничего обличительного не получилось, и про гомосексуалиста Макс так и не ввернул, и, в конеч-

ном счете, выставил себя полным дураком и мальчишкой, совсем ребенком.

Во время его пылкой и вдохновенной речи Никаныч спокойно слушал его, сидя за своим столом и, когда Макс уже исчерпал заготовленный запас обвинений, заметил, как бы невзначай: «Максим, ты меня извини, но у тебя шнурок развязался». Застигнутый врасплох, Макс быстро взглянул вниз и, увидев, что на его ногах туфли и никаких шнурков и в помине нет, дико покраснел, ведь весь класс — тридцать человек — все это видел, и, как оплеванный, под общий гогот, вышел из кабинета. Вечером, конечно, парочка смехачей имели с Максом разговор. Плюс ко всему, Никаныч стуканул обо всем директрисе, и она еще, «к ед-рене-матрене», отчитала Макса (опять же, перед классом), пригрозила ему, что если, не дай Бог, он еще раз позволит себе подобные выходки или же, не дай Бог, посмеет предпринять еще что-нибудь похожее, она его не только со школы попрет, она его в тюрьму посадит, преступника ту-поголового и, как серпом резанула, напоследок: «Ты, Быков, учти, это тебе не вчерашние времена; сейчас с быками, знаешь, что делают — шинкуют, в банку закатывают и пишут: «Говядина».

Марина Ивановна (так звали директора) женщина была матерая и довольно крутая как в словах, так и в поступках.

Так что, если бы Никаныча ночью избили какие-нибудь алкаши, непременно в школе подумали бы на Макса — непременно подумали бы, что если даже это и не он, то обязательно его дружки, обязательно.

Кстати, как учитель Никаныч был абсолютно обыкновенным: двоечникам ставил двойки, отличникам — пятерки, любимчикам делал снисхождение, Макс и ему подобным спуску не давал — все, как обычно: на то он и учитель. Что касается Абрамчика, Муси и Вани, то и здесь было все, как со всеми: Абрамчик, как полный балбес, не вылезал из двоек; Ваня биологию любил и на оценки не жало-

вался, правда, катышком получал в затылок периодически, и даже скомканным листом бумаги, бывало, получал, особенно, когда уж слишком замечается, уткнувшись в окно, но, в отличие от Макса, реагировал на это спокойно. Ему это даже импонировало: все-таки лучше, чем на уроке литературы, когда, порой, он так же замечается, а ему в ухо: «Ты где летаешь, недоносок?» О Мусе говорить нечего, он был невыносимым отличником, случалось, что, если он получал четверку, на перемене он подрисовывал палочку, исправляя «4» на «Н». У всех учителей Юдин Роман был на хорошем счету, включая и учителя биологии.

Ваня жил совсем в другой стороне, чем остальные подростки, но, как ни странно, домой пошел, делая приличный круг, вместе со всеми — через интернат. Впереди всех грузно шагал Макс; Муся и Абрамчик на пол шага отставали; Ваня плелся позади.

С темнотой стало прохладнее. Легко одетые подростки, разгоряченные пивом и игрой, шагали бодро, все, кроме Вани; и плечи они широко расправили, выставляя грудь под легкий, холодный ветерок.

Компания шагала молча, все были заняты своими мыслями. Абрамчик и Ваня несколько их не скрывали: на их лицах было написано, о чем каждый из них думает. Макс вновь принял усталое, ленивое выражение, и все время, пока шли до интерната, ни разу не обернулся, словно ему было абсолютно неважно, идут за ним эти дети или же растерялись, разбежались — ему было все равно.

Муся безразлично смотрел по сторонам и чуть заметно улыбался, от чего лицо его становилось похожим на кошачье.

Дорога, по которой шли подростки, была густо засажена огромными ветвистыми тополями, закрывавшими своими

кронами не только дома, но и небо, и от этого Луна казалась тревожно-загадочной: густо исчерченная темными кривыми линиями веток, она, словно разбитое круглое зеркало, блестела десятками маленьких светящихся осколков.

Только войдя в освещенный фонарями двор интерната, подростки остановились.

IV

— Глянь, кажись там драка, — Абрамчик вымолвил это совсем тихо.

Из-за угла интерната вылетел молодой парень, следом за ним прыгнуло еще двое и, не дав тому даже упасть, пинками загнали его обратно в темноту.

Подростки остановились в круге света перед главным входом в интернат. До угла, где резко наступал мрак, и мимо которого проходила дорога, было шагов двадцать; именно за этим углом была драка.

Подростки думали недолго. Абрамчик первый повернул к воротам, Муся с Ваней сделали за ним шаг.

— Вы чего, давайте посмотрим, — сказав это, Макс быстро затрусил к кустам.

От кустов до угла было не больше пяти-семи шагов, к тому же кусты терялись в темноте и были хорошим укрытием. Макс уже скрылся в зарослях, думать времени не было: сейчас удрать, а потом выслушивать издевки Макса? Подростки предпочли последовать за Максом.

Очутившись в засаде и видя, что их никто не заметил, они, еще ослепленные светом фонарей, с жадностью стали вглядываться сквозь ветки кустов; скоро глаза привыкли к темноте.

— Мочат, — одними губами произнес Абрамчик.

Подыхая от страха, готовый в секунду дать деру, не отрываясь, он пялился в темноту. Ваня, тот совсем зажму-

рился, только чуть глаза приоткрывал и, сморщившись, тут же воротил лицо, словно это ему, Ване, затягивали петлю на шее, и его, Ваню, топтали ботинками. Макс, напротив, каждый удар, каждое движение ловил с видом зрителя, на халяву пробравшегося на подпольные бои без правил. Восхищение и азарт читались на его лице. Один Муся, в отличие от своих впечатлительных одноклассников, смотрел на все спокойно. Толкнув Макса локтем, Муся указал ему:

— А мы не одни, — и кивнул в сторону интерната. С трудом оторвавшись от зрелища, Макс глянул в ту сторону, куда указывал Муся. Все окна последнего, третьего, этажа были приоткрыты, и оттуда, точно горшки цветочные, торчали маленькие ребячьи головы, с десяток. Один смелый мальчик даже по грудь высунулся из окна, остальные чуть-чуть, так, чтобы им только видно было, выглядывали, готовые тут же спрятаться. Никто и звука не издал, никто даже не ойкнул. Ребятишки боялись даже дышать. Только бы *те* не заметили их, и можно было бы досмотреть, чем дело кончится: убьют или нет. Но *тем*, кто дрался под стенами, не было дела до того, смотрят на них или нет. С остервенением, кряхтя от натуги, невысокий парнишка, обхватив сзади такого же подростка, затягивал на его шее веревку. Другой помогал, молотя пойманного кулаками в живот, не давая тому высвободиться из петли. Рядом трое топтали еще одного, валявшегося без движения подростка. Тот и голову уже не прятал, мешком лежал. Пару раз в темноте и горячке они саданули друг друга по ногам, ругнулись, и один интернатовский, не выдержав, завыл:

— Ма-ма-а!

— Менты, деру! — шикнул один из топтавших и бегом ломанулся в темноту интернатовского сада; за ним и другие.

Услышав: «Менты», — с разворота, с перепугу споткнувшись, на карачках Абрамчик врезался в заросли, толь-

ко успевая закрывать лицо от жгучих, колких веток. Следом, хватаясь руками за Абрамчиковы пятки, рвался Ваня. Макс, и тот уже обгонял Абрамчика и первый лез через забор интерната. Дети, смотревшие из окон, почему-то тоже очень испугались «ментов», и резкое, неожиданное движение в кустах за «ментов» и приняли. Пара отчаянных мальчишек крикнули кустам: «Они туда побежали, в сад!» — и тут же исчезли в комнате, на всякий случай, но из любопытства, все же подсматривали — что дальше-то.

— Туда! Они в сад побежали, — это говорил мальчишка, первым по грудь высунувшийся из окна.

— Я видел, спасибо, — ответил ему Муся.

Во время и после всеобщего бегства Муся без движения продолжал сидеть на своем месте. Поняв, что тревога ложная, он, ничуть не смутившись того, что остался один, посидел еще с полминуты и спокойно вышел из своей за-сады. Его-то дети и приняли за «мента».

Осторожно, медленно подходя, Муся присел на корточки перед забитым ногами парнем. Склонив к нему ухо, стал внимательно вслушиваться, прикоснулся двумя пальцами к его шее, пощупал пульс и заключил вполголоса: — Живой.

Поднялся, подошел ко второму парню. Нагнувшись, с каким-то нескрываемым удовольствием, Муся стал пристально вглядываться в его лицо. Парень полусидел, уткнувшись щекой в стенку: мертвые глаза таращились в черный асфальт, и из открытого рта торчал длинный язык, словно парень так усиленно дразнил кого-то, что от усердия язык вывалился наружу полностью: «Смотри, вот я какой, понял!» Все внимание Муси было приковано только к этому длинному синему языку: весь в пупырышках, очень толстый — почти шар. «Как говяжий», — подумал Муся и, не сдержавшись, коснулся указательным пальцем самой середины языка.

— Мягкий, — с каким-то тихим наслаждением промолвил он и, удовлетворив свое любопытство, уже не оглядываясь и не обращая на тела внимания, перешагнул через еще живого, лежавшего на земле парня и, не спеша, двинулся к главным воротам интерната.

— Живые? — крикнули ему вслед несколько детских любопытных голосов.

— Нет. — Не оборачиваясь, ответил Муся; но ответил он слишком тихо, дети не услышали его, а переспрашивать побоялись.

Кое-как перевалив через забор и очутившись во дворе, окруженном пятиэтажными жилыми домами, пацаны, отдышавшись, вдруг сообразили: Муси-то нет.

— А Муся где? — испуганно и чуть слышно спросил Абрамчик.

— Он за нами бежал, я видел. Как только «менты» заорали, он сразу первый и побежал.

— Вань, ты уверен? — Абрамчик посмотрел на Ваню.

— Вроде...

— Слышь, а может, его менты замели? — Такое открытие Ваню и напугало, и в самой глубине души обрадовало, но только в самой глубине.

Макс молчал. Мусю он не видел, ментов тоже не видел... Странно, но теперь все мысли были только о ментах. Убийцы, и возможные трупы, как-то незаметно ушли на второй план, словно и не было их (нет, конечно, они были, и подростки помнили о них, но уже без того одуряющего азарта, еще недавно так сильно владевшего ими). Куда исчез Муся, или его замели, или он смылся, но в другую сторону? Макс предложил вернуться обратно, посмотреть, может, Муся еще там и ждет их, но Абрам-

чик, торопливо уходя все дальше во дворы, очень живо убедил его, что, наверняка, Муся уже ждет их возле подъезда своего дома и нужно непременно идти туда. Макс уговаривался недолго. Ваню так и вовсе уговаривать не пришлось, и они, через дворы, делая приличный крюк вокруг интерната, быстро зашагали домой. Осмотрев себя, к своему сожалению, Ваня заметил, что порвал куртку о край забора и испачкал грязью брюки. Пока шли до дома, оглядывались на каждый шорох. Ваня совсем идти не мог, все бежать порывался, думал, что убийцы видели, что они за ними следили, и, чтоб свидетелей не оставлять, сейчас обратно, скорее всего, вернулись и по следу их идут; и голова Ванина, как флюгер на ветру, только и вертелась, то налево, то направо. Абрамчик хорохорился, над Ваней прикалывался, а сам чуть не вскрикнул, когда две кошки друг за другом из кустов выскочили в двух шагах от Абрамчика, причем первая посередине дороги остановилась, развернулась резко, оскалилась, зашипела, лапой по морде второй хлестнула и в окошко подвала ближайшего дома прыгнула. Вторая, не долго думая, за ней.

— Суки! Ненавижу кошек! — выпалил нервно Абрамчик, и, чтобы не подумали, что он это от страха, стал валить все на кошек, что ненавидит он их, что видеть спокойно их не может, что душить их всех надо...

Макс шел спокойно, не обращая особого внимания ни на кошек, ни на Абрамчика, думал о чем-то, в такт своим мыслям головой качал, словно слушая, соглашался с кем-то.

— По ходу тех двоих завалили, — произнес он вслух и, опережая свои мысли, пояснил: — Но не знаю никого — не наши ребята.

— Это из училища, скорее всего, — вставил Абрамчик, — наверняка, из училища.

— Да, из училища, скорее всего, — согласился Макс, — никого знакомого не видел...

— Но круто они их... круто... — и, глянув на Ваню, точно мысли его прочитал: — Не вертись ты, никто за нами гнаться не будет.

Но и сам Макс, как ни старался быть спокойным, волновался, очень волновался, впервые все трое смерть рядом видели... Макс многих бил, и не раз; но бил, а не убивал, и когда бил, хотел избить, но не убить.

— А, кто ментов то вызвал? — Ваня говорил, чтобы говорить, чтобы от мыслей противных избавиться.

— Интернатовские, скорее всего, — задумчиво предположил Макс и, вновь опустившись в свои мысли, пробормотал: — Все-таки круто они их, круто.

— Ваня? — вдруг вспомнив, воскликнул Абрамчик. — Не забыл?!

— Чего?

— Опаньки! Чего? Три дня у тебя.

— Какие три дня? — Ваня совсем забыл; вдруг лицо его, точно свежий портрет, на который воду плеснули, вниз стекло — вспомнил он. Задом попятился и рявкнул:

— Нет! Не буду! Не помню! — и, развернувшись, побежал, не разбирая куда, только и видел, как асфальт у него под ногами обратно летел и ботинки мелькали.

— Кирдык парню, — заметил Макс.

Абрамчика внезапность эта сильнее кошек напугала. Вздрогнул он от крика, смотря в черноту ночную, куда Ваня влетел, процедил:

— Кирдык тебе, Ваня. Завтра ты у меня все вспомнишь, и я тебе все вспомню, — произнеся это, добавил: — Пойдем, Макс, Мусю надо найти.

И зашагал, отплевываясь, головой и всем телом от злобы подергивая, с каждым шагом накручивая в себе злобу. До того уже злобу эту накрутил, что и думать ни о чем, кроме того, как Ваню завтра уничтожить, уже не мог.

— Хорошо бегаете, — голос выплыл из темноты кустов.

— Муся, черт, урод... где ты, блин? — Абрамчик быстро пошел на голос, споткнувшись в темноте о заборчик палисадника, выпачкался в земле и, не поднимаясь с корточек, держась за заборчик, взвыл: — Муся, где ты, твою мать?!

— Я на лавочке сижу. Ко мне проще по дорожке дойти, а не через палисадник лезть.

— Да, где эта дорожка? — матерился Абрамчик. — Вот она, блин, — заорал, наконец отыскав ее. Ты чего сюда забрался? Мы думали, ты во дворе нашем ждешь нас, — протянул Абрамчик Мусе руку для приветствия.

— Что же ты, Дима, так Ваню напугал, — улыбнувшись, ответил Муся вопросом на вопрос.

— Да, пошел он... — выругавшись от души, Абрамчик прибавил: — я его завтра... это... ладно...

После всего прошедшего Абрамчик волновался, речь его путалась, не находя нормальных слов, он матерился к месту и не к месту, радовался, что Мусю увидел, злился, что Ваня сбежал, и все это вместе, и драка еще эта...

— Да, я... Да, мне... Да, пошли... Ты-то как сюда... Я... Макс вот...

— Хорошо бегаєте, — будто и не слыша его, вставил Муся.

— А ты не бегал, да?! Да, ты я видел, самый первый рванул.

— Я через главный вход вышел... Не было никаких ментов, понты это. А я, когда вы через забор, подождал немного и к тем двоим подошел.

— Врешь!

— Один еще живой лежит, а другому горло шнуром перетянули.

Такое признание подростков просто раздавило. Как так! Они, как последние менжовки, через забор, а он...

— Пойдем, глянем, — твердо решил Макс.

— Мы, правда, думали менты, если бы не менты, мы бы не полезли... А вдруг менты уже там.

— Все, идем, — еще тверже заявил Макс и, не дожидаясь, повернул к интернату.

— Идем. — Муся поднялся следом.

— А те ушли?.. Нет... я так... Я вообще... Пошли, — и, расхорохорившись, Абрамчик, обогнав Мусю, зашагал вровень с Максом.

Муся не торопился. Шел он аккуратно, ступая не слышно.

Во двор интерната подростки войти не смогли, двор оказался полон работниками милиции, место, где лежали избитые парни, было огорожено.

Время было не позднее, около девяти вечера. По дороге через двор интерната люди еще ходили, и нашелся один, который догадался вызвать «скорую» и милицию. В стоявшую наготове машину «скорой помощи» осторожно грузили носилки с бесчувственным телом одного из избитых подростков.

— Ну, что я говорил — менты. — Макс с сожалением махнул рукой. — Муся, и чего ты скажешь после этого? Так, ты — брехло, — Макс еще раз махнул рукой.

В ответ Муся широко, с сочувствием посмотрел на Макса и сделал чуть заметное движение плечами, что означало: «Ну извини, сами виноваты».

— Ладно, пошли по домам, что здесь делать, фильм уже, — Макс посмотрел на часы, — двадцать минут как идет. Счастливо, пацаны. — Макс пожал Абрамчику и Мусе руки и, не оборачиваясь, зашагал к своему дому.

— Ну, и на фига ты говорил, что не было ментов. Вон они! — Абрамчик искренне расстроился, что так и не получилось посмотреть на труп вблизи. Хотя еще недавно он этого чертовски не хотел и вряд ли бы подошел к мертвому близко. Но как только увидел большое количество народу, страх у него пропал. Труп сразу же захотелось увидеть, и сожаление от того, что это не получится, искренне огорчило Абрамчика.

— Ладно, Ромик, ты сейчас куда? Может, на дискотеку в клетку ходим?

— Нет, я пойду домой.

— Расписку ты, как, у себя оставишь? Этого ублюдка мочить надо.

— Ты о Мамкине или Никаныче?

— Об обоих. Перед всем классом опушу... Мамкина этого... Дай-ка мне расписку.

— Пусть лучше у меня останется, — отмахнулся Муся.

— Ну, ладно, пусть у тебя. Пока.

Попрошавшись, они расстались. Абрамчик, злой, и под впечатлением от происшедшего, зашагал к автобусной остановке. У него просто язык чесался, быстрее хотелось попасть в данс-клуб, встретить знакомых пацанов и рассказать все, что видел, и вообще... все рассказать.



Двое мужчин, примерно одного возраста (на вид им было не больше тридцати), вышли из кафе, томные от выпитой водки и обильного ужина. Они шли медленно, даже нехотя. Наверняка, если бы у них еще остались деньги, они вряд ли покинули бы столь уютное и тихое местечко, в котором так славно провели вечер.

Мужчина, шагавший ближе к дороге, был роста среднего, длинноволос, крупного сложения, с интеллигентским брюшком; шагал он уверенно, широко размахивая при ходьбе руками, голову держал высоко, но вид его не был надменным. Несмотря на то, что его разморило от выпитого, с каждым новым шагом он все приободрялся, и чувствовалось, что кафе — это только начало его ночи. Слева от него шел очень манерный в своей походке чело-

век. Вероятно, длинноволосый его сильно чем-то смешил, от чего тот, порой, заходилась в таком обессиливающем его смехе, что идти дальше не мог. И сейчас, только он остановился, и буквально рухнул от смеха на плечо своего товарища, как на него налетел очумевший от бега Ваня Мамкин. Если бы не широкая спина собеседника, за которую человек успел схватиться, Ваня сшиб его бы наверняка.

— Ты сдурел?! — только и воскликнул человек.

— Извините... я... — Ваня сам еле удержался на ногах. — Простите.

— Ваня? Мамкин? Ты? — манерным человеком оказался Николай Иванович (проще: Никаныч).

— Николай Иван...нович? — Вылупив глаза, задыхаясь, в ужасе прошептал Ваня и сделал шаг назад. Если бы Никаныч не схватил его за руку, Ваня обязательно бы сбежал.

— Мамкин, ты пьян, что ли? Мамкин, мальчик мой, ты меня пугаешь, — пряча свое замешательство за шутливым тоном и улыбкой, произнес Николай Иванович, удерживая Ваню. — В конце концов, возьми себя в руки, мы на улице, и на нас уже люди смотрят.

Глядя прямо в глаза Никанычу, Ваня часто мотал головой и выглядел сейчас точь-в-точь, как пойманный воришка. Полушутливый, полусерьезный тон учителя подействовал на Ваню... Расслабившись, он заревел.

— Ну, вот тебе и здрасте, жопа, Новый год. А ну, давай отойдем, — Никаныч бесцеремонно повел его до ближайшей лавочки. Длинноволосый, все это время молчавший, последовал за ними. Усадив ревущего Ваню на лавочку, Никаныч сел рядом.

— Садись, Андрюша, — пригласил он сесть длинноволосого. — Так Ваня, ты пока прорыдайся, а мы с Андреем Андреевичем покурим. Как только прорыдаешься, дай знать. И будь уверен, милочка моя, все твои смешные про-

блемы я решу в секунду, — Никаныч достал пачку «Ротманса», угостил Андрея Андреевича, и они, как ни в чем не бывало, закурили. Они еще не выкурили и половину, как Ваня уже вытер платком слезы и, как подследственный на допросе, сидел и молча ждал, утупившись в свои грязные ботинки.

— А теперь, когда ты заплакал все свои плохие слезки, рассказывай свою страшную историю и, рассказывая, знай заранее, все это чушь полнейшая, и вот увидишь, что решится она в один момент, — и, как точку поставив, Никаныч, красиво взмахнув рукой, бросил окурок в стоящую рядом урну. — Ну, что ты молчишь, как на уроке? Мы не в школе, и сейчас я для тебя не Николай Иванович, а просто Никаныч, ведь так вы меня за глаза зовете, а? — Никаныч легонько похлопал Ваню по коленке.

— Правда, что вы гомосексуалист? — Ваня спросил это, совсем не смущаясь, словно он спрашивал: «Правда, что вы МГУ заканчивали?»

Никаныч даже опешил слегка. К чему, к чему, а к этому вопросу, и тем более от Вани, он просто не был готов. Он мог предположить сто миллионов вариантов вопросов, которые мог задать Ваня, но этот...

Сидевший рядом Андрей Андреевич, широко, не оголяя зубов, улыбнулся, и его пухлые, даже толстые, губы вытянулись в две длиннющие колбаски, а щеки стали до того круглыми и широкими, что, казалось, только тронь их, и они сами с лица скатятся.

— Ну, ты... Поглядите на него. — Все еще не придя в себя, обратился Никаныч к Андрею Андреевичу. — Нет, Андрюша... Ты... только послушайте, какие у меня замечательно любопытные ученики.

— Ну, так, что же вы хотели, батенька. О, Темпера. О, More! — с доброй, даже детской улыбкой заметил Андрей Андреевич.

— И что же вас подвигнуло на такие вопросы? — обратился Никаныч к Ване на «вы».

Выплакавшись, Ваня словно выплакал из себя и страх, и обиду, и злобу, и стыд — все чувства вышли из него вместе со слезами, единственное, что, наверное, осталось, это усталое безразличие. Вот, пожалуй, и все.

— Я сегодня проиграл в карты тысячу долларов, денег у меня таких нет, и мне сказали, что вы гомик... и я должен вас убить, тогда мне простят мой долг. — Никаныч и не нашелся сразу, что и сказать на это. — Вот поэтому я и спрашиваю: вы гомосексуалист?

— А если и так. Ты что, меня прямо тут же убивать будешь?! — в тоне Никаныча проскользнула откровенная обида. — Это что за мода у вас такая пошла — играть на классных руководителей? На директора не могли сыграть, что ли? Что это, прям, сразу на бедного Никаныча набросились? Чем он вам дорогу-то перешел. Небось, этому оболтусу Максусу проиграл?

— Абрамчику, но Макс тоже играл... А вы как догадались? — Ваня сразу же вострепнулся и вперед чуть подался.

— Это вы только думаете, что вы такие умные, а учителя, такие идиоты, ничего о вас не знают. Давно я уже собирался заняться вами, да вот все руки не доходили. А тут повод, вишь, какой... Нет, Андрюша, ты слышал, на учителей уже играют. А ты говоришь про какие-то там тампера и морэс. Вот сидит с нами на одной скамейке представитель юного поколения...

— Я не хотел на вас играть.

— Да, что уж там, не горюй. — Никаныч ласково потрепал Ваню за волосы. — Во, шевелюра у тебя какая.... Все это лабуда, что вы на деньги играли, что проиграл ты — тоже лабуда. Вы — несовершеннолетние, вам вообще в азартные игры играть воспрещается, а тем более

на учителей. Это просто свинство с вашей стороны. — Никаныч еще говорил в том же духе, голос звучал его совсем не злобно, не обижено, а даже весело и ободряюще. Слушая его, Ваня все больше проникался доверием к учителю.

Ваня, как и многие ушербные дети, видел в каждом мало-мальски добром и веселом человеке отца. А Никаныч всегда был с Ваней добр и весел. Ване хотелось, чтобы этот человек обнял его, приласкал, сказал бы что-нибудь очень хорошее, сходил бы с ним в кино, на футбол. «И никакой он не пидор, а просто очень добрый и хороший человек», — и Ване очень захотелось, чтобы Никаныч потрепал его за волосы. И уже доверясь окончательно, Ваня подвинулся к Никанычу и тихо предположил:

— Мне кажется, они меня обманули. Они нечестно играли. Специально сделали так, чтобы у меня было три туза, а у Абрамчика — сека.

— В секу играли?

— У-гу.

— Ну, вы, пацаны, даете, — и Никаныч потрепал Ваню за волосы.

Счастливый Ваня тихо сидел на скамейке и, улыбаясь, заглядывал в лицо Никанычу. Теперь этот человек был ему лучшим другом, и умереть Ваня был готов за него, жизнь свою отдать за этого человека. Так думал Ваня, заглядывая на своего учителя. И Ваня, переполненный чувствами, признался:

— Николай Иванович, вы очень хороший человек.

— Ну, так. А почему я должен быть плохим... Ладно, маленький хороший человечек, время позднее, пора тебе домой. И не бери ничего в голову, и ни о чем не думай. С шулерами с этими карточными я завтра разберусь. Давно уже пора прикрыть вашу малину...

— Вы не знаете, — чуть ли не шепотом произнес Ваня, и голос его дрогнул, — понимаете... тут еще... — и, переборов себя, Ваня выдал: Я расписку им написал, что если я им деньги не отдам... там я очень плохо написал... Я не хотел писать... они заставили меня...

— Ну, не томи. Что ты там еще такого страшного написал? И уверяю тебя, маленький человечек, заранее: все это лабуда — все, что ты там накалякал...

— Я там написал, что...

— Ну? Что убить меня должен? Так? Наплюй на это...

— Нет... другое, — выдать Николаю Ивановичу правду написанного Ваня не мог, легче было бы с крыши пятого этажа на асфальт прыгнуть, чем признаться, что он там написал. — Там я про себя написал... Но они меня заставили... Меня еще Максим Быков бил.

— Вот гаденыш. И с ним мы поговорим, — утешил Никаныч. — Либо какую-нибудь гнусь, вроде того, что должен с крыши прыгнуть или директору под дверь наложить? Угадал?

— Примерно... я должен буду ... ну, это... сделать короче... Ну, вот это.

— Чего вот это-то?

— Ну, вы понимаете, — недогадливость Николая Ивановича убивала Ваню. Самому сказать, у него не то что язык не поворачивался — даже подумать. — Они били меня, — сказал Ваня, и готов был опять разрыдаться, — и Абрамчик ногами, а я на земле лежал... — здесь Ваня зарыдал.

— Ну вот, опять, — Никаныч обнял Ваню и даже в темя его поцеловал.

Рыдая, Ваня сильно-сильно прижался к своему учителю, как только ребенок прижимается к матери, единственному человеку, могущему понять и утешить.

— Мы потом, когда в карты играть кончили, через интернат домой шли и видели, как двух пацанов убивали, — сквозь слезы, задыхаясь, поведал Ваня: — Там одного душили и до смерти задушили... и мы все это видели. И я сразу подумал, что я вот так вас буду душить... — дальше Ваня уже не мог продолжать, слезы мешали.

— Час от часу не легче. Ну, что потом?

— Я... я не знаю... Я убежал... меня Абрамчик... сказал, что я вот также вас убить должен, и, если не... не убью, я должен... он опустит меня и Макс... и я... я в... в расписке и написал... написал все это... я написал, что отсосу у Абрамчика и вся школа... если не... сделаю — все узнают, — и вновь слезы задушили Ваню.

Крепко зарылся он лицом в рубашку любимого учителя. Все Ваня ему рассказал, все доверил. Больше уже нечего было.

— Ну, перестань, перестань, — нежно и, видно, не желая этого, Никаныч отстранил от себя Ваню. — Ну, совсем уж ты расклеился. Нельзя же так, ты же мальчик, а не девочка, — в голосе Никаныча звучала слабая дрожь, тело лихорадило, ему хотелось обнимать этого мальчика, целовать, и сколько стоило ему не делать этого, а отстранить это нежное создание... оторвать от себя. — Все, Ваня, иди домой, — на выдохе прошептал Никаныч, — поздно уже... Завтра я все решу. И ничего не бойся. Иди, мой мальчик, — Никаныч стал слегка подталкивать Ваню. Дрожь его усиливалась, и терпеть дальше теплоту этого ребенка он спокойно не мог. (Как ему сейчас хотелось, чтобы сидели они не на лавочке, возле дороги, а в теплой квартире, вдвоем с этим юным человечком. Как он тогда утешал бы его...)

— Иди, Ванечка. Поздно уже.

Ваня поднялся. Красный от слез, он чувствовал странную неловкость, новое, непонятное чувство овладело им.

— До свидания, — произнес он чуть слышно. Больше ничего не говоря, повернулся и нетвердо зашагал к своему дому.

— Пойдем, Андрюша, отсюда. Слишком здесь жарко, — поднявшись с лавочки, Никаныч и Андрей Андреевич зашагали прочь. Никаныча все еще трясло. Зайдя в темноту деревьев, он крепко обнял и поцеловал своего друга.

VI

Простившись с Абрамчиком, Муся не пошел домой. Проходя мимо дворовой беседки, он зашел в нее и сел на спинку скамейки. Скамейка была сильно затоптана. Куски свежей грязи длинным, ломаным рядом сползали по ее краю, вероятно, еще недавно кто-то чистил о скамейку свои запачканные ботинки. Спихнув лениво несколько ошметков грязи, он задумчиво уставился на дорогу.

— Какая скука, — произнес он чуть слышно и, опустив взгляд на землю, замолчал.

Посидев так минут десять, Муся, не спеша, поднялся и вышел со двора, дойдя до автобусной остановки, влез в подошедший переполненный автобус.

Муся завис на подножке. В середину салона пробраться возможности не было. Не было возможности даже держаться за поручни — такая была давка. Кое-как устроившись между чьих-то спин, плеч и животов, Муся, чуть касаясь пальцами запотевшего стекла, замер, точно гусеница в коконе. Он ехал в центр города. Такое иногда находило на него. Он выбирался в центр и, гуляя по старым улочкам, думал. Маршрут был один. Некоторое время он сидел у фонтана, затем двигался к пруду,

обходил его, поднимался на главную площадь, проходил по центральной улице, где находились самые лучшие гостиницы и рестораны, переулками, закоулками добирался вновь до площади, там садился в автобус и возвращался домой. Всегда с одним и тем же чувством — чувством неприязни, неприязни к своему району, дому, квартире. Слишком убогими они становились после всего виденного им нарочитого блеска и величия, слишком серыми и обыденными. Но больше возвращаться было некуда.

Особой любви ни к матери, ни к отцу Муся не испытывал никогда. Может, только в глубоком детстве. Да и так... Он не помнил этого.

Мать он стал ненавидеть рано. На это были свои причины... Еще совсем маленьким, он, каким-то шестым чувством, понимал, что он лишний, нежеланный ребенок. Как бы то ни было, и большой любви между отцом и матерью он не видел; и часто получалось в их нескончаемых ссорах, что крайним оставался он. Мать не брезговала спекулировать им, оставляя сына как последний аргумент в своих разбирательствах с мужем, которого это злило, и этой злобы с лихвой хватало и на жену и на сына. Так что у Муси было достаточно причин не любить своих родителей... даже ненавидеть, особенно мать.

До школы Муся редко общался с ровесниками, редко выходил на улицу. С утра и до вечера он не расставался с книгами. Библиотека находилась в подвале его дома. Мать работала там же. Почти каждый день, в половине десятого утра, он с матерью подходил к старой, облезлой двери, ведущей в библиотеку, и терпеливо ждал, когда мать, распе-

чатав здоровенный амбарный замок, передаст его ему. Дальше, со скрипом, мать отворяла тяжелую деревянную дверь, привычно подкладывая под нее кирпич и входила в небольшой предбанничек; Муся бережно держал замок и терпеливо ждал, когда, отомкнув вторую дверь, мать распахнет ее настежь и, наконец, пригласит его войти внутрь. Тогда, с замиранием сердца, он, словно в сказочное подземелье, спускался по ступеням и оказывался в полумраке небольшой комнаты, где стояли по стенам книжные шкафы и длинный, во всю комнату, стол, за которым велась запись посещения библиотеки. Дальше Муся проходил узкий коридорчик и попадал в волшебную залу, где тремя рядами шли друг за другом столы, и на каждом стояла лампа. Даже в самую солнечную погоду яркий свет падал только на тот ряд столов, что стояли у окон, до половины закованных в бетонные всегда замусоренные колодцы; окон, и соответственно колодцев, было три, эти колодцы были так высоки, что, в жаркое время, залезая в один из них через открытое окно, маленький Муся лишь кончиками пальчиков доставал до края, и то, если становился на носочки. У противоположной от окон стены в несколько рядов тянулись книжные стеллажи. Зайдя за них впервые, Муся даже испугался: со всех сторон из полумрака смотрели на него книги, большие, маленькие, толстые, тоненькие, их было так много, и такие они были разные, что Муся даже не смог бы предположить, сколько же их — тогда он умел считать только до десяти. Но, пожалуй, самым интересным, что очаровало Мусю, были висевшие на стене три огромных портрета.

Уже потом Муся узнал, что это портреты Пушкина, Толстого, Достоевского, но тогда, впервые, эти серьезные потускневшие от пыли и времени лики казались волшебными и загадочными; такое чувство страха и благоговения испытывает глубоко верующий человек, оказавшийся пе-

ред святыми образами. Муся был очарован этой маленькой, обычной библиотекой. И, если первое время мать таскала его с собой исключительно для того, чтобы не оставлять одного дома — детский садик Муся сразу воспринял в штыки, — то после мать, совсем не боясь за сына, могла оставлять его в библиотеке хоть на целый день, зная, что в любое время она найдет его сидящим за вторым столом у окна, за книгой.

Читать Муся научился быстро и первое время читал все подряд, ему был важен сам процесс получения из букв слова, что оно обозначало, его это пока не интересовало. Потом он каким-то внутренним чутьем выбирал именно те книги, какие были ему интересны. Он сам лазил по стеллажам и сам находил нужную книгу. Сначала он проглотил все сказки, и чем больше он проглатывал их, тем больше вставало перед ним вопросов: почему Иван — дурак? И если дурак, то почему все лучшее доставалось ему? Слово дурак, благодаря матери, у Муси четко ассоциировалось с чем-то плохим, а он всегда все прочитанные сказки непременно переводил на жизнь. Почему бедным быть хорошо, а богатым плохо? Почему сильный не всегда добрый? Почему добрый обязательно убивает злого? Почему, если богатый, значит глупый, а нищий, значит умный? Много появлялось вопросов, и чем больше он читал сказок, тем сильнее убеждался, что есть два мира: один, это в котором живет он сам, и другой — который есть в книгах. И эти два мира никак между собой не пересекались. Взрослея, Муся отошел от сказок, но и книги, в которых не рассказывалось о колдунах, ведьмах и домовых, так же ставили его в тупик: если герой был бедным, умным, добрым и честным, то обязательно он был несчастным; но даже если герой был глуп, богат, обманщик и злодей, то и в этом случае он оказывался несчастным; а если вдруг герой оказывался счастливым во всех отношениях, то это

получалась неправда. Муся это чувствовал сразу и тут же отказывался от такой книги. Ему не интересно было читать о счастливом, во всех отношениях, герое. В книгах он искал подтверждение своей жизни. Он очень быстро наелся сказками и героическими романами. Ему хотелось видеть правду — ту правду, в которой жил он. А эта правда была такова: человек несчастен изначально, и счастливым быть не может. Единственное, что может отвлечь его от собственного несчастья, это несчастье другого. Счастье — когда рядом есть несчастье; богатство — когда рядом есть бедный; сила — когда рядом есть слабый. И так во всем. Муся уяснил это для себя окончательно и бесповоротно.

Это видел он в книгах; это видел он в своей жизни. Другого он не видел, и в другое он не верил. Если сделать кому-то плохо — обязательно себе сделаешь хорошо. Если сделаешь кому-то хорошо — не обязательно, что себе сделаешь хорошо. Мир грязен и лицемерен. Для Муси это была истина. К пятнадцати годам он понял это разумом; в шесть-семь лет — он не понимал этого, но уже чувствовал. Ему странно и неприятно было видеть, что дома мать за каждый пустяк ругала его бранными словами, а в библиотеке, когда он тихо весь день сидел за книгой, как экспонат, показывала его своим подругам и нахвалиться на него не могла. И все ее подруги и знакомые восхищались таким умненьким и послушным мальчиком, который вместо того, чтобы шаболду на улице околачивать, примерно сидел в читальном зале и читал книжки. И каждый непременно считал своим долгом подойти к нему, погладить его по головке и сказать: «Умница, Ромочка». И непременно добавить: «Читай, читай, я больше не буду тебе мешать». Мать же, словно нарочно, приводила своих знакомых в библиотеку, чтобы те видели, какой у нее примерный сын, видели и лопались от зависти. Тогда, может быть, Муся и приоб-

рел свою привычку улыбаться. Молча сносил он эту бла-
гонравнейшую пытку, и каждый раз, когда его гладили по
головке, он улыбался, мысленно уже ненавидя этого чело-
века на всю жизнь. Улыбка же делала свое дело, растро-
ганный видом такого тихого, умненького и доброго маль-
чика, гость непременно дарил ему шоколадку или другой
гостинчик, говорил: «Читай, читай, я больше не буду тебе
мешать», — и на цыпочках тихо удалялся, чтобы поведать
счастливой матери о том, что иметь такого ребенка — для
любой матери истинное счастье. Но эти эпизоды были бы
не полной картиной Мусиной ненависти. Последняя точ-
ка была поставлена как раз последним летом перед шко-
лой.

Летом детская библиотека умирала. Не выезжающий
никуда из города, Муся безвылазно сидел в читальном
зале. Если хотя бы один ребенок раз в неделю заходил в
библиотеку, предпочитая ее реке или просто беготне по
двору, это было хорошо. Но обычно, с десяти утра до ше-
сти вечера, Муся сидел в библиотеке один, ну, еще мать,
конечно.

Это случилось в июле. Сидя в прохладном подвале чи-
тального зала, Муся, увлеченный Фенимором Купером, не
заметил, как над ним склонился молодой человек. Муся
даже вздрогнул от неожиданности, настолько тих был тот
полдень, что обычные слова «умница, Ромочка» прозву-
чали для Муси буквально выстрелом. Человек этот захо-
дил в библиотеку довольно редко, но всегда с богатыми
гостинцами. Погладив Мусю по головке, он положил пе-
ред ним большую гроздь винограда, умилившись Роминой
улыбкой, еще раз тронул его волосы и тихонечко удалился
в абонементную комнату. Слишком было тихо в библио-
теке, чтобы Муся не услышал перешептывания молодого
человека с матерью. Сначала шепот был о замечательном
тихом мальчике, целыми днями читающем умные книж-

ки. Но что-то заставило Мусю отвлечься от книги и чутко прислушаться к странному шепоту и не менее странной возне, происходившей за перегородкой. Муся не слышал, а больше ощущал всем своим телом, даже мелкая дрожь тронула его спину...

— Перестань, он же там, — тихо шептала мать, — услышит же... ну, какой ты... — дальше было слышно только дыхание — прерывистое, сдавленное, и, следом, Мусино ухо резануло хлюпанье. Он так четко его слышал... и так четко себе представил... Точно такое же хлюпанье он не раз слышал ночью дома, правда, дома хлюпанье дополнял скрип...

В читальный зал неслышно вошла мать. Муся не поднимал глаз, он не видел мать, он чувствовал ее. Почувствовал он и то, как, минуя читальный зал, вышел на улицу молодой человек, мать обернулась, махнула ему рукой и, еще с минуту постояв, так же молча вернулась к себе в абонементную. Не видя строчек, лишь по инерции переворачивая страницы, Муся до вечера сидел, бессмысленно уткнувшись в книгу, странно улыбался непонятно чему, и единственное, что владело его мыслями весь тот день, было это влажное хлюпанье...

Наконец автобус остановился, двери открылись. Утомленный и раздраженный, Муся выдавился из салона на улицу. Сошурившись, чуть подавшись вперед, он быстро шел, мимоходом отвлекаясь на горящие огни витрин и рекламных щитов, и, чем больше смотрел он на них, тем уже становились щелки его глаз... и вот уже Мусю начало трясти, и тошнота подошла к горлу... Каждое лицо, проплывавшее мимо, пристально разглядыва-

ло его и так и хотело раскрыть свой рот и показать Мусе фиолетовый пупырчатый язык. Муся это чувствовал: каждый прохожий, будь то старуха или ребенок, так и порывался открыть рот и высунуть свой язык. Качнувшись, Муся резко завернул за угол дома и, уперевшись руками о стену, без сил уронил голову. Так он простоял минуту. Голова закружилась и его стошнило желчью: с утра он не ел ничего и, давясь, выплевывал на асфальт зеленовато-желтую прозрачную жидкость. Сколько он так простоял, он не помнил. Вывел его из оцепенения какой-то мужичок.

— Вот, козу хочу покормить, — тронув Мусю за плечо, хрипло произнес мужичок. Муся обернулся. Мужичок был спившийся, в протянутой к Мусе руке держал он несколько капустных листьев. — Цирк к нам приехал, — продолжал мужичок, — а там коза... И я, вот, хожу ее кормлю. Она капусту жрет.

Повернувшись спиной к стене, Муся сполз на асфальт и, сидя на корточках, беззвучно закричал длинным и монотонным смехом. Смеется он или плачет, мужичок не понял, сел рядом на корточки и вновь повторил:

— Козу я хожу кормить... Капусту она любит... из цирка она.

— Да ты сам из цирка! — в лицо ему сквозь смех крикнул Муся.

— Не, я не из цирка... я здесь живу.. вон в том доме... — и мужичок показал на дом, — может, у тебя сигареточка будет, закурить?

Вскочив с корточек, Муся сладко потянулся, хлопнул алкаша по спине, весело соврал: «Не курю, спортсмен», — и, резво выскочив из подворотни, бодро зашагал к фонтану.

Половина лавочек возле молчавшего фонтана пустовали, сев на одну из них, словно нарочно, под свет фонаря,

Муся, вспоминая мужичка и представляя, как тот кормит козу, вздрагивал в тихом смехе.

— А вы красивый, — сладко прозвучал женский голос. Муся обернулся. В темноте кустов слева от него на этой же лавочке, откинувшись и упершись руками о скамейку, сидела молодая женщина, на вид не больше тридцати лет. Голова ее была высоко поднята, и взгляд упорно что-то искал в небе. Женщина улыбалась, улыбалась как-то по-детски, слегка рассеяно и... непонятно чему. Странная улыбка ее не вязалась с пристально разглядывающим небо взглядом.

— А я красивая? — выдержав паузу, спросила она, повернув к Мусе лицо.

И здесь Муся промолчал, лишь улыбнулся...

— Странно, что вы молчите. Хотя.... — женщина смолкла и вновь устремила взгляд на небо. В повороте головы, в голосе, в улыбке этой странной женщины одновременно смешивалось и наивное простодушие, и откровенное кокетливое позерство. Играла ли она или действительно была так странна и непосредственна, понять было трудно. Слишком уж взгляд ее был изменчив (мгновенно изменчив): то прищурено-изучающий, то по-детски открытый и наивный, а то вдруг мягкий, добрый и... тут же — колющий и подозрительный. И казалось, что все это одновременно — так скоро шла смена настроения. Такой калейдоскоп во взгляде бывает лишь у детей и сумасшедших. Вновь женщина обернулась к Мусе, глаза ее были слегка прищурены, и что сейчас выражал ее взгляд, уж точно было не понять... хотя... так смотрят маленькие девочки, увидев что-то интересное и непонятное. Это непонятное ужасно хочется понять, девочка всматривается и от бессилия злится сама на себя и свое любопытство усиленно пытается скрыть важной серьезностью. Но никак не получается,

девочка видит это, злится, глазки от этого еще больше сощуриваются, превращаются в две маленькие щелочки, и вдруг, наконец, сообразив, в чем дело, широко и страстно открываются, и ничем уже не загасить этого счастливого блеска.

— Вы со мной не хотите разговаривать потому что боитесь меня, ведь правда?! — Улыбка женщины стала озорной и игривой. И вся она как-то встрепенулась, и даже плечиками повела. Сейчас она была красива, красива своей детской игривостью, и на секунду Мусе показалось, что перед ним сидит ребенок, озорная девчонка, лет тринадцати, не больше.

Муся промолчал. Промолчал не от того, что испугался, или ему нечего было ответить. Он почувствовал игру. Женщина была слишком странной; к тому же впервые к Мусе вот так запросто обращалась женщина и заводила с ним беседу. Ему захотелось поиграть. Желание это явилось не осознанно, а вдруг. Повернувшись к ней лицом, он кокетливо склонил голову, и хитро-хитро прищурился, словно желая ее этим передразнить. Женщина смутилась и потупила взгляд. И если Муся играл, то играла ли она, этого еще он не понял.

— Но все-таки... скажите мне что-нибудь, — с расстановкой произнесла она. — Я же могу и уйти, — и она подгнула ноги, как будто и впрямь решила подняться и уйти.

— Вы красивы.

— Правда?! — женщина так обрадовалась, что даже сделала короткое движение, словно хотела от такой откровенности обнять и поцеловать Мусю, но быстро опомнилась и, вновь вытянув ноги, приняла прежнюю спокойную позу. — Я очень люблю красивых людей, — произнесла она, точно собираясь говорить что-то очень длинное и значительное. — Вот вы красивый человек, я красивая. В этом мире должны жить только красивые

люди. Достоевский сказал: красота спасет мир, — хотя сам он не был красивым человеком. Но так и должно быть: некрасивые славят красивых, глупые почитают умных, трусливые боятся смелых, слабые завидуют сильным... В этом мире есть гармония, и все, что выпадает из нее, умирает, — замолчав, она длинно и тяжело вздохнула, как вздыхают только люди, вспомнившие о чем-то далеком и печальном.

Муся молчаливо ждал, что будет дальше; разговор и женщина заинтересовали его; и она на самом деле была красива, освещенная слабым светом фонаря и уже отчетливо проявившейся на черно-синем небе Луны.

— Вы молоды, и я молода, — продолжала женщина, теперь с оттенком романтизма. — Вы, вероятно, еще школьник... Этим я не желаю вас обидеть, а лишь подчеркнуть вашу цветущую и еще не испорченную свежесть... Такие, как вы, красивые и свежие, должны править миром. И я с радостью служила бы вам. Знаю, именно вы станете владельцами и спасителями мира. А мы... Хотя я достаточно молода и красива. Мне всего лишь восемнадцать.

Здесь Муся смутился. Возраст женщины, именно из-за ее взгляда, улыбки и манер, сейчас поставил его в тупик. Сразу он и не подумал, сколько ей действительно лет. Возраст ее, казалось, менялся, как и настроение, мгновенно. Поверить, что ей восемнадцать? Может быть, а может и все тридцать. Для пятнадцатилетнего юноши все женщины старше восемнадцати, теряли свой возраст. Она была старше — это все, что он мог для себя определить... Но если только так, наобум. А если женщина вот так вот сидела рядом, кокетничала, по-детски улыбалась... словом, Муся поверил.

— А давайте пить водку, — то ли в шутку, то ли всерьез предложила она, чуть ли не коснувшись своим носом му-

синого носа, при этом обдав его вполне ощутимым запахом спиртного, — или пить водку вам не разрешает классный руководитель?

Слово, произнесенное, наверняка, случайно, попало в точку. И уже подогретая мусина похоть, вздрогнув, сменилась ненавистью.

— Где мы будем пить водку? — спокойно спросил он.

— Ты мне нравишься! — женщина шлепнула его ладонью по колену и даже потрепала, как это делают в радостном довольстве лучшие знакомые. — Пойдем, — поднявшись, она увлекла его за собой. — Пойдем же! — и уже не оглядываясь, в полной уверенности, что он идет следом, она заспешила к магазину.

Полненькие и очень ровные красивые ножки, торопясь, обгоняли друг друга, и вся фигура ее была полненькая и даже чем-то напоминала фигуру девочки, только очень большой девочки. Шагала она, мелко перебирая ножками, животиком вперед и голову чуть склонив, а руки, словно нарочно, плотно прижимала к телу: руки ее хотели летать, но она их сдерживала, и от того более походила на взрослого ребенка. Поднявшись, Муся, не торопясь, пошел следом.

Возле самого магазина она обернулась и нетерпеливо замахала ему руками, словно желая этим сказать: «Ну, что же ты, скорее, а то опоздаем». Не меняя шага, Муся подошел к ней.

— Какой ты медлительный, — укоризненно произнесла она, — но такой классный! — Бесцеремонно она потрепала его по щеке.

Случилось это так неожиданно, что Муся просто не успел среагировать.

— У, ты, моя лапа, — ласково сюсюкнула женщина.

Эта фамильярная нежность не понравилась Мусе. Заmeshкавшись, он все же зашел в магазин, женщина уже сто-

яла возле прилавка и с жаром что-то объясняла продавщице, кроме них в магазине не было никого.

— Так. Во-первых, — женщина загнула указательный пальчик, — сладких апельсинов, во-вторых, — загнула она следующий пальчик, — красных персиков, в-третьих, бутылочку водочки, в-четвертых, апельсинового соку и... в-пятых... две пачки «Салема».

Расплатившись и забрав все, что заказала, женщина на секунду задумалась, прижав указательный пальчик к губам. Сказала «все» и, вручив Мусе полный пакет, первой покинула магазин.

Она ждала его возле выхода.

— Какой ты все-таки странный. Тебя, наверное, все боятся. Я вот тоже тебя немножечко боюсь. — Она тронула ладошкой его руку, — такие горячие руки. Пойдем ко мне. Я живу здесь недалеко... Только не убивай меня, — добавила она, почему-то так сладко.

«Сумасшедшая», — мелькнуло у Муси, и, улыбнувшись широко, он оголил ряд белых, ровных зубов.

— Какие у тебя классные зубы! — восторженно, чуть не подпрыгнув, воскликнула она.

Ее беспокойное поведение раздражало Мусю. Весь путь до дома она говорила, молчала, вздыхала, смеялась, столько оттенков голоса, от нежного, романтического до грубого и нервного, Муся, пожалуй, не слышал. Отвращение, желание, ненависть... даже влюбленность. Пока они шли, Муся пережил столько чувств к этой странной сумасшедшей (в этом Муся уже не сомневался), что теперь его вело за ней только любопытство. Любопытство неизвестности.

Куда она вела его? Что будет там? Вопросы возникали и сразу исчезали. Но не испытывал он страха, лишь любопытство, маленькое, вредненькое любопытство неизвестного. Дом ее действительно стоял недалеко. От фон-

тана они шли не больше десяти минут. Это был старый, добротный дом сталинской постройки в форме колодца, в пять этажей, с фигурным карнизом, с одним входом-аркой во двор. Во дворе детская площадка с песочницей, качелями, лавочками. Все было аккуратненько, ухожено и уютно, точно московский дворик из старого кино. Это был один из лучших престижных домов города, где когда-то жили только партработники, а сегодня, преимущественно, бандиты и коммерсанты. Муся проходил мимо этого дома множество раз, и каждый раз сравнивал его со своей однокомнатной «хрущевкой», где они теснились втроем с отцом и матерью. Проходя, не раз Муся представлял себе квартиры этого дома: высокие потолки, огромные комнаты с паркетом, по которым можно кататься на велосипеде, здоровенная кухня. Муся мечтал побывать в этом доме. И только одно это заставило идти его быстрее.

VII

— Вот мы и пришли, — произнесла она, открывая ключом дверь первого подъезда.

Подъезд встретил Мусю холодной тишиной. Женщина первая засеменила вверх по лестнице, быстро и чуть слышно. Ступив на выложенный плиткой пол первого этажа, Муся осмотрелся. Женщина, точно забыв про Мусю, не оглядываясь, входила уже на второй этаж. Площадка первого этажа была огромна, величественна, и очень неуютна. Странно, Муся ждал других ощущений. Он сравнил эту громаду со своим маленьким, заплеванным, но все же до чертиков привычным подъездом. А здесь высокий потолок, холод и две смотрящие друг на друга шариками «глазков» железные, тяжелые черные двери.

Взявшись за перила, он, не торопясь, стал подниматься по лестнице. Она ждала его на площадке третьего этажа.

— Ну, где же ты? — прошептала она чуть слышно, — пойдём.

Открыв железную дверь, она, легко ступая, вошла вовнутрь. Войдя следом, Муся оказался в довольно длинном коридоре. Шлепнув по выключателю, женщина, не нагибаясь, помогая себе носочками ног, скинула легкие туфельки и, чуть ступая, даже не обернувшись, закрыл ли дверь ее молодой гость, засеменила прямо по коридору и, повернув направо, скрылась на кухне.

Единственное бра освещало коридор, помогал еще свет из подъезда. Муся стоял возле полуоткрытой двери. Станным ему показалось, что хозяйка оставила дверь так — не закрыв ее, и, совсем ничего не сказав, исчезла. Странно. Но Муся уже решил для себя, что она сумасшедшая, а раз так... словом, он закрыл дверь на замок. Аккуратно сняв ботинки и поставив их под вешалку, он осмотрелся. Светильник очень тускло освещал коридор, но глаза его быстро привыкли к полумраку. Вероятно, в квартире больше не было никого. Женщина была в кухне, но и оттуда не доносилось ни единого звука. Тишина была буквально мертвой. По правую руку Муся рассмотрел две двери, скорее всего, входы в комнаты, прямо — дверь в туалет и ванную. Муся все это разглядывал, оставаясь на месте. Выйти из этой странной квартиры желания не было. Но сделать первый шаг — что-то удерживало Мусю. А вот что? Слева, вдоль стены, стояли невысокие тумбочки, шкафчики, висели полочки, и огромное, бросавшееся в глаза, неисчислимое количество высохших цветов. Словно на старом забытом кладбище. Во всю стену коридора висела длинная рыбацкая сеть. Засушенные розы, тюльпаны, пионы, ромашки, нарциссы, гладиолу-

сы и множество других, не узнанных Мусей, цветов, хаотично запутанных в сеть, составляли странный мрачно-ватый сухой ковер. Цветы также торчали высохшими букетами в различных по форме и размерам вазах, стоявших на тумбочках и шкафчиках. Ни одного живого цветка. Ни одного.

Наконец, решившись, Муся сделал первый шаг, но тут же остановился. Между закрытыми дверями в комнаты висело несколько больших черно-белых фотографий в черных рамках. На всех фотографиях были портреты девушки, молодой, чертовски красивой. На одной, висевшей прямо напротив Муси, — девушка, запечатленная в профиль, склонилась и нежно смотрела на живую белую розу в своих руках. На другом портрете — та же девушка, но уже гораздо старше (Муся прикинул, что здесь ей лет двадцать), печально всматривалась в Мусю сквозь букет пушистых мимоз. И на всех других портретах Муся узнал одну и ту же девушку. Эта девушка была похожа на ту женщину, которая сейчас неслышно сидела на кухне. Именно была. Сходство улавливалось совсем незначительное... «Тогда сколько же ей лет? — пронеслось у Муси в голове. — Фотографии, наверняка, старые, но она говорила, что ей восемнадцать...» Муся чуть не рассмеялся. Почему? Он и сам не мог понять. Ему вдруг захотелось просто заржать. Прыснув, он все же подавил в себе это желание (и опять же, почему он не рассмеялся, а подавил в себе это желание... и этого он не понял), от этого ему стало так легко и... уютно... именно уютно. Он четко осознал это и, уже обычно улыбаясь, вошел в кухню.

Яркий верхний свет ударил ему в глаза. Свет был неожиданно ярким, и Муся не успел сообразить, почему? Контраст был из-за плотно закрытой деревянной двери, ведущей на кухню. Свет из кухни не проникал в коридор.

И из полумрака войдя в такой яркий свет... Это было действительно неожиданно. Женщина сидела молча и бесцеремонно разглядывала Мусю, как разглядывает придирчивый покупатель приглянувшуюся ему вещь, с толком, прицениваясь, стоит ли она того, что указано на бирке, или нет. Мусю не смутил этот взгляд; остановившись, он осмотрелся: на широком подоконнике стояло несколько ваз с букетами свежих роз. На столе, за которым сидела женщина, также стояла ваза с букетом свежих ромашек (водка, апельсины, персики уже красовались на столе). Букет с живыми розами стоял на холодильнике.

Кухня, как и предполагал Муся, оказалась довольно просторная: до сидящей за столом женщины было не меньше трех шагов, а до окна все пять.

— Понравились тебе мои цветы? — спросила женщина, словно зная, что Муся задержался в коридоре исключительно ради ее цветов.

— А почему ты не спросишь, как зовут меня, и не скажешь, как зовут тебя? — ответил он вопросом на вопрос.

— А зачем это? — пожала она плечами. — Но если ты хочешь... как тебя зовут?

— Альберт, — соврал Муся.

— Снежана, — ответила женщина.

— Это твое настоящее имя?

— Какая разница. Садись пить водку, — произнесла она так, как будто уже давно знала Мусю.

Он сел на стоявший возле стола стул, точно напротив женщины.

— Сколько тебе лет? — в лоб спросил Муся.

— А тебе? — парировала женщина.

— Двадцать пять — снова соврал Муся.

— Очень даже может быть, — задумчиво произнесла женщина и добавила: — ты похож на человека этого воз-

раста. А если взглядеться в твои глаза, — она пристально посмотрела ему в глаза, — такие глаза бывают у людей, проживших жизнь... Ты еще не думал о смерти?

Муся ответил улыбкой.

— И улыбка твоя не детская. Улыбаешься, и все тридцать лет страшной жизни я вижу в этой улыбке. — Голос женщины звучал, как голос плохой актрисы, играющей плохую роль — тянуче и надуманно. — Ты когда-нибудь хотел убить себя? — спросила она, разливая водку по рюмкам. — Зря так улыбаешься. Человек становится взрослым только тогда, когда действительно думал о своей смерти, желал убить себя, лишит себя жизни... А у тебя очень взрослое лицо и... очень странная, больная улыбка... Улыбка смерти...

— А, по-моему, ты сумасшедшая, — весело перебил ее Муся.

Лицо женщины изменилось, злой огонек тронул ее глаза, губы плотно сжались. Вскочив, она с силой бросила рюмку на пол, взвизгнув:

— Не смей так меня называть! Щенок! Я тебе в матери гожусь. Мать свою так называй! Подонок!! — и на пол полетела вторая рюмка.

Муся даже с места не дернулся.

— Почему ты так улыбаешься? — зло сверля его глазами, прошипела она.

— Потому что ты сумасшедшая, — только и ответил он. Он нисколько ее не боялся, хотя и не знал, кто она и что может ему сделать. Вопли ее только подогрели его азарт. Она стояла над ним жалкая, беспомощная в своей злости и... смешная.

Муся не сдержался — его разобрал смех. Звонко, широко ощерив свои белые зубы, он смеялся, не мигая смотря на женщину. Смех его был искренний и совсем не злой. Так смеются, услышав пошлый, но очень точный анекдот.

Странно, но смех успокоил женщину, она вернулась на место и, взяв персик, смачно откусила не в меру большой, сочащийся кусок, и пережевывая его, спокойно заключила:

— Кстати... ты... сумасшедший. По-настоящему... Сумасшедший. Ты — шизофреник. Я сразу это поняла. Как только тебя увидела, так сразу это и поняла. Вот скажи мне, зачем ты пришел ко мне? Ведь ты же не знаешь, кто я такая и что ждет тебя в моей квартире. А вдруг это не моя квартира? Или вдруг сейчас придет мой муж. Или вдруг из комнаты выйдет здоровенный амбал. Да много ли еще есть «или». Ты, вообще, можешь отсюда не выйти. Разве после этого ты не сумасшедший? Разве после этого я не права?

— Возьми новые рюмки, налей, наконец, водки. Я хочу выпить... А домой я идти не хочу. Сегодня я останусь у тебя, и мы займемся сексом. На правах двух сумасшедших.

Не двигаясь с места, женщина пристально посмотрела на него:

— Ты выглядишь на пятнадцать-шестнадцать лет. Но действительно ли тебе столько? Может и правда тебе все двадцать пять?.. Скажи, только честно — ты думал когда-нибудь о смерти? Seriously думал, понимаешь? Seriously.

— Водки налей, — в тоне Муси звучал откровенный приказ.

— А ведь я подчинюсь тебе. Я хочу тебе подчиниться. — И сказав это, она подошла к шкафчику, достала две рюмки, поставила их на стол, вновь наполнила водкой. Разбитые рюмки она небрежно отпихнула ногой, совсем не задумываясь, что может порезаться.

— Ты боишься смерти? — спросил Муся, выпив. Он чувствовал себя на редкость уверенно, спокойно и... опять же, уютно. Словно он сидел у себя дома. И промелькнуло

у него, что дома он себя так никогда не чувствовал — так уютно и уверенно.

— Боюсь. Особенно сейчас, — с тревогой произнесла она, — я тебя боюсь. Ты страшный. Нет, конечно, ты красивый, но душа у тебя страшная. Умру я сейчас, ты склонись над моим телом, откроешь пальчиком мои мертвые веки и с наслаждением станешь разглядывать мои остекленевшие глаза. А то и потрогаешь, желая убедиться — действительно ли у мертвых глаза стеклянные или врут люди.

Мусю покорило.

— Высунь, пожалуйста, язык, — произнес он тихо и настойчиво. Женщина послушно высунула язык, полукруглый, широкий, с зеленоватым налетом.

— Приблизься ко мне.

Она приблизилась до расстояния поцелуя. Первое желание — коснуться языка пальцем сменило другое, он поцеловал этот язык и чуть-чуть коснулся его своим.

Через мгновение они уже целовались, обняв друг друга, через стол...

Муся лежал на диване, прикрывшись простыней, в ближайшей к кухне комнате. На ковре посреди спальни стояла широкая низкая ваза, заполненная водой и до упора заставленная цветами. Перевернувшись на живот, Муся внимательно разглядывал этот букетике прикидывая, сможет ли он обхватить его одной рукой... Нет, только двумя. Кончиками пальцев осторожно проведя по цветкам, он погладил их, словно пожалел. Свет падал только из окна — холодный, тусклый; цвета с трудом различались, полумрак скрывал все оттенки, объединив цветы

одним, холодно-голубым светом. И большого напряжения глаз стоило Мусе отличить красную гвоздику от синего ириса. На свету, еще куда ни шло, но в тени совсем одна чернота. «А ведь при дневном свете этот букет чертовски красив... хотя и сейчас ничего», — и Муся перевел взгляд на небо. Небо затянуло облаками, и трудно было понять, как вообще свет проникал в комнату. «Ведь где-то, наверняка, за верхним краем окна должна быть и светить Луна. Иначе быть не может».

Опустив голову почти на пол, Муся заметил краешек холодной планеты. Подходить к окну ради того, чтобы увидеть ее всю, ему не хотелось. И на цветы смотреть надоело. Он просто улегся на бок и стал слушать негромко поющее радио.

Она читает в метро Набокова,
Я сижу около, веревочкой связана,
Маме доказано самое главное — Е.
Драной кошкой орала Земфира.

Пульты поблизости Муся не нащупал. Подняться с постели и подойти к радио он поленился. Пришлось дожидаться, пока певица заткнется сама.

— Ромашка, ты еще не соскучился? — В комнату вошла Снежана, свежая после ванны, обмотанная большим полотенцем. Она подошла к лежащему на боку Мусе и, поцеловав его в плечо, прошептала грустно, словно прощаясь с ним: — Ромочка, Ромашка моя ласковая, — и, перебравшись через безответно лежащего Мусю, обняв его, положила щеку на его плечо. — Ты знаешь, — прошептала она, — я сразу поняла, что ты не Альберт. Ты цветок. Ты Ромашка. Наверное, часто гадали на тебе: любит — не любит. Всю душу изранили тебе, каждый лепесток с кровью вырывали. Поэтому ты такой. Но остался у тебя еще один лепесток — для меня остался, и я буду ласкать его, целовать и беречь.

— Высушишь и в сеть запутаешь в коридоре, на память, — безучастно глядя на переливающиеся огоньки радио промолвил Ромашка.

— Не говори так. Я просто очень люблю цветы, — и, прижавшись к нему, она тихо заплакала, — знаешь, как мне тяжело. Меня же все обижают. Меня все хотят убить. И ты вот... Ты был сначала так груб со мной, словно я потаскуха. Не бросай меня. Я такая одинокая. Я очень люблю цветы. А мне их никто не дарит. Я сама их дарю себе.

— И меня ты сама себе подарила?

— Ну, вот ты опять. Я ведь нормальная, я совсем не сумасшедшая. Да, я была больна, но меня специально положили в больницу... Ты ведь тоже больной, я же говорила тебе. Ты еще больнее, чем я. Мне-то уже тридцать пять, а тебе всего лишь пятнадцать. А я в пятнадцать не была такой как ты — такой больной. Ты и в постели жесток. Мне было очень с тобой больно. Совсем было больно... я думала, ты убьешь меня... Ты ведь можешь убить, я знаю. У тебя нет ничего святого. Признайся, ты, когда был маленький, вешал кошек? У тебя в глазах плачут мертвые кошки. Говорят, у человека кошачьи глаза. Тебе же тоже говорили, наверняка говорили, что у тебя кошачьи глаза. Но просто так не бывает ничего. Просто так не может быть у человека кошачьих глаз. Не может быть у человека и просто так в глазах собачьей ... преданности. И эти все слова не аллегории. В тебе, на самом деле, живет кот, и не один. Все те коты, которых ты убивал — все они теперь живут в тебе... мертвые коты. Их души переселились в твою, и когда им совсем уж невыносимо от тех мыслей, которые тобой владеют, они пытаются вылезти наружу, посмотреть, а правда ли, что так плох тот человек, которого ты так ненавидишь и так желаешь ему гибели. И уже не своими глазами, а глазами мертвых котов ты видишь этого человека — они уже смотрят на него, а не ты.

— Ты и вправду веришь, что я в детстве убивал кошек? — усмехнувшись, но, все еще не глядя на Снежану, произнес Муся.

— Верю. Не знаю этого, но верю. Даже вижу... Ты подходишь к котенку, к ласковому котенку, садишься перед ним на корточки, котенок ластится к тебе, трется возле твоих ног, хочет, чтобы ты его погладил, забрал домой, сделал своим другом, он мурлычет от счастья, что ты подошел к нему, значит, не один он на этом свете, значит, кому-то еще нужен, значит, его еще можно любить. И ты чувствуешь это. Ты долго не решаешься взять его на руки, даже не решаешься погладить, но вот уже нет сил у тебя бороться со своим желанием. Ты берешь нежно на руки этот пушистый, серенький комочек, котенок улыбается от счастья, закрывает глазки, он верит тебе, мягко он висит в твоих руках, счастливый и довольный. Ты прижимаешь его к груди, обнимаешь, гладишь, прижимаешь все крепче и крепче, ты уже не замечаешь, что котенку больно, не слышишь его сдавленного хрипа, ты поглощен своей беспощадной любовью, и вот уже объятия становятся нестерпимыми, задушенный котенок перестает сопротивляться. И только тогда ты очнешься от своей любви и увидишь, что котенок мертв, когда почувствуешь на рубашке теплоту его крови, вырвавшейся из раздавленного тобой тельца.

— Сурово, — не меняя позы, ухмыльнулся Муся. — И теперь этот ласковый котенок живет во мне, — произнес он, закончив ее рассказ.

— Да, ты прав, теперь этот ласковый котенок живет в тебе... Точно такой же котенок жил в моем отце. Он повесился, когда мне было пять лет. И мой отец убил котенка при мне. Убил, не образно выражаясь, убил натурально. Мы гуляли в парке — я и отец. Еще совсем только утро начиналось. Осень. Только-только взошло солнце. Отец мой любил гулять по утрам, и меня всегда с собой брал. Я не хоте-

ла, мне хотелось спать! Он насильно одевал меня, слезки мне вытирал. Я хотела спать, идти никуда не хотела и поэтому плакала. Мама уходила на работу очень рано. Конечно, я рассказала об этом маме, но всего лишь один раз. Она сказала, что так надо, раз папа это делает. Он ее очень часто бил. И больше я не рассказывала об этом маме. И даже больше не плакала. Я потом совсем плакать разучилась. А потом я разучилась говорить. И до пятнадцати лет не говорила ни слова. Потом уже, когда меня начали лечить... То утро было самое страшное для меня утро — самое страшное утро, самый страшный день, самая страшная ночь. Это было в семьдесят первом году, в октябре. Я даже помню число. Даже если бы я и не помнила. В этот день повесился мой отец. И я... пятилетняя девочка, больше всего на свете хотела от Бога только одного, чтобы умер мой отец. Я этого очень сильно хотела. Он ненавидел мою мать... он ненавидел меня. Он даже ненавидел себя. Каждое утро мы ходили гулять с ним в парк. Особенно, когда вставало солнце. Летом случалось, что и в пять утра выходили гулять... Тогда, в октябре, было около девяти. И оделись мы в то утро как-то быстро. И из дома вышли, словно спешили куда-то. Отец уже с утра начал пить. Выходя из дома, отец прихватил из бара бутылку водки, и всю дорогу до парка прихлебывал по глоточку. Все было бы хорошо, если бы он не целовал меня; может быть, и утро не было бы таким мерзким, может быть, ничего бы и не было, *если бы он не целовал меня.*

Мы зашли уже в самую глубину парка, где аллеи были не асфальтовые, просто утоптанная земля. И откуда в этой чаще взялся котенок?.. Теперь я уверена — этот котенок нарочно оказался там, он был послан Богом, чтобы котенок вселился в моего отца и забрал его с собой. Не мог случайно оказаться маленький котенок в глубине парка один. И больше не было никого, я, отец и этот котенок. Увидев его, отец сразу повеселел, хотя он и так с утра после выпив-

того был счастливым. Бросив меня, он кинулся к котенку, на карачках кинулся. И, ползя к нему, шептал: «Киса, киса». Котенок совершенно его не боялся, он спокойно сидел на тропинке, головку склонил и ждал моего отца, как ждут чего-то неизбежного, но, в тоже время, и очень интересного. Он не убегал, он ждал. И вот, отец подполз к нему, взял его на руки, резко обернулся ко мне и зашептал мне громко, голос его был таким счастливым: «Снежаночка, гляди какая лапа», — и, поднеся котенка к своим влажным, раскрасневшимся губам, стал целовать его. А мне, когда я это увидела, стало так страшно. Я почувствовала, именно почувствовала (словно он меня целовал) резкий запах, гадкий вкус водки и слюны, он целовал его жадно, как только спяну мужчина может целовать порочную женщину, страстно и увлеченно. Отец словно сошел с ума. Хотя он и был сумасшедшим. Он целовал его и шептал: «Посмотри, какая лапа, Снежаночка, ты только посмотри». А котенок даже не сопротивлялся, только мордочку слегка отворачивал. Что случилось дальше... плохо себя помню в тот момент. Только я, как безумная, бросилась спасать котенка. Но я не кричала; до сих пор не могу понять, почему я не кричала. И он, и я говорили исключительно шепотом, как будто боялись, что мог кто-то услышать.

«Папа! Брось его, — задыхаясь, шептала я, ручки мои уже вцепились в котенка, цепко вцепились: — Отпусти его, папа, отпусти!»

А он не отпускал котенка, только шептал мне, тоже задыхаясь от волнения: «Не отпущу!»

Он больше ничего не говорил, только это слово «не отпущу». Не помню, сколько мы так боролись. Я совсем забыла, что есть время. Был только котенок, которого я хотела спасти...

Отец оторвал ему голову... он дернул как-то... хотя сейчас я понимаю, что котенок умер гораздо раньше, когда

мы вырывали его друг у друга... Я не хочу дальше рассказывать, — Снежана зарылась лицом в ковер, висевший на стене, и завывала — тихо, и очень занудно. Так она проплакала минут пять. По крайней мере, Муся успел спокойно выкурить сигарету.

Муся, казалось, старался не обращать внимания на то, о чем говорила Снежана, вслушиваясь, что пели по радио. Словно он не хотел слушать эту историю, но и не слушать не мог. Не мог встать и уйти, хотя рассказ раздражал его, был ему неприятен. И в тоже время ему хотелось, очень хотелось узнать — что дальше.

Выплакавшись, Снежана села спиной к стене, обхватив колени руками, будто и не плакала вовсе, и ровным, обычным голосом продолжала:

— Голову он выбросил далеко в кусты, вырвал из моих рук пушистое тельце, бросил его следом за головой, даже с колен не поднимался. Набрал ворох красных осенних листьев, вытер свои руки, поднялся с колен и повел меня домой. Он даже и не подумал, что и мои руки были в крови. Он заметил это, только придя домой.

Грубо затащил меня в ванную, раздел и голенькую затолкнул под холодный душ. А я даже и не кричала. Мне было холодно, а я даже и не кричала. Я только Богу молилась, чтобы мой отец умер. Тогда-то я и заметила, что глаза у отца стали кошачьими. И я нисколько не удивилась этому. Я тогда уже поняла, что котенок вселился в него, и смотрел на меня не отец, а этот маленький ласковый котенок. Вытерев меня полотенцем, отец вымыл свои руки с мылом, словно я была гадкая и после меня обязательно нужно отмываться. И, уже не глядя на меня, вышел из ванной. Я накинула на себя халатик (у меня был маленький халатик, и мама меня приучила после ванны надевать халатик) и вышла следом. Отец сидел на кухне и пил. Я хотела пройти в свою комнату. Он позвал меня.

А мне не было страшно, я подошла к нему, он усадил меня на стул рядом с собой. Он совсем ничего не говорил, только смотрел на меня глазами маленького котенка, наливал в рюмку водку и пил, и больше ничего, только смотрел и пил. А я думала, что вот сейчас он выпьет еще рюмку и упадет мертвый. Я только этого и хотела. И вдруг отец вскочил, схватил меня, поднял к самому потолку (отец мой был очень высокого роста), заревел, как только может реветь мужчина, громко, страшно и очень мерзко. Глаза его до того наполнились слезами, что я с трудом и зрачки его видела, думаю, и он меня плохо видел из-за слез.

— Ненавижу твою мать, это она мне жизнь испортила. Проклинаю ее. Тебя не проклинаю. Но прокляну потом...

Думаю, он еще что-то хотел сказать, но слезы его задушили. Он посадил меня обратно на стул, аккуратно посадил, а я, кстати, его совсем и не боялась, и не потому, что доверяла ему — нет. Потому что в голове моей была только одна фраза: «Хочу, чтобы ты умер». Повторяя мысленно эту фразу, я ничего не боялась. Я сколько помню, отец всегда ненавидел мою мать. Они поженились очень странно. Мама моя была очень красивой девушкой, хохотушкой, свежей, веселой. Мой отец был ее первым и последним мужчиной. Мама работала тогда страховым агентом. И по работе познакомилась с матерью моего отца, моей бабкой. Бабка занимала какую-то должность большую в Облоно, и мама по работе пришла к ней. Та ее увидела и, буквально через десять минут, сказала: «Ты будешь моей невесткой».

Мама мне все это рассказывала. Бабка была женщина сильная, властная, а мама добрая хохотушка. Через месяц бабка добилась своего, и была свадьба. А отец был пьяный уже на свадьбе. Эту квартиру выхлопотала бабка, у нее тогда были страшные связи. Не знаю, зачем ей нужна была моя

мать. Но только она всегда повторяла, что только с ней у ее сына будет счастье. Отца она пристроила работать в проектный институт главным инженером, а маму — бухгалтером, а потом и главным бухгалтером в Облоно... Отец был слабый, не хотел жениться, но женился, и от этого мать мою люто ненавидел, а свою боялся, и от этого ненависть его с каждым годом все зверинее и зверинее становилась. И пил он почти каждый день. В мать мог даже топор кинуть, а она и сказать ничего не могла, плакала только. За полгода после свадьбы изменилась, смеяться разучилась. А бабка их постоянно мирила. Приходила, хватала сына за волосы и головой о стену его, а он и не сопротивлялся, и делала это при нас, чтобы мы видели, как она его за нас наказывает. Она уходила, а он мать мою за волосы и об стену, при мне, чтобы я видела, что и он так может. А меня ни разу не бил...

Когда он меня посадил на стул возле себя, посмотрел на меня, слезы, не стесняясь, ладонью вытер, водки рюмку выпил. Поцеловал меня и вышел в ванную. Я уже тогда поняла, что он убьет себя. Мама пришла с работы уже вечером. Я смотрела телевизор и, когда мама пришла, я сразу сказала, что папа еще с утра в ванной заперся... соседей позвали, милицию. Отец повесился на крюке для душа, на ремне... у него был тонкий кожаный ремень для брюк, гедзеэровский. Тогда, когда я его увидела висящим в ванной, я и замолчала на десять лет, я знала, что он умрет, но не знала, что это будет *так*. И глаза кошачьи. Меня потом лечили, кололи. Вылечили, конечно. Я теперь совершенно здорова, говорить начала... Потом в Питере в институт поступила. А потом меня посадили в психушку. Меня поймали в Питере с наркотиками, завели дело, обвинили в распространении. Бабка все силы приложила, но единственное, что смогла добиться: чтобы срок в колонии заменили на принудительное лече-

ние от наркомании, мне поменяли статью и отправили в дурку, хотя я была нормальной, а там уж за меня взялись конкретно, гормональными кололи, чем только не кололи, два года кололи... — Снежана замолчала, по радио запела Земфира:

Пожалуйста, не умирай,
видишь, я живу тобою,
Ты, конечно, сразу в рай...

— Как я люблю ее, мою Земфирочку, — прошептала Снежана и вновь зарыдала, уткнувшись лицом в колени, сквозь слезы подвывая песне. Поднявшись с дивана, Муся вышел из комнаты. Снежана, подпевая Земфире, даже не спросила, куда пошел ее Ромашка, словно забыла про него, словно и не было его.

Спать не хотелось, домой идти тоже. На родителей Мусе было наплевать, рассказ утомил его... и в тоже время... «Пускай поволнуются, — промелькнуло у него в голове. — Если вообще будут волноваться».

Стоя в коридоре, Муся колебался не больше мгновения, он свернул в ванную, в кухне горел свет, и окно, соединявшее кухню с ванной, освещало ванную достаточно. Войдя и закрыв за собой дверь на щеколду, Муся сразу же посмотрел туда, где был крюк для душа. Высокий мужчина мог повеситься на нем не иначе, как падая на колени.

Внимательно Муся осматривал этот крюк... и, вдруг вздрогнув, Муся отшатнулся, если бы не рука, которой он зацепился за батарею, он наверняка бы споткнулся и упал, — буквально одну секунду, так, словно это было наяву, а не Мусино воображение, он увидел: на крюке, высунав язык, висел подросток. Язык высунулся весь, мерзкий, синеватый с пупырышками, как коровий — подросток точно дразнил Мусю: «Что, видел? Вот! Так тебе, получи!»

Не зная зачем, Муся пальцем стал тянуться к языку, чтобы коснуться его, потрогать — мягкий ли он. Но только он протянул руку, как подросток исчез.

— Идиот! Это же глюк, — вполголоса, но очень искренне и нервно засмеялся Муся. — Глюк, это же глюк, — повторил он, закатившись в больной, тихой истерике. — Идиот, — повторял он, сев на край ванны. Истерика продолжалась долго. От боли в мышцах живота и лица Муся уже не мог смеяться, но смех не отпускал, силой он сдерживал его, но улыбка помимо воли расплывалась во все лицо, причиняя физическую боль. Открыв щеколду, Муся вывалился из ванной и, держась руками за стены, добрался до спальни и, рухнув на диван, сразу же забылся в глубоком, бесцветном сне.

День второй

I

— Ромашка, просыпайся, солнышко взошло!

Собравшись сладко потянуться со сна, Муся замер.

— Просыпайся, Ромашка, ты же цветок солнца, твои лепестки, как лучики солнечные, и к солнышку тянутся, а солнышко уже взошло.

Это, определенно, говорила Снежана. Какое там сладкое потягивание со сна... Муся явно лежал на Снежанином диване, в Снежаниной комнате, Снежана явно стояла сейчас над ним. Открыв глаза, он увидит ее, а может быть, и ее маму, папу, мужа, да мало ли еще кого можно увидеть. Муся гадать не стал, открыл глаза и откинул с лица одеяло. Яркое солнце освещало комнату и Снежану. Счастливая, она стояла над Мусей, голову ее украшал венок из белых крупных ромашек. Высоко подняв руки, Снежана пальчиками осторожно трогала венок, словно проверяя, не рассыпался ли он, цел ли. Нагое тело ее прикрывала сеть-накидка, сплетенная из черных редких нитей. Нити были местами разорваны, местами истерты до толщины иголки. Размера накидка была небольшого, спадая с плеч, она только чуть-чуть прикрывала бедра, и вся, абсолютно вся, была утыкана сухими цветами. На груди скукожились желтые нарциссы, ниже беспорядочно торчали цветки гладиолусов, ромашек, гвоздик, даже парочку сухих петуний заметил Муся. Словно из самого ее тела лезли цветы и, так

и не сумев пробиться, сдохли, запутавшись в черной истрепанной сети.

— Правда, я красивая? — танцуя бедрами, счастливо улыбаясь, пропела цветущая Снежана. — Я так люблю цветы. Мне никогда и никто не дарил цветы, я сама себе их дарила. И ты, вот, не дарил мне цветы. А я их люблю. Правда, я цветок?

«Клумба», — мысленно ответил Муся.

— И ты цветок, — танцуя бедрами, пела Снежана, — ты — Ромашка. Я сплела этот венок вчера утром, и он материализовался в тебя, появился ты — ты же Ромашка. На голове моей венок из Ромашек, и у ног моих лежит Ромашка. — Снежана танцевала на диване. — И у нас будет ребеночек — маленькая Ромашка, цветочек, выращенный нашей любовью, — не меняя детской интонации, без всяких пауз продолжала она. — И родится он от Снежаны — белой, как снег — снегом стать, белым снегом стать. Я снежинка, белая снежинка, а ты белая Ромашка — снегом стать, снегом стать...

Муся не выдержал. Резко откинув одеяло, он вскочил с дивана, грубо отпихнул это цветочное пугало, счастливо танцующее бедрами; и, нервно озираясь в поисках одежды, высказал все прямым текстом: что он думает о Снежане, о снежинках и о зиме в целом.

— Не бросай меня, я тебя люблю, ты цветок, а я, правда, холодный снег, белый холодный снег, и я таю, таю... Давай займемся любовью, я хочу растаять в твоей любви, я хочу спасти тебя, я изгоню из твоей души котенка.

Снежана буквально вцепилась в Мусю, говорила она рвано, на выдохе, слезы уже вот-вот могли вырваться вместе с воплем.

Оторвав ее от себя, Муся с размаху влепил ей кулаком в лицо. Удар оказался скользящим и не сильным, но действенным.

— Я тебе этого никогда не прощу.. — Снежана села на диван и, по одному выдергивая из себя цветы, бросала их в ноги Мусе, и, обиженным ребенком надув губки, бубнила: — Я тебе этого никогда не прощу.

Быстро одевшись, Муся выскочил в коридор. Слышно было, как он, обувшись, возился с дверью.

— Я убью тебя, — шепнула Снежана, бросив на пол последний цветок, как поставила точку в своем решении.

Муся, наконец, разобрался с замком и, выскочив на площадку, хлопнул за собой дверью.

Поднявшись с дивана, Снежана подошла к магнитофону, вставила кассету и, сделав громкость на всю, задержалась в ритм музыке, с надрывом подпевая своей любимой певице:

«Привет, Ромашки

.....

А я девочка с плеером,
С всером вечером не ходи,
А ты не такой, как все,
И не любишь дискотеки,
Я не буду тебя спасать,
Догонять, обнимать, целовать...

Подскочив к открытому окну, Снежана высунулась на улицу и, бросив вслед уходящему со двора Мусе венок ромашек, завопила в голос с Земфирой:

— Меньше всего нужны мне твои камбеки!!!

Время было около девяти. Чтобы не прогулять второй урок, Муся, не заходя домой, сразу же отправился в школу.

Утром Абрамчик проснулся в самом дурном настроении. Прошедшим вечером в клуб на дискотеку попасть ему так и не удалось. Простившись с Мусей и оставшись один,

Абрамчик вдруг сильно разволновался: чтобы дойти до остановки, требовалось миновать заросший деревьями темный двор, пройти пустую, заброшенную хоккейную коробку и, самое жуткое, пройти через арку, и ладно бы сразу за аркой была бы улица, полная людей и машин, нет, за аркой был еще один двор, и только потом улица, люди и машины. Конечно, еще не так поздно... но уже темно. Это Абрамчика больше всего волновало. Быстренько, держась света от окон домов, Абрамчик дошел до хоккейной коробки. Люди, встречавшиеся Абрамчику, как назло, шли по двое, и все больше это были молодые люди, и черт их знает, что у них на уме. Шею у Абрамчика неприятно стягивало, сердцебиение участилось... хоккейную коробку он пересек уже бегом, осталось пролететь сквозь арку... Перед самым входом в арку Абрамчик замер. В арке, прижавшись к стене, полулежал человек. Как парализованный, Абрамчик смотрел на него. Человек пытался подняться, но сил не хватало, он становился на колено, помогал себе руками и вновь падал.

— Э-э, — хрипло позвал человек, — помощи...

Развернувшись, не разбирая, где земля, где асфальт, Абрамчик рванул обратно. Уже возле подъезда своего дома рухнул, словно раненный тюлень, на лавочку, тяжело дыша, конвульсивно вздрагивая. От быстрого бега кружилась голова и жгло легкие. Посидев с минуту, Абрамчик быстро поднялся, осмотрелся: не видел ли кто его позорного бегства, — но прохожие не смотрели в его сторону, а из подъезда, слава Богу, никто не вышел и никто не вошел. Больше не испытывая судьбу, все еще мучимый жгучей одышкой, Абрамчик поднялся на пятый этаж, трясущимися руками кое-как открыл дверь. Ключ пару раз выскакивал из рук, и в замок вошел только с четвертой попытки. Матери, к счастью, дома не было. Включив свет во всех комнатах, не исключая и кухню с туалетом, Абрамчик громко врубил магнитофон, раздевшись, прыгнул в постель, и, уже засы-

пая, сквозь сон слышал заунывно-задушевный голос Михаила Круга:

Я закрою глаза, я забуду обиды,
Я прошу все, что можно,
И все, что нельзя,
Но другим никогда,
Видит Бог, я не буду,
Если что-то не так
Вы простите меня...

Абрамчик даже прослезился, расчувствованный песней, в дреме подпевал:

Но другим никогда,
Никогда я не буду
Если что-то не так,
Вы простите меня...

Сон не принес ему облегчения. Наскоро приняв душ и позавтракав, Абрамчик выскочил из дома. Ждать три дня он не собирался. Срочно, непременно срочно, надо было рассказать обо всем в школе. Обо всем, значило о том, какое Ваня чмо и урод, а Абрамчик герой и победитель. Чувствовал Абрамчик — не признается он, с ума же сойдет от всего того бардака, случившегося вчера вечером.

В школе Абрамчик появился за двадцать минут до первого урока. Когда прозвенел звонок, о расписке уже знало большинство в девятых классах и отчасти в десятых и одиннадцатых. Расписку никто не видел. Абрамчик уверял, что она у Муси... Вот Муся придет, и тогда — пожалуйста. Текст, услышанный десятки раз, каждый пересказывал по-своему. Многие вообще не знали, кто такой этот Ваня Мамкин, но многие из не знавших всем сердцем жаждали на него посмотреть: на человека, который сделал минет сразу четверым и честно признался в этом в расписке. На такого придурка стоило посмотреть. Факт, что Ваня минетчик, стал для всех неоспоримым; неоспоримым было и то, что

Ваня делал это за деньги, причем за совсем небольшие деньги, можно сказать задаром... Ему это нравилось. Многие из подростков, купленные именно этим, еле высиживали первый урок, чтобы только дожидаться перемены и найти этого Ваню. Цель у каждого была своя: одним не терпелось проучить этот ходячий позор школы, некоторые же таили надежду напрямую воспользоваться Ваниными услугами. Кое-кто уже прикидывал, сколько заплатить; словом, за двадцать минут Ваня Мамкин стал самой известной, самой желанной, во всех смыслах, фигурой в школе.

Первым уроком в классе, где учился Ваня, Абрамчик, Муся и Макс, была алгебра. Предмет вела женщина давно в возрасте, не в меру тучная и очень строгая; ко всему прочему, у нее было больное сердце, слабое зрение, и две недели назад от нее ушел муж. Войдя в класс сразу после звонка, она дико посмотрела на шумно обсуждавших последнюю новость учеников, швырнула на первую от двери парту стопку тетрадей, жутко перепугав двух девочек-хорошисток и, что есть мочи, рывкнула:

— Учитель в классе! Вы, что, скоты, не видите это?!

Класс в секунду затих и замер, каждый у своего места. Схватившись за сердце, математичка, опираясь о парты, дошла до своего стола, с трудом опустилась за него и чуть слышно вымолвила:

— У меня больное сердце... Вы же... Хотя бы грамм уважения, — и, обратившись к одной из перепуганных хорошисток, пролепетала: — Светочка, милая моя, подай мне тетради.

Девочка, еще не отошедшая от испуга, суетливо собрала тетради в стопку и отнесла их на учительский стол.

— Спасибо, родная моя... Я думала, у меня будет инфаркт, когда я проверяла ваши... контрольные, — толстые линзы очков осмотрели класс. — Двенадцать двоек... — после долгой, тяжелой отдышки она продолжи-

ла: — Только одна пятерка. Одна, — и весь класс увидел жирный указательный палец, который математичка демонстративно вытянула вперед. — Где Мамкин? — Этот вроде бы невинный вопрос, заданный учителем, совсем не злобно, а даже, наоборот, с надеждой, произвел на класс эффект, сравнимый лишь с заявлением, что директор школы повесилась в туалете. Шушуканье, смешки и даже несколько присвистов вывели математичку из себя окончательно. — Я что-нибудь не то спросила?! — на стол с диким шлепком опустилась ее жирная ладонь. — Где Мамкин, я спрашиваю?! — белугой взревели учительница. Класс вновь затих.

— Его нет, — испуганно сообщила хорошистка Светочка.

Отдышавшись, подержавшись за сердце, проглотив валидол и уже успокоившись, математичка заявила:

— Единственный человек, который получил «отлично», и он не явился на урок. Что с ним? Заболел?

Здесь уже класс не выдержал, и ничего не смогло бы его теперь уговорить. Истерика оказалась всеохватывающей, хихикали даже девочки-хорошистки.

Выпучив и так огромные, сквозь линзы очков, глазички, отбив ладонь, сорвав голос, математичка, тяжело дыша, откинулась на спинку стула, правой рукой держась за сердце; левая нервно пыталась извлечь из пузырька таблетку валидола.

— Изверги, убийцы, — шептали толстые губы. — Женя, помоги мне, — попросила она мальчика, сидевшего напротив нее. Вскочило сразу несколько учеников. И математичка, опираясь на них, вышла из класса.

— Во, Мамкин! Класс! И сучку эту, математичку, довел! — громко выкрикнул Чича, местный шестерка и шут. Класс зашумел.

— Ну чего, Чича, дашь Ванькэ свою пичужку не подмытую пососать, ха-ха?! — крикнул один из пацанов.

— Да, я его и так, и сяк, и вот так! — задергался Чича и, выпрыгнув к доске, резво стал показывать классу, как он будет Ваню «так и сяк, и вот так».

— Да, ты сам, Чича, пидор, — снова сквозь смех выкрикнул пацан. — Теперь есть тебе с кем опытом делиться, ха-ха!

— Я, активный, — визжал Чича, — а это не в падлу! — И в доказательство подскочил к одной из девочек хорошисток, взыв: — Дай, я тебя в жопу — ух-ху-ху!

— Шо такое, не поэт! — на пороге, в открытой настежь двери стоял невысокий крепыш, учитель физкультуры.

Увидев Михаила Ивановича, а по школьному Гоблина, Чича уже через секунду стоял за своей партой, рассеяно глядя в окно.

Михаил Иванович был молодым и очень ответственным педагогом. Первым делом для него была дисциплина.

— Чича, иди сюда, — поманил он Чичу пальцем, и тот послушно подошел.

— Нагинайся.

Чича нагнулся, и Гоблин отвесил Чиче заслуженный им пинок.

— Можешь идти.

Получив свое, под мелкое хихиканье, Чича вернулся на место.

— Ну, и шо у вас тут за бардак? — уже прохаживаясь по классу, спрашивал Гоблин, держа свои увесистые квадратные ладони за спиной. Класс молчал.

— Где Мамкин? Где эта тварь? — вновь спросил, прохаживаясь между парт, учитель физкультуры. Класс молчал.

Общаться с Гоблином стоило очень осторожно. Любое сказанное слово он мог истолковать по-своему. Даже слово «здравствуйте»: ему могла показаться подозрительной интонация, будто, прикрываясь словом «здравствуйте»,

ученик имел одну цель — оскорбить. Вообще, Михаил Иванович был человеком чересчур мнительным.

— Я еще раз спрашиваю, где эта мразь по фамилии Мамкин?.. Молчите... Ну, хорошо... Прикрываете его?.. Отлично. Друзья, типа, да? Ну-ну... Только что он чуть не довел до инфаркта уважаемого, повторяю, уважаемого учителя — Руслану Семеновну. Сейчас она лежит в учительской с больным сердцем. Ей вызвали врача. Что сделала эта мразь по фамилии Мамкин, я еще не выяснил, но, надеюсь, что выясню... Руслана Семеновна назвала его фамилию, когда ее ввели в учительскую... Журавлев, — обратился он к мальчику Жене с первой парты, — так я говорю?

— Так, — испуганно подтвердил Женья.

— Что она сказала, когда вошла в учительскую?

— Она сказала... что «у нее сердце»... «а там Мамкин»... и еще: «убийцы» — и все.

— Садись.

Испуганный Женья, плюхнулся на стул.

— Ну и где же он? Смылся?

— Мы не знаем.

— А кто знает?

— Я не знаю.

— А где Мамкин? Мамкин-то где? Ваньку кто-нибудь видел? — очнувшись, зашелестел класс.

Попрощавшись с Никанычем, Ваня шел домой с очень противоречивыми чувствами. То, что Никаныч так вдруг и так скоро отправил его домой... и еще, его такая ласковость... Ваня не знал, что и думать. Он был не таким уж слепым, чтобы не отличить отцовскую нежность от... какой-то непонятной, странной... Ваня и слова-то не мог подобрать подходящего. И верить в свое предположение

страшно боялся: «Нет, нет, все это ерунда... Просто он очень добрый и чуткий — только и всего. Ведь бывают же такие люди — ласковые и чуткие. И он именно такой — ласковый и чуткий... и добрый. Вот поэтому он такой... И все...» — от этих мыслей у Вани заболела голова. Как он дошел до дома, он и не помнил, очнулся, когда оказался на четвертом этаже в своем подъезде... Очнувшись, мотнул головой, спустился на свой второй этаж, удивляясь, как он так умудрился этаж свой пропустить, и, уже стараясь не думать ни о чем, открыв дверь, вошел в свою квартиру. Раздевшись, сразу же лег в постель и забылся в тревожном сне. Сон был обрывочный, сумбурный, Ваня не то убегал от кого-то, не то догонял: подушка с одеялом, отброшенные, валялись на полу, дергая руками и ногами Ваня бормотал:

— Не буду... это не я... Все здесь лишние. Уйдите, я вас...

Ваню разбудила Лиза. Испуганная девушка прибежала к своему братику рассказать страшный сон, как ей приснилась корова, которая хотела своим длинным языком лизнуть Лизу. И Лиза так испугалась, что корова не просто лизнет, а слижет с Лизы всю ее нежную кожу, что Лиза проснулась в холодном поту и прибежала к своему Ванечке, чтобы рассказать ему этот страшный сон. Лиза, хотя и была старше своего братика на три года, нередко забегала к нему в спальню, разбуженная то коровой, то еще каким-нибудь страшным сновидением. Сны ей снились каждую ночь; хорошие она рассказывала Ванечке утром, когда он собирался в школу, но если ей снились сны ужасные, она тут же спешила к братику за утешением. И Ваня, бывало, что и целый час утешал перепуганную Лизу. Обнявшись, они сидели на Ваниной кровати, Ваня гладил ее по головке и шептал, что все это ерунда, и корова ерунда, и все остальное — тоже ерунда. Утешившись, Лиза целовала Ванечку и, успокоенная, уходила к себе в комнату.

В эту ночь, может, впервые Ваня не стал утешать Лизу. Сначала он долго делал вид, что не просыпается. Сдав-шись, он все-таки поднялся на кровати и сказал: «Лиза, мне очень плохо, прости меня, я не могу с тобой разго-варивать». Услышав это, Лиза испугалась окончательно и тихо, со всхлипом, зарыдала, упав на колени возле бра-тиковой постели. Скорее всего, это и была последняя капля. Лицо Вани изменилось, бледный, он тупо смот-рел на белую от лунного света, рыдающую, стоя на ко-ленях, сестру, голова его закружилась, и он забылся в обмороке. Наплакавшись вдоволь, Лиза вытерла слезки и, успокоенная, вернулась к себе в комнату досыпать. Лихорадило Ваню всю ночь, лихорадка не отпускала и утром. Как раз перед этой ночью, мать Вани вышла на работу на двое суток, бабка еще поутру ушла куда-то на целый день. Лиза, радостная, забежав утром к Ване, бы-стро рассказала ему, что корова ей больше не снилась, а приснился ей президент Путин, который лично обещал подарить ей цветы и предлагал выйти замуж. Ни коро-ва, ни Путин Ваню нисколько не тронули, он даже не улыбнулся. У него были свои сны, гораздо более страш-ные, чем Путин и корова. Он лежал, слушая Лизу, а пе-ред глазами его рисовалось ласковое лицо Никаныча, и никак он не мог прогнать его. Выговорившись, Лиза так же внезапно убежала. Уже в семь тридцать начинался ее любимый сериал.

Нужно было собираться в школу, и мысль эта была, пожалуй, самая страшная. Все бы отдал Ваня, чтобы не было вчерашнего дня... не было бы расписки... И, только подумав о ней, он зарыл голову в подушку, накрылся одея-лом и, чуть не плача, впился зубами в свою руку, от боли полегчало, но не надолго. Скорчившись червяком, Ваня забился в самый угол кровати и, мучимый мыслями, ощу-тил такую невыносимую режущую боль, что вновь забыл-ся в обмороке.

— Ну, хорошо, Мамкин появится, пусть зайдет ко мне. А сейчас, если хоть один... вякнет, будет иметь дело со мной, — и Гоблин, широко расправив плечи, вышел из класса.

Только Гоблин ступил за порог класса и дверь за ним закрылась, Чича поднялся из-за парты и, скривив губы, заявил:

— Уроды... уроды, они такие же, как Гоблин, только страшнее.

И тут же голосов десять, громче всех Чичин, резво, пионерской речевкой, ответили, чеканя каждое слово:

Нас пугать смысла нет,
Мы приколемся в ответ!

Класс готов был уже заржать, как дверь распахнулась. Гоблин точно ждал этой Чичиной выходки. Не дожидаясь приглашения, Чича покорно подошел к Михаилу Ивановичу, повернулся к нему задом и нагнулся. Гоблин крепко схватил Чичу за ухо и, как шелудивого котенка притянув его к себе, с ласковой издевкой произнес:

— Пойдем-ка к Марине Ивановне; над ней «приколешься».

Чича искренне испугался:

— Михаил Иванович, все, все, клянусь — больше ни слова.

Гоблин отпустил его и уверенно вышел вон.

Под злорадное хихиканье Чича, почти на цыпочках, добежал до своей парты и уже оттуда выдавил из себя чуть слышно:

— Ай-л би бэк.

Разрядившись, класс потихоньку успокоился. Ситуация с Чичей была обычной «рекламной паузой» — она отвлекла, закончилась, и о ней забыли, все внимание переключив на главную тему дня: история с Ваней Мамкиным и распиской.

Личность Мамкина вдруг, ни с того ни с сего, стала для большинства до ужаса загадочной; да, к тому же, еще и эта странная расписка.

В то, что именно Мамкин чуть не довел математичку до инфаркта, в это поверил почти весь класс. И чуть ли не у всех было ощущение, что он действительно, вот только что, был в классе, чуть не угробил математичку и, странным образом, испарился. Некоторые оглядывались, а вдруг он все-таки здесь, только спрятался. Но место, где обычно сидел Мамкин, было пусто, и под партой его тоже не было, хотя несколько учеников и заглянули туда, для уверенности. Мамкин в классе не присутствовал.

Математичка лежала в учительской на диване и ждала доктора. Заменить ее было нечем, в класс забежал лишь на минутку маленький, пришибленный (еще один математик) Лев Николаевич. Дал задание из учебника и исчез, сказав:

— Ну, ребятки, вы тут не шумите. Руслана Семеновна, того, с сердцем, заболела. Вы уж потише. А перед звонком я приду, проверю.

Озадаченный случившимся, класс совсем и не шумел, некоторые даже решали задачу, кто-то, улучив свободную минутку, занялся собой; пара умников достали книжки почитать... Большинство же тихо, как на секретном задании, разбившись на кучки, обсуждало главную новость — Ваня Мамкин и расписка. Все-таки, если по-честному, Абрамчику не очень верили. К тому же, ни Муси, ни Макса в школе пока не было, что тоже было странно. Мало ли что Абрамчик взболтнет. Они давно с Ваней в контрах. То, что Ваня деньги мог Абрамчику проиграть, это возможно. Но так, чтобы Ваня... у Абрамчика — это уж слишком. В это особо не верилось. Ну, мог, конечно, Ваня написать какую-нибудь расписку, что он, типа, проиграл деньги и отдаст тогда-то. Конечно, он мог и другое написать, но это же только предположение. Вот если бы расписку посмот-

реть. Но расписка, как уверял Абрамчик, была у Муси, а Муси в школе не было. Не было и Макса.

Макс не явился на первый урок по самой обычной причине — не захотел. Он плюнул на школу уже в классе пятом. В это утро он выбрал футбол. Разгоряченный после игры, на второй урок — биологию — он решил сходить обязательно. Во-первых, ему было крайне любопытно после всего увидеть Ваню на уроке у Никаныча. Ко всему вчерашнему он отнесся серьезно. Рассказывать об этом он никому, включая брата, не стал. Слишком показалось ему все это нереальным. Да, убить — это хорошо, деньги — еще лучше. Но как? Пожалуй, только Макс думал конкретно о том, как будет Ваня резать Никаныча. А если не решится, что тогда делать с Ваней — не убивать же тогда его. Денег он не отдаст, даже по частям, взять с него нечего... Да, это была проблема, над которой стоило задуматься. Но все равно советоваться по этому поводу Макс не стал даже с братом. Такие вещи надо было решать самому. А вот как? Как заставить Ваню, и заставить аккуратно, чтобы на него, на Макса, никто и не подумал...

II

Макс уже перешел дорогу, когда увидел Мусю, выходящего из автобуса.

— Привет, — крикнул он ему.

Встретившись, они пожали друг другу руки.

— Ну, чего, в школе не был еще? — спросил Макс.

— Нет, я проспал, — коротко ответил Муся.

— До биологии еще двадцать минут, пойдем, поболтаем.

— Пойдем.

Зайдя во двор, недалеко от школы, они сели на лавочку возле подъезда пятиэтажной хрущевки.

— Ну, че, Мусь, дело-то серьезное, надо обсудить, — начал Макс. О чем говорить он знал, а вот как говорить. Очень он надеялся на Мусю и был рад, что первого встретил его.

— Надо обсудить, — эхом повторил Муся.

— Ты что думаешь?

— Пока еще не знаю. Боюсь, Абрамчик, если он в школе, лишнего сболтнул.

— Этот может.

— В том-то и дело, что может... Пока говорить об этом рано. На Ваню надо посмотреть... Задавить его легко... и опустить легко... А вот заставить его главное сделать... этого я еще не знаю, как.

— Вот и я-то не знаю, — досадуя, произнес Макс. — Чего Ванек-то, он-то так, чего с него взять... А вот как сделать, чтобы он Никаныча... Может, Ване печень отшибить, чтобы мысль у него работала, а?

— Печень, это можно, — согласился Муся, — но времена сейчас не те. Он возьмет и в ментовку заявит.

— Не заявит, — уверил Макс, я таких людей знаю, такие в ментовку не пойдут. Пацана в ментуру заложить — это серьезно, ему тогда в этом районе не жить. Его тогда ночью где-нибудь пришибут. Так что, в ментовку не пойдет.

— Как раз он-то и пойдет, — задумчиво произнес Муся. — Здесь слова нужны. Печень отшибить — это страх, и только, а от страха можно не только в ментовку... от страха Ваня может и к директору пойти. Тебе это надо? — Макс промолчал. — А, даже если не пойдет ни к кому, — продолжал Муся, — мамке своей расскажет... Он же Мамкин, — Муся усмехнулся, — а мать, она такая, она не побоится, что ей печень отобьют, она тебя засадит в два счета...

— Ну... здесь, да, — неуверенно согласился Макс.

— Здесь, Макс, слова нужны. Особые слова. Такие слова, чтобы Ваня сам захотел Никаныча убить... Ну, расска-

жем мы сейчас в школе про игру и про расписку, и что? Ну, пошумит школа, ну, зачмырят Ваню, может от этого он в другую школу перейдет, кто знает, а если зачмырят, обязательно перейдет. Но это еще ладно. А если про это узнает Никаныч, директриса... Тут уже не Ваню будут чмырить, а нас... И по полной программе, и тогда мы уже будем у Вани прощения просить... Или нам придется самим в другую школу переводиться. Так что, про расписку молчать надо. И подходить к этому делу только через Ваню, его надо обрабатывать — один на один, без свидетелей. Убедить его, что Никаныча убить действительно стоит, а расписку наготове держать, она в этом деле будет очень хорошая помощница. Это, как про плохого и хорошего полицейского: один пальцы гнет, другой по головке гладит. Сейчас в школу придем, надо Абрамчика предупредить, чтобы он молчал. А нам следует с Ваней поговорить, ты наезжать на него будешь... ну, и я что-нибудь скажу. Но главное — все равно расписка... И главное, чтобы о ней, кроме Вани и нас, никто не знал, тогда она будет хорошей помощницей...

— Лады, — согласился Макс, — ну что, тогда пойдем. — Поднявшись, они уверенно зашагали к школе. Только прозвенел звонок с урока, как Макс и Муся вошли в школу.

— Пацаны! — Макс и Муся обернулись, — Привет, — к ним подбежал рыжеволосый пацан из параллельного класса.

— Здорово, Борис, — поздоровались они с ним.

— Ну? Че там у вас случилось вчера, тут вся школа гудит, — Борис от нетерпения почесал щеку, — Ромик, че там Ванек написал, дай глянуть, а то все говорят, что он у вас... того... это... ну, ты понял...

Муся понял. Взглянув на Макса, он обратился к Борису:

— Ну, и о чем же гудит школа?

— Ром, не кобенься, дай расписку-то глянуть, — Бориса аж трясло от нетерпения.

В холл первого этажа влетела уже целая толпа разновозрастных учеников. Бóльшая половина резво выскочила на улицу. Возле Макса и Муси собралась кампания девятиклассников, человек десять.

— Ромик, показывай, че ты ломаешься, — нетерпеливо требовали пацаны.

— Так я не понял, ты че орешь, — рывкнул Макс на одного из пацанов. — Че ты слышал, а?

— Да все знают, чего ты, Макс?..

— Кто, все знают? Чего ты знаешь? Че те надо?! — Пацан стушевался, затерялся за спинами одноклассников.

— Макс, не гони, — вступился другой подросток. — На самом деле все знают. И ты зря на Толяна наехал. Чего он тебе такого сказал? Я то же самое могу сказать: есть расписка, Ванек Мамкин написал, и написал, что отсосал и у тебя, и у других...

Макс не выдержал, схватил пацана за шиворот рубашки и шикнул ему в лицо:

— За базаром следишь? Ты знаешь, что только пидоры друг у друга отсасывают? Ты хочешь сказать, что я... да? Ты это хочешь сказать?

— Ты чего, Макс, не гони...

— Чёго не гони... ты это хотел сказать, да?

— Макс, перестань, я ничего не хотел сказать...

— А ничего не хотел, так молчи... и за базаром следи, понял?!

— Понял, — уже без гонора вымолвил подросток.

— Кто вам это сказал, Абрамчик? — Макс окинул пацанов звереющим взглядом.

— Абрамчик, — согласились несколько пацанов.

— Где он?

— Да, там... — замялись пацаны... — вон он, — вдруг выкрикнул один из них.

Абрамчик быстро спускался по лестнице.

— О, Макс, — приветливо махнул он рукой. Подбежав, Абрамчик пожал Мусе руку, затем Максу. — Мусь, тут пацаны расписку хотят посмотреть.

— Какую расписку? — улыбнулся Муся.

— Ты чего, Мусь, я не понял. — Абрамчик слегка ошалело посмотрел на Мусю. — Ты потерял ее?

— Угу, — согласился Муся.

— Ты... блин! Как ты мог? Я так и знал...

— На урок пора, — произнес спокойно Муся и, кивнув Максу, вышел из круга. Макс последовал за ним. Вдруг он остановился, повернулся к заторопившемуся за ними Абрамчику: — Пойдем, поговорим.

Ничего не понявший Абрамчик последовал за Максом.

Многие подростки также пошли следом, некоторые же, зло ухмыльнувшись, дескать, все с вами, парни, ясно, вышли на улицу.

Второе опасение Муси подтвердилось как раз на лестнице.

На площадке, широко разведя руки, как старый добрый приятель, стоял Никаныч.

— Друзья мои любезные, вы не представляете, как я рад вас *теперь* видеть... Ну, что же вы, смелее, смелее поднимайтесь, — манил он застывших в нерешительности подростков, — Ну, что же вы... Вот встреча, вот встреча... поднимайтесь, поднимайтесь, — подталкивал он их уже в спины.

Нехотя, подгоняемые разливавшимся в любезностях Никанычем, подростки шагали по коридору второго этажа. В том, куда их гнал разлюбезный Никаныч, сомнений не было ни у кого. И приторная его ласковость подтверждала это лучше любых слов и окриков. Именно она заставляла подростков шагать все медленнее и медленнее. Макс, после каждого прикосновения Никаныча, передергивал плечами, останавливался, но, понимая, куда его ведут, в бессильной злобе стискивал зубы и продолжал тихо отсчи-

тивать шаги по школьному коридору. Абрамчик стал еще меньше ростом, и уши его до того покраснелись, что встречавшиеся девчонки из младших классов хихикали, глядя на его уши, шушукались, а одна даже пальцем на Абрамчика показала. Столь унижительное и демонстративное конвоирование довело Макса до отупения, сквозь счет шагов, мысленно, Макс клял все и всех, и мстить Никану решив решил скоро и жестоко.

— Ну, что ж, друзья мои, — обогнав их, Никаныч сам открыл перед ними дверь приемной директора и, с улыбочкой швейцара, вошел последним (и даже сейчас... нет, нет, нет — *тем более сейчас*, Никаныч никак не мог обойтись без лицедейства; что-то откровенно злое и мстительное сквозило в этом лицедействе).

— Марина Ивановна у себя? — больше для проформы, спросил Никаныч у молоденькой секретарши Светочки.

— У себя, — не отрываясь от компьютера, подтвердила Светочка.

— Вот и замечательно. Юдин и Абрамов сядьте здесь, — Никаныч указал на стоявшие вдоль стены стулья. — Ну, а вас... Быков... я приглашаю пройти в кабинет к Марине Ивановне.

Пропуская вперед Макса и уходя следом, Никаныч обернулся и бросил сидящим:

— Ждите. Будет и ваша очередь.

Не обращая внимания на подростков, Светочка продолжала что-то отстукивать на клавиатуре компьютера; что творилось в кабинете директора, из-за двух дверей не было слышно. Только Никаныч закрыл за собой дверь, Абрамчик схватил Мусю за руку и сбивчиво зашептал:

— Делать то что теперь будем?!.. Ваня стуканул, гад... делать то что?!..

Муся спокойно высвободил руку, внимательно посмотрел на покрасневшее, испуганное лицо Абрамчика: его хомячьи щеки, оттопыренные уши, горящие запуганные

глазенки... и вдруг, больно схватив его за ухо и притянув к себе, произнес:

— Знаешь, почему хомячков не любят? На крыс похожи. Только глупее.

Ошалевший Абрамчик даже не дернулся, только сморщился и от боли и страха совсем стал багровым. Отпустив его ухо, Муся закинул ногу на ногу, обхватив колено ладонями, и, больше не произнося ни слова, отвернулся к окну. На подоконнике стоял небольшой приемник и чуть слышно пел; из-за помех Муся разобрал лишь только слова припева: «И мое се-ердце остановилось, мое сердце за-мер-ла...»

— Ром, ты чего... — очнувшись, выдохнул Абрамчик. — Ты чего хватаешься?

Муся молчал.

— Ты думаешь, это я! Да? Ты думаешь, что это я? Ром, это не я, это Ваня.

Сам факт, что его, Абрамчика, схватил за ухо Муся, друг, старый добрый друг, который и слова никогда грубого не скажет, не говоря уже про хватания за уши, для Абрамчика был ударом... Муся! Муся!! схватил его за ухо. Потерянный Абрамчик искал Мусины глаза, чтобы только посмотреть в них, только услышать — за что? За что его так? Что он сделал? В чем он виноват? Ни о какой обиде и не думал сейчас Абрамчик, он только хотел понять — за что?

— Рома, за что? Что случилось? — вновь Абрамчик схватил Мусю за руку, шепот его теперь был плаксив и беспомощен.

Брезгливо вырвав руку, Муся даже не обернулся. Вслушиваясь в песню, он пытался разобрать остальные слова, но единственное, что он разбирал, это припев: «И мое се-ердце остановилось, мое сердце за-мер-ла...»

До исступления дошел Абрамчик, мысли его до того запутались, что спроси его сейчас, где он живет, не ответил бы, и адреса не вспомнил. Только и крутилось в голове

его — за что? Что я сделал? Не виноват я. Но, чем больше думал он об этом, тем сильнее чувствовал себя виноватым.

— Рома, я денег вам дам, я проституток вам дам; в клуб сходим — шептал он чуть ли не в самое ухо Муси.

Тряхнув головой, Муся мизинцем почесал себе ухо и обратился к секретарше Светочке, которая упорно выстукивала какой-то текст на компьютере, и всем видом показывала, что она ничего не слышит и не видит, и что здесь творится ее совсем не волнует, и совсем ей все это не интересно.

— Светочка.

Светочка только в прошлом году закончила эту же школу и к фамильярности некоторых учеников относилась вполне лояльно.

— Да, Рома, что тебе?

— Светочка, сделай, пожалуйста, радио погромче...

— Ты что, Рома, через две минуты звонок на урок... Что вы там такого натворили, — не сдержавшись, осмелилась поинтересоваться она, — Марина Ивановна просто озверела. Никаныч ваш что-то ей там наплел. У нее глазища по полтиннику. Я такой зверюгой ее не помню.

— Да так... повеселились, — неопределенно ответил Муся и спросил в свою очередь: — Светочка, а чья это песня? Кто поет ее?

— Какая песня?

— Ну, эта — по радио, про сердце.

Светочка не успела ответить. Дверь кабинета директора открылась. Войдя в приемную, Никаныч хитро глянул на подростков.

— Абрамов, ты — к Марине Ивановне... Роман, а ты — на урок; а на перемене к Марине Ивановне... Кстати, где Мамкин, ты не знаешь? — обратился он к Мусе.

— Нет, Николай Иванович, я его сегодня не видел.

— Ну, хорошо, об этом потом. Абрамов иди. Иди, ждут тебя уже там.

Вяло поднявшись, точно от тяжелого сна, Абрамчик вошел в кабинет директора. Закрыв за ним дверь, Никаныч посмотрел на Мусю и с улыбочкой произнес:

— Ну, что, Юдин, пойдем на урок... Марина Ивановна желает поговорить с тобой отдельно.

III

Никаныч и Муся шли по коридору молча, Никаныч лишь здоровался с встречавшимися ему учениками. Ни слова Никаныч не проронил, пока они вместе шли до класса, даже взглядом не удостоил Мусю. Можно было бы углядеть в этом недобрый знак, но это-то Мусю как раз меньше всего беспокоило. Другое его волновало. Игра закончилась. История закончилась. Наверняка Абрамчик с Максом выползут от директора шелковые и податливые... И еще у Никаныча извинения при всем классе попросят, и у Вани попросят, и сам Муся попросит. «Попрошу, с меня не убудет, глупости все это, баловство. Главное-то не свершилось... да и вряд ли теперь свершится. Ах, Абрамчик, Абрамчик, такую игру запороть. А ведь какая должна была получиться игра, какая игра». Про Ваню у Муси мыслей не было. Да и как мог донести Ваня, когда в школе он не появлялся... не на улице же он Никаныча встретил... «Да, Ваня, Ваня, — вдруг Муся улыбнулся, — Ваня, а ведь еще не все. В школе-то тебя нет, а раз нет, то игра еще не закончена. Ты еще не знаешь о том, что здесь такая катавасия; ты, наверняка, сейчас дома, больной лежишь, впечатлительный ты наш, мальчик-одуванчик. Так что, Ваня, шансы есть, и расписка целая, а раз так, тогда: show must go on; а в школе, наверняка, ты и в ближайшую неделю не появишься... Да и как тебе появиться, когда такое про тебя говорят... Хотя, откуда тебе и знать про все это... Ладно, не будем гадать на ромашке... — Мусю передернуло. Неволь-

но выскочившее слово заставило вспомнить прошедшую ночь... — Забыли. — Мысленно отрезал Муся. — Доживем до пятого урока, а там видно будет... И что с Абрамчиком делать, тоже видно будет. И уверен, что Макс тебе, Дима, унижение у Едрены-Матрены не простит, а раз так, то вот она, новая игра — наклеывается. Здесь тебе, Дима, уже не придется между козлом и дураком выбирать; в обе игры ты успел сыграть, и в обе проиграл: и козлом ты оказался, и дураком конченным, и есть все шансы и хомячком тебе стать, которого никто не любит...» — обо всем этом Муся думал, уже сидя за своей партой, внимательно, с обычным видом наблюдая за распинаящимся возле доски Никанычем... Вдруг Муся не сдержался: — А, ха-ха-ха! А, ха-ха! — Только сейчас он обратил внимание на висевшие на доске плакаты и голос Никаныча, манерно излагающий:

— Дигибридное скрещивание можно рассмотреть на примере животных. На рисунке №1 изображена схема дигибридного скрещивания двух пород хомячков — черных гладких с белыми мохнатыми. В данном случае черная окраска доминирует над белой, мохнатая шерсть — над гладкой. Из рисунка без дальнейших объяснений ясен ход расщепления...

Класс замер.

— Юдин, это что еще за номер, я разве сказал что-нибудь смешное?

— Простите меня, Николай Иванович, — борясь со смехом, выдавил Муся. — Нашло что-то.

— Думаю, что все то, что нашло на тебя на моем уроке, как снег весной сойдет в кабинете Марины Ивановны, — саркастически заявил Никаныч и, призвав уже успевший достаточно оживиться класс к порядку, продолжил объяснение второго закона Менделя.

Странно, но на этом уроке Никаныч вел себя как-то не так — не как всегда: он был на редкость строг и сдержан. Манерность его, правда, не исчезла, но шалости, которые

он неизменно позволял себе на каждом своем уроке, на этом уроке не случилось ни разу. Ни одного лишнего слова, не касающегося урока, не проронил всегда словоохотливый учитель биологии; к порядку если и призывал, то без всяких своих штучек-дрючек, а исключительно словом, да и излюбленные им словечки в течение всех сорока пяти минут ни разу не выскочили из его рта. Многие в классе заметили это, и многим это показалось странным... Но большой странности в этом не было.

...Придя утром в школу и зайдя в свой кабинет, Никаныч первым делом подошел к своему шкафу, чтобы, по обыкновению, сменить носки и туфли, и каково же было его удивление, когда шкафчик он нашел открытым, туфли и носки отсутствовали, зато вместо них валялись грязные, наверняка с помойки, ботинки, и записка вызывающего содержания, написанная грубыми печатными буквами: «Тот, кто вкус пичужки знает, Коле дружбу предлагает».

Удивление Никаныча сменилось бешенством. Мало того, что у него украли туфли и подкинули какую-то помойную мерзость, ему еще и «записочку» подложили с откровенным и наглым намеком. Записка, собственно, и взбесила Никаныча. И все это после разговора с Ваней и рассказанных им страшилок про карты, деньги и покушения на его, Николая Ивановича, жизнь. Так что первое, на кого подумал Никаныч, были, конечно, Быков, Абрамов и Юдин (после Ваниного рассказа Никаныч изменил свое личное мнение насчет Юдина Романа). И разговор, который Никаныч собирался провести с Мариной Ивановной, подкрепился еще одними неопровержимыми и ясными уликами. Спрятав записку в карман (к ботинкам Никаныч, само собой, и пальцем не прикоснулся) и подавив в себе желание выругаться во всю глотку отборными матюгами, Никаныч взял себя в руки и, полный благородного гнева, уверенно направился в кабинет директора.

Первого урока у Никаныча не было. Пришел же он так рано исключительно для разговора с Мариной Ивановной. Случай с пропажей еще больше утвердил его в желании проучить «дрянных мальчишек».

Никаныч проработал под руководством Марины Ивановны уже без малого пять лет и вполне изучил ее характер и привычки. Так что, как войти, как начать разговор и как себя вести во время этого разговора, он прекрасно знал. Марина Ивановна, чуть ли ни одна из первых приходила в школу; и сейчас, шагая по коридору, Никаныч несколько не сомневался, что застанет директора на месте. Так оно и получилось

Секретарша Светочка также уже сидела за своим столом. Спросив у нее — исключительно для формы — у себя ли Марина Ивановна, негромко постучал в дверь кабинета, и, открыв ее, в полупоклоне, с подобающим выражением лица, вошел в кабинет директора.

Кабинет был, пожалуй, самым обычным кабинетом, какой только и мог быть у директора средней школы. Довольно просторный, со столами выставленными по центру буквой «Т», где за большим главным столом и сидела Марина Ивановна, уже с утра разбиравшая бумаги, выпившая несколько кружек кофе и выкурившая четверть пачки сигарет.

Марина Ивановна была во всем непреклонна, а что касалось ее маленьких слабостей, так особенно. Еще пару лет назад врачи категорически запретили ей курить, ссылаясь, что у нее больные ноги и очень серьезные проблемы с сосудами, на что Марина Ивановна коротко отрезала: «Хоть ноги режьте, а курить не брошу». Весь внешний вид ее говорил о строгости: коротко стриженные волосы, глаза, никогда не смеющиеся, и уже заметные постоянные мешки под глазами, какие могут быть у людей, много работающих и мало заботящихся о своем здоровье. Одевалась Марина Ивановна всегда одинаково и неброско: серый кос-

тjum, серая длинная юбка, белая блuза, и никакой, даже самой скромной, цепочки или брошки, даже сережки Марина Ивановна не носила.

— Здравствуйте, Марина Ивановна, — ласково и с достоинством поздоровался вошедший Никаныч.

— Здравствуй, Коля, — не отнимая головы от бумаг, ответила Марина Ивановна. — Садись, — также не глядя, указала она на стул.

Сев, Никаныч молча ждал приглашения к разговору. Так уж сложилось, что в общении с Мариной Ивановной Никаныч вел себя с неким подобострастием и слишком уж утонченной вежливостью, хотя утонченно-вежливым он был со всеми своими коллегами, но с Мариной Ивановной особенно... к слову надо заметить, что и все коллеги Никаныча были утонченно-вежливы с Мариной Ивановной, а если точнее, то *уменьшительно-вежливыми*. Один ее вид заставлял быть перед ней уменьшительно-вежливым.

Коллектив школы состоял преимущественно из женщин, мужчин работало всего пятеро: учитель физкультуры, которого дети окрестили Гоблином; тихий учитель математики, Лев Николаевич; два учителя труда; и сам Никаныч. Близко Никаныч общался исключительно с женской половиной, с коллегами-мужчинами — в основном, на уровне «здравствуйте, до свидания». По правде, и сами мужчины не очень-то искали его общества; странная манера поведения учителя биологии настораживала мужчин не меньше, чем учеников. Подобно детям, мужчины про себя кое-что подозревали. В те редкие случаи, когда им в тесной мужской компании приходилось общаться со своим коллегой, его манеры и речи совсем им не нравились. «Приторный он какой-то, и не поймешь, голубой он или правда такой по натуре», — говорили они промеж себя.

А вот женщины, напротив, относились к Коле с пониманием. Для них Коля был «загадкой». Это и простительно женщинам, они не могут обойтись без загадок; они ищут

их во всем, и даже там, где их нет, обязательно хотят видеть какую-нибудь загадку. Мягкий, с манерами, весельчак, просто *душка*, а не учитель биологии. Про особенную склонность Коли у них и мысли не возникало. В Колиной мягкости, его особых манерах женщины видели тонкую интеллектуальную натуру и... непорочность. Да, да, для большинства Коля был непорочным, не знающим плотского греха молодым человеком. Как приятно было видеть рядом с собой милого, веселого молодого мужчину, дожившего до тридцати лет порядочным, деликатнейшим человеком, не ищущего коротких несерьезных связей, а желающего встретить ту, одну-единственную, с которой будет и первый поцелуй, и вечная настоящая любовь... Хотя Коля ничего подобного не говорил, но женщинам очень этого хотелось; а раз им этого очень хотелось, значит, так оно и должно быть. И не иначе. Общаясь с Колей, они порой забывали, что с ними мужчина, так он удачно вписывался в их «бабские» разговоры и сплетни. Нередко женщины, шутя, интересовались: «Коля, а ты с девушками целовался?» — На что Коля скромно отмалчивался, а чаще отхихикивался и отшучивался. Чем еще больше утверждал женщин в своей непорочности. Они, если можно так сказать, по-своему даже любили Колю (молоденькая учительница ИЗО, та вообще была в него, что называется, по уши влюблена) и оберегали Колю — всячески ограждали от «несправедливо подозрительных» мужчин. И каждая считала своим долгом повлиять, в самом хорошем смысле этого слова, на судьбу любимого ими Коленьки. Скольких самых наимилейших, наипорядочных девушек познакомили с Колей! И почти всех он очаровал, и ко всем остался равнодушен — к огромной радости учительницы ИЗО. Марина Ивановна никоим образом не участвовала в этом сватовстве. Мужчина, по ее непреклонному мнению, сам должен строить свою судьбу. Но и ей было приятно видеть в своем подчинении порядочного молодого человека, пусть и не-

много странного... но ведь не все же мужчины должны быть кобелями и бабниками.

...Оторвавшись, наконец, от бумаг, Марина Ивановна закурила очередную сигарету и взглядом пригласила Никаныча к разговору.

Тяжело вздохнув и придав лицу скорбное выражение, Никаныч произнес:

— Марина Ивановна, я даже теряюсь, с чего начать. Честно вам признаюсь, с подобным ужасом я столкнулся впервые.

Марина Ивановна совсем оторвалась от бумаг и вопросительно посмотрела на Никаныча.

— Отложу предисловие и скажу главное. Марина Ивановна, в нашей школе ЧП. Пострадал один наш ученик и, что по сегодняшнему не удивительно, могу пострадать и я... Трое наших девятиклассников заставили силой играть своего одноклассника... на деньги. С одной лишь целью: чтобы он им проиграл. И он проиграл им. И после этого, страшно сказать, они потребовали с него расписку, расписку ужасного содержания, расписку, в которой он написал — написал под страхом расправы, — что, если он не отдаст им деньги, то ему придется отдать им... самого себя. Мало того, что они избили его... они его сексуально домогались. И мало того, поставили его перед выбором: или он вернет им деньги — а это тысяча долларов! — или они его изнасилуют, или... он должен будет убить меня. Последнее меня поразило больше всего. Как вы догадались, здесь не обошлось без Быкова Максима из моего 9 «А»... Марина Ивановна, если честно, мне страшно. Времена пошли сегодня такие, что профессия учителя стала просто опасной. Мне угрожают, меня проигрывают в карты, моего ученика его же одноклассники принуждают к сексуальной связи и подбивают к убийству своего учителя. Первое, что пришло мне на ум — это обратиться в милицию. Но, Марина Ивановна, я боюсь за нашу школу. Какая репутация появится

у нашей школы, когда все это всплывет? Марина Ивановна, ваше вмешательство просто необходимо.

Никаныч замолчал. С безграничной надеждой смотрел он в лицо своего директора, губы его вздрагивали, а тонкие пальцы не могли найти себе места, ощупывая и потрагивая все, что попадалось им.

— Кто еще?

— Абрамов и Юдин, — поспешил ответить Никаныч.

— Юдин? — крайне удивилась Марина Ивановна.

— Юдин, — обречено подтвердил Никаныч, — Вы не поверите, Марина Ивановна, я сам, когда услышал эту фамилию, был удивлен. Но потом, все взвесив, понял: Юдин в этой компании и есть самый опасный человек. Всегда вот такие, как он, умные и внешне положительные ученики, являются лидерами всех этих хулиганских, а впоследствии криминальных группировок. И, если честно, я рад, что он себя вот таким вот образом обнаружил. Быков, что — одна фамилия говорит сама за себя. Абрамов, если не оставался на второй год, то благодаря просьбам и слезам своей матери. А вот Юдин... он и придумал эту игру. И, как мне стало известно, играют они в карты уже не первый год, и играют на деньги. И, что крайне меня поразило, это то, что они склоняют своего одноклассника к сексуальной связи и... убийству, — последнее Никаныч произнес чуть ли не шепотом. — Понимаете: к убийству.

Медленно и жестко растерев в пепельнице только прикуренную сигарету, Марина Ивановна взяла в руки телефонную трубку, подержала ее с полминуты, положила обратно на рычаг и, процедив сквозь зубы: «Сучье племя», — с силой хлопнула ладонью по столу. Закурив новую сигарету, она пристально взглянула на Никаныча и, заставив себя успокоиться, произнесла:

— Коля, немедленно ко мне всю эту «святую троицу». Немедленно. — И, остановив Никаныча уже в дверях,

спросила: — А с кем они все это проделали? Кто постра-
давший?

— Мамкин Иван...

— И его ко мне.

— Если, конечно, он появится... Да, еще, — в дверях
вспомнил Никаныч, — меня обворовали и... даже не ре-
шаюсь вам показать... Вот, посмотрите какую записку мне
подбросили.

Вернувшись, он положил на стол найденную утром за-
писку.

— Не сомневаюсь, что кража и эта записка — дело рук
этой же троицы. Они давно уже издеваются надо мной в
таком духе. И Ваню они подбивали убить меня именно по
этой же причине, дескать, он такой вот, и ты его убей....
И тебе за это ничего не будет...

Прочитав записку и выслушав предположение Ника-
ныча, Марина Ивановна окончательно озверела:

— Коля. Немедленно их ко мне! — Рывкнула она так,
что секретарша Светочка вздрогнула — так громко был
директорский рев.

IV

Первый урок как раз подходил к концу, когда Никаныч
покинул кабинет Марины Ивановны. Вторым уроком у него
была биология. Бегать, искать самому эту троицу Никаныч
посчитал лишним. В конце концов, он может позволить себе
оставить класс минут на десять, пока будет сопровождать
этих троих до Марины Ивановны. Поэтому оставшиеся
пять-семь минут до перемены Никаныч решил провести в
учительской; к тому же, ему хотелось пожаловаться о своей
пропаже, да и чашечку кофе не мешало бы выпить.

В учительской и до прихода Никаныча было не спокойно,
а как только он там появился, так совсем все заволновалось.

На диване, большим морским слоном, лежала Руслана Семеновна, рядом, примостившись на самом краешке дивана, сидела школьная докторша; только что она закончила измерять Руслане Семеновне давление. У окна, взволнованная, и от этого еще более хорошенькая, стояла учительница ИЗО, Зиночка, она первая увидела появившегося в дверях Никаныча.

— Коленька, посмотрите, что твои с Русланой Семеновной сделали, — воскликнула она, красиво всплеснув ручкой в сторону лежавшей на диване Русланы Семеновны.

— Ничего страшного, девочки, нет, — обнадежила школьная докторша, — Руслана Семеновна переволновалась, но я ей дала пустырничка... Руслана Семеновна, вам правда же лучше?

— Да, спасибо тебе, Лариса, — промямлила Руслана Семеновна, все еще безжизненно лежа на диване.

Никаныч уже сидел за столом, когда Зиночка подошла к нему и, сев напротив, жалобно воскликнула (к слову Зиночка была девушка молодая, горячая, и редко, когда говорила спокойно и сдержано; все чаще она вскрикивала, вздыхала, всплескивала, словом, Зиночка была тот человек, о котором говорят: «эмоции через край»):

— Коленька, у вас ужасный, ужасный класс; ну, сколько это может продолжаться. Ну, сделайте чтонибудь! Это невозможно! Миша сказал мне, что ваш Мамкин чуть в гроб не вогнал нашу Руслану Семеновну.

— Ваня-то здесь причем? — удивился Никаныч.

— Ой, Зиночка, ты все перепутала, — вступилась с дивана Руслана Семеновна. — Ваня как раз здесь и ни причем. Наоборот. Он — единственный из всего класса, кто получил за контрольную «отлично»...

— Вот видите, Зиночка, — расплывшись в улыбке, вставил Никаныч.

— Как, а мне Миша сказал...

— *Твой* Миша, дурак, — безапелляционно заявила Руслана Семеновна.

— Он совсем не мой, он ваш, — поспешила откреститься Зиночка.

— Вот именно. Если бы он не был племянником... моего мужа, черта с два он бы здесь работал, пень квадратноголовый. Его на работу устроили, а он ученика лучшего клеймит. Гнать таких педагогов в шею. — Руслана Семеновна, скрипя, уселась на диване, голос ее ожил, и теперь говорила она гневно и даже руками взмахивала: — Балбес. Я ради него старалась, чтоб его в армию не забрали, на работу его устроила, в городе, а ни в какой-нибудь там Казинке; а он вон, что здесь творит. Сегодня же буду с Мариной Ивановной говорить о его профнепригодности.

Что докторша, что Зиночка терпеливо помалкивали, прекрасно понимая, что причина таких слов в адрес Миши, есть ни кто иной, как его дядя и Русланы Семеновны муж; а на самом деле Руслана Семеновна души в своем племяннике не чаает. Это знали и потому не возражали, давая Руслане Семеновне выговориться и успокоиться.

— Ваня Мамкин меня довел! Это ж надо такое удумать! Милейший, умнейший мальчик. Математику любит, пятерки получает, — Руслана Семеновна негодовала, — А вот то, что класс у вас, Николай Иванович, разболтанный, это верно. Совсем дикий класс. И меры вам, Николай Иванович, просто необходимо принять...

— Я уже принял, Руслана Семеновна, — заверил ее Никаных. — Будьте спокойны. Трое самых отъявленных негодяев из моего 9 «А» понесут достойное наказание... Ведь я сам пострадал. У меня сегодня украли туфли. Вскрыли мой шкафчик и украли туфли.

— Какой ужас! — воскликнула Зиночка. — Их нашли!?

— Пока еще нет... Но, думаю, что скоро да.

Прозвенел звонок с урока.

— Мне пора; подробности расскажу вам позже. — Поднявшись, Никаныч, красиво ступая, удалился из учительской.

Покинув вместе с Юдиным приемную директора, Никаныч испытывал некоторые сомнения, а именно: правильно ли он поступил, что показал и оставил Марине Ивановне записку, найденную утром в своем шкафчике. Слишком история получалась щекотливая. Совсем Никанычу не хотелось давать в школе еще один повод для пересудов. А поводы, как ему казалось, так и лезли друг на друга. Другой бы на его месте плюнул, и горя не знал. Времена теперь другие, и сколько его знакомых, ничуть не стесняясь своей ориентации, работали в школах, институтах, и нормально работали, и с работы их никто не гнал, и не преследовали их вовсе...

Но так оно иной раз и получается: чем больше скрываешься, пускаешь пыль в глаза, тем подозрительней для окружающих кажется эта скрытность, и, в первую очередь, подозрительней для того, *кто скрывается*.

Никаныч был очень мнительным человеком, и ему совсем не хотелось, чтобы о нем судачили. И записка, отданная Марине Ивановне, и слишком уж пламенные речи самого Никаныча, говорившего о сексуальном преследовании Быковым, Абрамовым и Юдиным Вани Мамкина, — все это Никаныч делал и говорил, исключительно, чтобы прикрыть себя, лишний раз подстраховаться, показать всем, еще раз, какой он ярый ненавистник всей этой *мерзости*. Пока Никаныч шел вместе с Юдиным до класса, он совсем растревожился: «А что, если Марина Ивановна поймет *все как раз правильно*; а вдруг, рассказав ей все это, я

собственным языком и выдал себя». Никаныч всего этого очень боялся сейчас. «Ведь если все откроется, что же делать тогда. Как я тогда буду выглядеть в глазах своих коллег? И неизвестно, что еще Абрамов с перепугу наговорит; а Юдин — этот вовсе неизвестно чего сказать может. А вдруг правду скажут: дескать, да, заказали мы Никаныча, и заказали не иначе, потому что Никаныч гомосексуалист». Смерть Никанычу не так страшна казалась сейчас, как правда о его наклонности. «А Марина Ивановна обязательно обратит внимание на слова их, как пить дать, обратит... да и сам я про это брякнул... кто за язык тянул... И что тогда делать? По школе слухи пойдут... Нет, все таки зря все это, зря», — разволновался Никаныч, чрезмерно разволновался. Уже пожалел обо всем: «И куда полез. Шло бы, как и шло».

Когда он открывал дверь класса, его посетила, как ему показалась, гениальная мысль: «Надо жениться! И тогда уж точно обо мне и подумать никто ничего не посмеет. И повод для волнения сразу же отпадет. И тогда кто угодно, что угодно... да хоть обговоритесь! — я женатый человек». В класс Никаныч зашел совсем оживший. И, во время объяснения классу закона Менделя, мысли его полностью были заняты планом женитьбы.



Пока Никаныч и Муся, увлеченные своими мыслями, прикидывали, где им искать выход из неожиданно свалившейся на их головы ситуации, Макс и Абрамчик ни живые, ни мертвые (Абрамчик, тот совсем в полуобморочном состоянии), стояли в кабинете директора и ждали решения своей судьбы. Выслушав сначала нечленораздельное мычание Быкова, а затем и Абрамова, Марина Ивановна только и поняла, что они ни в чем не виноваты, что карты

они в глаза никогда не видели, и совсем Мамкина они и не били, и что Николай Иванович все не так понял. А когда они услышали, что они домогались Мамкина, Макс так совсем остолбенел и даже сказать ничего не нашелся. Про расписку они слыхом не слыхивали, про деньги тем более... Словом, перед Мариной Ивановной стояли два ни в чем не повинных, оклеветанных человека. А по поводу подстрекания к убийству их учителя Николая Ивановича, здесь Макс и Абрамчик буквально раскрыли рты.

— Марина Ивановна... — мялся Абрамчик, — мы не могли такого придумать. Вы Мамкина спросите...

Что Абрамчик, что Макс, не сговариваясь, инстинктивно, зная, что Вани в школе нет, чуть ли не после каждого своего слова призывали в свидетели Ваню. А, услышав про кражу туфель, подростки совсем уж искренне удивились. Абрамчик даже рискнул заявить:

— Мне-то они зачем, у меня своих туфель навалом.

— Марина Ивановна, вы Мамкина самого спросите, — бубнил Макс. — Он вам подтвердит. Не делали мы ничего этого.

— По этому поводу не беспокойтесь, и у Мамкина спрошу.

Чем больше подростки убеждали Марину Ивановну в своей невинности, тем больше убеждались в ней сами. И, что самое интересное, тем больше сама Марина Ивановна понимала, что без Мамкина здесь, действительно, не обойтись. Она даже подумала, что и Юдина вызывать теперь без толку. Пока она не услышит лично Мамкина, с остальными говорить бесполезно.

— Ладно, идите сейчас на урок, а завтра я вас жду обоих с родителями, и учтите, Мамкина я выслушаю, и, если все, что вы мне сейчас плели, бабушкины сказки, а, скорее всего, так оно и есть, я вас, к едрене-матрене, не то, что из школы выгоню, я вас в колонию детскую посажу. А теперь на урок!

Выскочив из кабинета директора, Макс и Абрамчик, не медля, решили бежать к Ване и подготовить его к разговору с Мариной Ивановной. Решили только Мусю дожидаться, а там, не медля, к Ване.

Когда прозвенел звонок, подростки уже ожидали Мусю возле кабинета биологии, чтобы сразу, «не медля», к Ване. Причем, так «не медля», чтобы ни Никаныч, ни кто другой из одноклассников и заметить их не успел, не то, что разговаривать.

Отмахнувшись от тут же наваливших на них пацанов, чем совсем довели их любопытство до ручки, Макс, увидев Мусю, схватил его, шепнув:

— Уходим, Ромик, все, на улице. — Уже бежал по лестнице, держа Мусю за рукав свитера; следом торопился Абрамчик.

Говорить начали, когда школа скрылась за окружавшими ее домами. Сев на лавочку, Макс сбивчиво начал:

— Короче так, Ромик. Сейчас нужно быстро к Ване, и сказать ему, чтобы, когда он будет говорить с Матреной, он все отрицал. Что не играли мы с ним... и все такое. Понимаешь?

— С трудом.

— Чего здесь понимать-то...

— Макс, дай я...

— Да чего ты... Короче, Ромик, такие дела...

— Ром, — вклинился Абрамчик, — Матрена ничего не в курсе, так, погоняла нас. Но мы все на Ваню, типа, у него спросите, он все подтвердит, что не было ничего. И поэтому Ваню подговорить нужно... — Слышь, пацаны! — осенило Абрамчика. — А если ведь Ваня в отказ пойдет, тогда получается, что Никаныч в говне, — получается, он все наврал. С Ваней он не виделся, а слухи только слышал. Получается, он слухами Матрену накормил... И если Ваня в отказ... Пацаны, идея!

— Ага, — развеселился Муся. — *Не успею, опять опаздываю, скажем, прости милый...* И тут появляется Ваня, весь

в белом, и с лентой через всю грудь, а на ленте большими нарядными буквами: ИДЕЯ... Молодец, Дима, мозги у тебя есть, — хлопнул Муса довольного собой Абрамчика.

— Ну что, тогда к Ване.

То, что выход из ситуации был найден, подростки не сомневались. Правда, им пришлось согласиться, что долг Ване придется простить, про Никаныча забыть и... расписку придется Ване отдать.

— Хватит, повеселились, — резюмировал Абрамчик.

На том и порешили. Но от вечеринки и от попойки с девчонками никто отказываться не собирался — здесь Абрамчик и не спорил. Так что, к Ване все трое шли в самом, что ни на есть, приподнятом настроении.

А у Марины Ивановны, если выразаться языком подростков, веселье только начиналось. За бумагами, за телефонными разговорами она забыла и про Юдина, и про то, что он не зашел к ней на перемене... Не напомнил ей про это и Никаныч. Зато Миша, которого дети окрестили Гоблином, подлил, что называется, масла в огонь.

Марина Ивановна вышла из школы и торопливо шагала через школьный стадион, когда ее окликнул Миша.

— Марина Ивановна, — быстро подбежал он к ней, — Марина Ивановна, разговор у меня к вам.

— Ну, говори, Миша, только недолго, у меня дела.

— Разговор-то, Марина Ивановна, недолгий, но очень неприятный.

— Что еще стряслось, — поморщилась Марина Ивановна.

Оглянувшись, как истинный заговорщик, и значительно посмотрев на Марину Ивановну, Миша произнес:

— Хочу вам сказать, Марина Ивановна, что у нас в школе завелась проституция.

Миша сделал паузу. Он ждал реакции на свои слова. Реакция последовала мгновенно: ощерившись, Марина Ивановна больно ткнула в Мишу пальцем:

— Ты че несешь? Вы что, повзбесились тут все? Сначала, Коля. Теперь ты.

Услышав про Колю, Миша повеселел:

— А то и несу. Дело такое: сейчас у меня 9 «Б», и много интересного я от пацанов услышал...

— Миша, давай без этих своих штучек-дрючек, говори по делу.

— Так я и по делу. Слухи такие ходят, что Ваня наш, Мамкин, из 9 «А», собой торгует, понимаете в каком смысле...

— Ты че несешь? — вновь ее палец больно ткнул в Мишину грудь. — Вы тут что, все посдурели?.. Говори дальше.

— Пацаны из 9 «Б» нашептали мне...

— *Кто* нашептал?

Слегка потерявшись от такого напора, Миша продолжил:

— Это ладно... я главное хочу сказать. Мамкин проиграл себя в карты, и они его того... ну, понимаете. А самое главное, Мамкин давно этим занимается. Он этим деньги зарабатывает, и это еще не все...

Лицо Марины Ивановны позеленело, не дав Мише договорить, она крепко схватила его за плечо и процедила в самое его ухо:

— Миша, сейчас я уезжаю на совещание, когда вернусь, не знаю, но знай — завтра, до первого урока, ты приводишь ко мне своих *шептунов* и, если не приведешь, я тебя... к едрене-матрене... — Марина Ивановна не договорила, глаза ее бешено взглянули на Мишу, и, не в силах больше что-либо сказать, плотно сжав зубы, она еще раз ткнула в Мишу пальцем и, развернувшись, быстро зашагала в сторону автобусной остановки.

VI

— Пацаны, давайте к интернату заглянем, — предложил Макс.

— Да я чего-то не знаю, — замялся Абрамчик, — ну, в общем, давайте, только крюк придется делать. Мы же, все-таки, к Ване идем.

— Ладно, Дима, не менжуй, пошли, — обнял его Макс, и подростки свернули к интернату.

У интернатовцев была перемена, и весь двор, впрочем, как и любой двор обычной школы во время перемены, был шумно заполнен выскочившими на улицу детьми. Малыши бегали как угорелые, визжали; старшеклассники кучками сидели по лавочкам, говорили живо, некоторые, втихоря, покуривали. Дойдя до угла интерната, подростки остановились.

— Ну, чего остановились? — оглянулся на них Макс, — пошли.

— А ну, гад, стой! — из-за угла выскочило двое малышей; первый, прижав к груди мяч, удачно сманеврировав, тут же нырнул в толпу таких же малышей, второй, не разглядев, тараном врезался в остолбеневшего Абрамчика.

— Извините, — пискнув, малыш нырнул вслед за первым.

— Во, гад, напугал...

— Ну чего, пойдем, — усмехнувшись и хлопнув по плечу взволнованного Абрамчика, Макс завернул за угол. Следом Муся. Затем отдышавшийся Абрамчик.

— Вроде только вчера все случилось, а веноч уже висит, — произнес чуть слышно Абрамчик.

На стене, выкрашенной грязно-желтой краской, на небольшом выступе, в метре от земли покоился веноч из искусственной елки, обвитый красной лентой и увенчанный двумя бордовыми гвоздиками, аккуратно вплетенными в веноч. Рядышком, у венка, приютились две красные гвоздички; а на асфальте, где еще вчера лежал, прислонившись к стене, убитый подросток, покоились четыре большие красные гвоздики и рядом, в стеклянной банке, поникшие, четыре темно-красных тюльпана.

— Целая оранжерея, — выскочило, даже как-то грубо, у Муси.

— Ром, зачем ты так? — негромко проронил Абрамчик. — Все-таки, они же люди были. — И, к большому удивлению Макса и Муси, Абрамчик перекрестился и прошептал: — Царствия вам небесного.

— Абрамчик, да ты, никак, у нас верующий? — с откровенной издевкой произнес Муся. — Не знал, не знал...

— Ром, вообще-то, ты все это зря, — помолчав, Абрамчик добавил: — Ладно, пацаны, давайте присядем, что ли. Все-таки, мы их последними видели.

Отойдя к невысокому заборчику, ограждавшему интернатовский сад, Абрамчик, а затем и остальные, сели на него.

— Они в рай попадут, — заверил Абрамчик, — кто насильственной смертью умирает, тот в рай попадает.

— Ты, Абрамчик, наверное, тоже в рай хочешь?

— Ром, перестань стебаться.

— Я не стебаюсь, я спрашиваю.

— А ты что, не хочешь?

— Я и не знаю, что это такое...

— Я, в общем-то, тоже, не совсем верующий, — встал зачем-то Макс. — Но... — не найдя нужного слова, закончил: — Кто его знает, что там после смерти... Может, там правда ничего нет.

— Там есть рай, и там есть ад, — сентенциозно изрек Абрамчик, рука его вновь поднялась для креста, но, то ли постеснявшись, то ли передумав, он, так и не перекрестившись, опустил руку.

— Если и действительно. есть то, о чем ты говоришь, то я хочу в ад, — улыбнулся Муся, и как-то странно посмотрел на Абрамчика.

— Ром, ты чего это? — с набожной трусливостью прошептал Абрамчик.

По правде, такая набожность для подростков стала открытием. Но вместо того, чтобы лишний раз подтрунить

над Абрамчиком, подростки завели совсем серьезную беседу:

— Вот что в твоём раю делать? — без шуток спросил Муся. — С адом все понятно, там сковородки, мученья, черти — развлечений хватает. А в раю твоём, что — ангелочки летают... Думаю, пивка тебе в раю никто не нальёт, и сигареткой никто не угостит.

Абрамчик как раз извлек из кармана пачку и, достав из нее сигарету, закурил.

— Если честно, пацаны, — признался Макс, — страшновато. — Вот умрем, и что? Вот убили тех вчера, и чего? Может, у них и девчонки ни разу не было... Вот так вот умрешь, и даже ни разу с девчонкой не был.

— Ну, это мы сегодня исправим, правда, Абрамчик? — Муся игриво подмигнул.

Абрамчик не ответил. Вид у него был такой, будто он в транс погрузился: заморожено смотрел на венок и молчал. Мусина веселость совсем его не трогала, а, скорее, раздражала. Да и веселился Муся не естественно, а с какой-то необъяснимой, затаенной злобой, словно прятал он что-то за этой злобой, что-то такое, что и сам не мог объяснить.

— Вот представь, Абрамчик, — начал он так, будто давно уже думал о том, о чем сейчас заговорил, и так, словно давно хотел говорить, только повода надлежащего не было. — Представь, кормят тебя весь день твоим любимым шоколадом, или слушаешь ты весь день своего любимого Круга, — уверен, через два, три часа тебя тошнить будет, как от Круга, так и от шоколада.

— Ты это к чему?

— А к тому, что попадешь ты в свой рай, в это вечное блаженство, и затошнит тебя от этого вечного блаженства на другой день.

— Почему меня затошнит?

— А почему бы и нет. От шоколада затошнит.

— Ну, ты сравнил.

— А я разницы не вижу: блаженство, оно и есть блаженство, будь то секс, шоколад или рай. Ведь спорить не будешь, что уже блаженство, когда ты, уставший, на кровать упал и лежишь... но потом-то тебе снова встать захочется.

— А в аду, что, не надоеет? — Вдруг, вторя Мусе, зло огрызнулся Абрамчик.

— В аду у меня цель будет, — точно ожидая этого вопроса, ответил Муся.

— Какая же это цель?

— Цель — с болью бороться и ждать, когда она кончится. Этим и жить в аду буду — верой, что боль когда-нибудь кончится.

— А она никогда не кончится.

— Да и пусть, зато цель будет. А у тебя в раю какая цель — ждать, когда блаженство оставит тебя в покое? Я в своем аду хоть чем-то буду занят, со скуки не подохну. А в твоём раю от одной скуки этой блаженной сдохнуть захочется. Что я, Макс, не прав?

— Да мне все равно. Мне, вообще, все ваши разговоры эти до фени. Я Бога не видел и рая не видел.

— Ты и Америки не видел, — весело возразил ему Муся.

— Америку я по телевизору видел, а Бога я по телевизору не видел.

От такого заявления даже Абрамчик хихикнул.

— Во, Макс — приколист: Бога по телевизору! — уже смеялся Абрамчик.

— По мне, лучше вообще этого Бога не будет, и пусть мы все в земле сгнием, чем такое классовое разделение. — Вскочив и согнувшись, словно швейцар, Муся стал указывать руками то направо, то налево: — Вам, пожалуйста, в рай — вы налоги заплатили, «Баунти» сожрали — вам в рай... А вы, уважаемый, извините, вот не люблю я вас, и все тут — вы, пожалуйста, в ад.

Игра захватила подростков, и Макс, и даже Абрамчик, стояли теперь в полупоклоне рядом с Мусей и провожали, толкали, пинали (здесь Макс особенно усердствовал) воображаемых праведников и грешников то направо, то налево.

— А мы куда?! — сквозь смех воскликнул Муся. — Нас-то куда? Давай, Абрамчик, банкуй, ну чего ты. Куда нас с Максом сплaviшь, в ад или рай? Давай же, мы ждем, истомились уже...

— Ладно, пойдем пацаны, — махнул им Абрамчик, — вас — к Ване!

— Подожди, Абрамчик, ты, как представитель славного моисеева рода, скажи — от кого мы произошли: от Бога или от обезьян? — ласково вдруг спросил Муся.

Ответ Абрамчика чуть ли не свалил подростков.

— Глядя на вас, думаю, что вы произошли от обезьян, которых сотворил Бог.

Муся на это ничего не нашелся ответить и только вымолвил:

— Ну, ты, блин... Спиноза.

— На себя посмотри, — отмахнулся Абрамчик, — ладно, пошли к Ване.

VII

Ваня еще долго бы лежал в кровати и изводил себя страшными мыслями, если бы ему не захотелось в туалет. Поднявшись с постели и подойдя к туалету, он уже открыл дверь уборной, как к нему подлетела его сестра.

— Ванечка, родненький, бабушка опять умирает.

Ваню аж передернуло. Бабушка «умирала» обязательно раз в месяц, бывало, что и чаще. Длился этот кошмар, без малого, два года. То, что бабушка чуть ли не каждый день, и на день по несколько раз, обвиняла дочь, внука, и

даже внучку, что они убивают ее, «гноят», — с этим кое-как семья смирилась. Обычным делом, когда за обедом, начиная есть сваренный бабушкой борщ, Ваня, без всякого умысла интересовался, проглатывая очередную ложку:

— Бабуль, а что ты сюда добавляла, вкус какой-то интересный (бабушка в приготовлении еды была большой оригиналкой; все, что только нового появлялось в магазине, будь то бульонные кубики, специи, приправы, сразу же использовала это при готовке. Получалось всегда вкусно и необычно), и всегда Ваня натыкался на одни и те же грабли.

— А тебе что, не нравится? — сразу же обижалась бабушка, обижалась искренне и бесповоротно. Оправдания и уговоры теперь становились лишними, более того, они усиливали бабушкину мнительность, и обостряли обиду. Бабушка сразу же начинала плакать:

— Вечно, что я не приготовлю, вам не нравится. Всегда вы так. Все вы такие. Все вы моей смерти хотите...

— Бабушка, ты что, я же не затем спросил...

— Да?! Я знаю, все вы моей смерти хотите. Все вы только о ней и мечтаете. Что не приготовлю, ничего вам не нравится-я, — и бабушка заходила в долгих и утомительных рыданиях.

— Я вас так люблю... а вы... Не любите меня... жестокие-е...

Есть, после таких слез, желание пропадало. Ваня бросал борщ и кидался утешать бабушку (последнее время делать он это перестал), утешения еще больше расстраивали бабушку, она тяжело уходила из кухни, падала в своей комнате в кресло, и там, уже окончательно убитая горем — благодаря таким жестоким детям, — заходила в таких рыданиях, что довольно часто, после подобных сцен, соседи косо посматривали не только на Ваню, но и на его мать и сестру. И шептались:

— Вот ведь какие, совсем уже Анну Васильевну затерроризировали...

— А я говорю, что это из-за квартиры. Они шас Анну-то в гроб вгонят и заживут.

— Анна, это еще что, от дурочки еще избавятся, в дурдом сдадут, и тогда, точно, заживут. Она, Нинка, она такая, она пока своего не добьется, не слезет.

— Правильно. Мужика ее зарезали, говорят, по ее заказу. Она баба еще та: от матери, от дочки-дурочки, избавится и тогда заживет.

— Ну, правильно... А куда же ей хахалей водить. А то, вот, квартира трехкомнатная...

— А сыночек-то ее куда, вроде бы парнишка-то ничего...

— Ага, ничего, картежник, как папаша его покойник...

— Это точно...

— А я знаю. И от него Нинка избавится. Закажет его, как муженька, и тогда заживет.

— Тогда точно заживет.

И заканчивались все эти пересуды одним и тем же:

— Бедная Анна, бедная Анна, бедная, бедная...

Такие пересуды соседок-старух были частыми, и постоянно подкреплялись бабушкиным воем. Причем, выла бабушка не только у себя дома, бывало, что и в гостях у своих подружек-соседок, бывало, что и во дворе. Часто, после своих сцен, бабушка сползала с кресла, хваталась за сердце и «умирала», с хрипами, со стонами. Бросались вызывать скорую... заканчивалось всегда обычно. Уходя, врач утешал семью, что ничего страшного, пусть попьет пустырника и успокоится. «Возраст» в заключение заявлял врач и покидал квартиру. (Стоит заметить, что «умирала» бабушка исключительно в своей квартире. У подружек и во дворе она ограничивалась вытьем).

Последний год главной причиной бабушкиных «умираний» сделался Ваня. Мать, последнее время, работала часто и много, дома появлялась редко; сестра, сразу же забивалась в угол и тихо плакала (Лиза, в отличие от бра-

та не кидалась утешать бабушку, для ее больного воображения такие сцены являлись чем-то ужасным. При каждом бабушкином «умирании» она бросалась к Ване, умоляла его помочь, сама же в ужасе неслась в свою комнату, забивалась в угол за шкаф и, дрожа от страха, плакала). Лиза искренне верила, что бабушка умирает. И видеть этого она никак не хотела. Пожалуй, и сама бабушка искренне верила, что она умирает. Слишком натуральны были ее сцены «смерти». Ваня же, не меньше напуганный, бросался на помощь к бабушке, обнимал ее, целовал, утешал, вызывал скорую... но, как это обычно бывает, все реже и реже «смерть» бабушки заставляла его пугаться. Чем чаще это случалось, тем больше Ваней начинало владеть другое чувство — чувство отвращения. И сейчас, заходя в туалет, Ваню передернуло. Слишком и так все складывалось для него невесело, и очередное «умирание» как нельзя гаже вписалось в события последнего дня.

Тупо взглянув на сестру, дрожащую от волнения, и с надеждой пристально смотрящую на брата, Ваня лишь тихо прошептал (слово выскочило само собой, он даже и не думал, что оно выскочит):

— Скорее бы.

Зайдя в туалет, он защелкнул за собой дверь. Ужас сестры был неопишем. Не зная, что и говорить, она тихо и очень медленно поплелась в свою комнату. Вопль, раздавшийся из зала, заставил ее побежать. Влетев в свою комнату, Лиза, как и всегда, забилась в свой угол за шкафом и, задрожав, тихо завывала.

— Плохо мне, умираю, — хрипела из зала бабушка. — Ох, убий-йцы...

Ваня вдруг усмехнулся и ужасно обозлился на свой смешок. Так получилось, что причиной смешка стал невинный пук, как нельзя более точно случившийся после слова «убийцы».

Хрипы и стоны то замолкали, то начинались с новой, еще более противной силой.

— Я умираю, — ревела бабушка. Следующий крик чуть не заставил Ваню вскочить с унитаза: впервые взвыла сестра.

— Бабушка! — ревела она из-за шкафа. — Бабушка, не умирай!

«Не выйду», — решил для себя Ваня, — «Пусть она хоть трижды умрет. Не выйду».

Уже давно сделав свое дело, Ваня упорно сидел на унитазе и тужился. Просидев так минут пять, он решил выйти. Все это время слышны были лишь всхлипы сестры.

«Неужели и вправду умерла», — мелькнуло у Вани.

Выйдя из уборной, он на цыпочках дошел до зала и воровато, лишь краем глаза заглянул в зал.

Бабушка растрепанная, большой тушей, раскинулась на полу задом кверху.

«Умерла... а может, придуривается», — мысль выскочила вдруг, и так Ваня смутился от этой мысли, что в досаде хлопнув себя ладонью по лбу, выругался:

— Сволочь, как я мог так подумать.

— Лиза, — позвал он сестру, — Лиза, подойди сюда.

Не дождавшись ответа, Ваня сам зашел в комнату сестры.

— Лиза, выходи.

Забившись еще глубже, Лиза мотала головой.

Если честно, зачем Ване была нужна сестра, он и сам не знал.

Бабушка уже лежала на спине, глаза ее, глубоко закатившиеся вверх влажно пялились в потолок, из полукрытого рта густо выходило тяжелое дыхание, вынося наружу отвратительный невыносимый запах: бабушка давно и серьезно страдала печенью.

— Бабуль, вставай; давай я тебе помогу, — умоляюще произнес Ваня. Он теперь готов был сам расплакаться: вид

бабушки до того был жалок, что видеть ее равнодушно Ваня не мог.

— Бабуль, ну зачем ты все это делаешь. Склонившись, Ваня попытался поднять бабушку. Но как он ни тужился, ничего у него не вышло; слишком бабушка была тучна и неподъемна.

— Бабуль, ну пожалуйста... Ну что же это такое! — в сердцах воскликнул Ваня, махнул рукой и выбежал из зала.

— Убийцы, — тяжело выдохнула бабушка, вынося на воздух очередную порцию своего тошнотворного дыхания, — совсем меня сгноили.

Ваня это услышал, вернулся в зал и, склонившись над бабушкой, выкрикнул, грозя ей пальцем:

— Да что б ты сдохла, старая корова!

И, испугавших своих слов, тут же выбежал из зала; быстро оделся и, громко хлопнув дверью, выскочил на улицу.

VIII

— Ну, чего? — Муся опустился на лавочку возле Ваниного подъезда. — Дверь никто не открывает. Значит, дома никого нет. Что будем делать? — задал он неприятный и самый очевидный вопрос. — По-любому, до завтрашнего утра Ваню нужно найти... и обезвредить, — закончил Муся тоном диктора телевидения.

— А где он может быть?

— Не знаю, Дима, не знаю. Пути Мамкина неисповедимы... прямо, как Господни... «И мое сердце остановилось. Мое се-ердце за-мер-ла», — пропел он ни к селу, ни к городу. И вдруг совершенно спокойно выдал: — Вариант есть, что он в школе... И тогда нам крышка.

— Блин, а вдруг он, правда, в школе, — голос Абрамчика дрогнул. — Да ну, не может быть... быть не может... Я в школу не пойду! — заключил он писклявым бабьим голосом.

— Никто в школу не пойдет, — согласился Муся и странно добавил: — Одна у нас надежда — если Ваня повесился... А это мы можем узнать только завтра утром из криминальной сводки... ладно, пацаны, суетится бестолку. На крайний случай завтра утром зайдем к нему до уроков, что-нибудь да узнаем, — Муся поднялся с лавочки.

— Время одиннадцать, для веселья рановато. Давайте по домам, а ровно в шесть, Дима, у тебя встречаемся.

— Слушайте, пацаны, а пошли сейчас ко мне, — жалостливо попросил Абрамчик, — на компьютере поиграем...

— Ты, Макс, как? — спросил Муся.

— Да я нормально, можно.

— А я домой. К шести подойду.

— Ну, пока, — пожав им руки, Муся направился к своему дому, напевая: — «И мое сердце остановилось. Мое сердце за-мер-ла».

Абрамчик его не удерживал, с ним остался Макс, этого было достаточно. Абрамчику совсем не хотелось сейчас оставаться одному.

IX

Озадаченный, Миша вернулся к классу. Разговор с Мариной Ивановной оказался не таким, какого он ожидал. Слишком все получилось резко и дико. Подходя к классу, Миша невольно сравнил себя с гонцом, принесшим плохую весть и за это казненным.

— Но ничего, — процедил он сквозь зубы, — то ли еще будет. — И тут же отвесил пару пинков слишком заигравшимся мальчишкам.

— Вы на уроке, — рявкнул он им, — че тут за борьбу устроили — вы не на матах. Тэк, три круга по стадиону бегом!

Весь урок Миша прикидывал, как бы ему иначе рассказать эту новость учителям. Новость была интересная,

рассказать ее обязательно стоило; и рассказать ее хотелось в присутствии Никаныча и на его реакцию посмотреть: что он на это скажет.

По окончании урока Миша сразу направился в учительскую и немало был удивлен, когда нашел там весьма шумную и многолюдную компанию.

Обычно в учительскую на перемене если и заходили, то человека два-три, а сейчас, точно по заказу: в учительской было битком, Никаныч в центре внимания, женщины все счастливы и, что совсем Мишу сразило, шампанское пили и тосты кричали.

— О! Миша, заходи, заходи! — радостно воскликнули несколько голосов. — А у нас тут праздник.

Человек пятнадцать женщин скомпоновалось вокруг Никаныча, рядом с ним, плечом к плечу, сидела раскрасневшаяся, довольная и просто умирающая от счастья учительница ИЗО, Зиночка.

— Коленька наш сегодня просил руки нашей Зиночки. Вот так вот, Миша, глядишь, скоро и тебя женим.

Заявление Мишу просто шокировало. Не найдя, что сказать, он, подхваченный под руки двумя учительшами, был доставлен к столу; в руке его оказалась кружка с шампанским и, как вновь прибывшему, ему тут же заказали тост.

— Ну, че сказать. Совет да любовь, — растерянно произнес он и, сморщившись, как от микстуры, давясь газами, выпил шампанское.

Про то, что он хотел рассказать, Миша за шумом и гоном тут же и благополучно забыл. Учительницы, перебивая друг друга, то и дело желали молодым счастья, спорили, как и где должна проходить свадьба. Говорили уже и о подарках, и даже о том, кто первый родиться — мальчик или девочка, и какое имя дать ребенку. Словом, у женщин появился редкий повод повеселиться и покуражиться.

Решение сделать Зиночке предложение родилось у Никаныча вдруг и в тоже время, нельзя сказать, что раньше он об этом не думал. Думал, и думал уже не первый год. Нет, конечно, мысли его были не о Зиночке, а вообще о *женитьбе*. Поводом для этих мыслей была его мнительность. Никак не мог Никаныч допустить, чтобы на работе прознали про его деликатную склонность. Возможность этого пугала Никаныча, не давала ему спокойно спать и порой доводила до полного уныния. Искренне Никаныч завидовал своим знакомым, открыто говорившим о своей склонности. Но были и другие знакомые, совсем не афишировавшие ЕЕ, а, даже наоборот тщательно скрывавшие и даже отдавшие себя в жертву, дабы сохранить ЕЕ, проще говоря, женились *на женщине*. И рассказы этих знакомых о совместной жизни с женщиной совсем убивали Никаныча. В общем, в этой совместной жизни, по рассказам знакомых, страшного ничего не было, если бы не одно очень щекотливое *но* — постель. В нее-то все и упиралось. Хорошо, если женщина попадалась умная, понимающая, с современными унисексуальными взглядами на жизнь, но лучше, чтобы она, была лесбиянкой или, на худой конец, фригидной, старухой после климакса, благо сейчас на старухах женятся все кому не лень, даже эстрадные звезды. На последний вариант Никаныч больше всего и рассчитывал, это и в духе времени и, что само важное, полностью решает постельный вопрос. И Никанычу такой шаг, как предложение руки и сердца Зиночке, женщине молодой и страстной, казался, по крайней мере, необдуманном, и, более того, опасным. Но то что, свалилось на него в этот день, подперченное его мнительностью и многолетними страхами, не оставляло уже ему времени на раздумья и тщательный, осторожный выбор невесты. После разговора с Мариной Ивановной, истории с запиской, с Ваней,

словом, именно после утренней беседы с директором Никаныч уверился окончательно — о его склонности если не знают, то узнают обязательно, а побеждает, как известно, тот, кто информирован, и лучшая защита, само собой, нападение, и, как всегда, время не ждет. Словом, искать, ждать и терять время Никаныч позволить себе не мог. Следовало доказать всем, здесь и сейчас, что он, Николай Иванович, самый что ни на есть ярко выраженный натурал, а ни какой-нибудь там... И все, что для этого требуется, только подойти к Зиночке и, желательно при свидетелях, предложить ей руку и сердце, тем более, сама Зиночка, давно на все согласна.

Так Никаныч и сделал. После второго урока он подошел к Зиночке и, при свидетелях в лице Русланы Семеновны и Льва Николаевича, сделал ей предложение. КАК он собирается совместно жить с Зиночкой? — про это он не думал. Главным для него было — оградить себя, и как можно скорее, от сплетен и подозрений, а дальше — как сложиться.

X

У Муси не было никакого желания тащиться к Абрамычу и протирать глаза возле телевизора. Прошедшую ночь он спал не больше двух-трех часов, и ему просто хотелось выспаться.

Ему совсем не верилось, что история их с Никанычем и Ваней закончится легко и безболезненно. Что-то ему подсказывало, что, не сегодня-завтра случится обязательно что-то такое, к чему ни он, ни остальные готовы не будут. Единственное, во что он верил, так это в свои силы и свой ум. Больше надеяться было не на кого и не на что.

«В любом случае, хоть какая-то история, хоть какая-то встряска, а то не жизнь, а тоска», — но, рассуждая так,

он, конечно же, лукавил, встрясок и историй ему в жизни вполне хватало, но все они были, по его мнению, обычны и не интересны: так, иной раз, какой-нибудь романчик в школе или, как прошлой ночью, со Снежаной... И все. Как Муся не пытался, ничего интересного он в своей жизни не находил. Карты стали обыденностью, ссоры и ругань в семье — тем более; школа... школа и вовсе была для него какой-то серой, бездушной дырой, в которую ему приходилось шесть дней в неделю влезать и преть, тухнуть и задыхаться от глупости и обывательщины. Сказать, что учеба была для него не интересной, значило бы ничего не сказать. Она была ему противна. Он считал себя гораздо умнее и образованнее не только своих одноклассников, но и некоторых учителей. Многих, особенно учителей литературы, истории и ИЗО, он презирал до глубины души, только в глаза им это не говорил. Но главной причиной его тоски была безысходность. Порой, когда он оставался один на один со своими мыслями, его охватывал панический страх перед будущим. В такие, действительно страшные, минуты он терялся и впадал в самую настоящую депрессию. Он не знал, чего он реально хочет от этой жизни, и что он мог от нее реально взять. Его ровесники часто, в компании, обсуждали свои планы на дальнейшую жизнь, мечтали, кто кем будет, кто куда пойдет дальше: учиться или работать; у каждого была своя, пусть даже скромная, но мечта. У Муси же, как он ни думал, как ни напрягался, подобной мечты не было. Он не знал, что он будет делать, когда выйдет из школы. Институт? Работа? Но какой институт, какая работа? Все, что было вокруг него, было ему скучно и не интересно: поступить в институт?... в Москву? Но зачем? Работать на заводе? Открыть свою фирму?... Юристом? Экономистом?... Но — Зачем? — этот вопрос мучил его, и он не в силах был на него ответить. А поступать как все, быть как все... Большая половина его одноклассников мечтали о

престижной работе, положении в обществе, больших деньгах... Ничего этого он не хотел... нет, конечно же, хотел — больших денег. Но все известные профессии казались ему пошлыми и неинтересными. Впрочем, была у Муси одна эфемерная мечта, но она до того была эфемерная и несостоятельная... Он мечтал быть дворянином, человеком высшего света, голубых кровей... Балы, вечера, салоны... и деньги, которые бы он никогда не считал, и никогда бы о них не думал; и главное — никогда бы их не зарабатывал. Работать — это слово он ненавидел больше всего. «Если ничего не умеешь делать — иди работать», — часто повторял он сам себе эту фразу.

«Я умен, образован, обаятелен, знаю толк в искусствах, могу вести себя в обществе... Почему я не родился в XIX веке в семье знатного дворянина. Почему я должен растрачивать свой талант на работу, на жалкое зарабатывание, пусть и больших, денег... Почему?» — Здесь Муся всегда плевался, ругая всех и вся. Конечно, можно было своими силами доползти до верха... но какая это была тоска! Да и что это был за *верх*? Сегодняшний цвет общества исковеркан и изгажен...

«Кому они завидуют? — часто думал он. — С кем они мечтают хотя бы стоять рядом — с чиновником, пусть даже и высоким? Но кто он? Бывшее быдло, хитростью и подсиживанием добившийся своего высокого положения... Актеришки, певуны — но какой они свет, они шуты, созданные для увеселения. Коммерсанты, банкиры — те же самые торгаши, купцы, мужичье... Бандиты — тоже мне, джентльмены удачи, рыцари печального образа. О чем сейчас можно мечтать, к чему сейчас можно стремиться? Везде грязь и тоска...» — эти мысли угнетали Мусю, доводили его до безумия, ему, просто не хотелось жить. И не было рядом достойного человека, с которым он мог бы поделиться своей мечтой или своей бедой. Никто его не способен понять. В этом Муся был абсолютно уверен.

Абрамчик, Макс, Ваня были лишь партнерами в игре, больше ничего. Они не были друзьями... они были ничем — пустым местом...

«Надо довести игру до конца; надо, — твердо решил Муся, подходя к двери своей квартиры. — Пусть они все подохнут, пусть вместе с ними подохну я, но игру надо довести до конца. Ставки сделаны, ставок больше нет...». Что он будет завтра говорить в кабинете Марины Ивановны, он уже знал точно.

Войдя в квартиру, Муся тотчас услышал голос матери:

— Ромочка! Сыночек! Живой! — выскочив в прихожую, она схватила его в свои объятия и тут же, словно опомнившись, отбросила его к двери и с правой влепила ему пощечину. — Где ты шляется, я глаза все просмотрела! Ночь не спала... Закрой дверь!

Муся закрыл входную дверь, разделся и сразу же пошел в ванную. Вопли матери не заглушила даже шум воды.

— Морги все обзвонила! Больницы! — визгливо причитала она под дверью в ванную. — Жестокий! Открой дверь! Я хочу с тобой поговорить!

Никак не отреагировав на ее требования и стуки в дверь, Муся разделся, настроил воду и залез под душ. Спокойно вымывшись под аккомпанемент материных визгов, криков, рыданий и угроз, в который раз услышав, что он такой же, как и его отец, что оба, и он, и отец, жестокие себялюбцы, что жизнь они ей всю испортили, Муся вышел из ванной с обвязанным вокруг бедер полотенцем, в тапочках, и с аккуратно сложенной верхней одеждой в руках; спокойно, будто никто не кричал на него и не допрашивал, прошел в свою комнату.

— Мама, пожалуйста, не кричи, я устал и очень хочу спать. Поговорим вечером, — сдержанно попросил он неотступно следующую за ним мать.

— Устал он! А я не устала? Я, по-твоему, не устала?

Если бы Муся вступил с ней в пререкания, то вряд ли бы они договорились и к полуночи, не то что к шести вечера.

Поэтому только и оставалось Мусе, как упасть на свою кровать, накрыться с головой одеялом и уснуть. Что он и сделал. Мать еще долго провоцировала его на беседу; дел у нее пока было достаточно, и, между уборкой, мытьем посуды, замачиванием белья, она все возмущалась, нервничала, требовала, чтобы он не молчал, порой подходила и стаскивала с него одеяло, заявляла, что она не рабыня, весь свой выходной тратит на уборку и стирку, и иногда в своих излияниях заходила так далеко от начатой темы, что и не понять было, что она вообще хочет сказать... Но вот все дела по дому были переделаны, мать переоделась, привела себя в порядок и крикнула Мусе, уже возле входной двери:

— Отец придет, обед на плите. Я к тете Свете пошла.

Закрылась входная дверь и в квартире наступила долгожданная тишина.

Сняв с головы подушку, Муся дотянулся до будильника, завел его на половину шестого вечера и, улегшись поудобнее, мгновенно заснул.

Пространство, занимаемое Мусей, было настолько мало (небольшая часть комнаты возле окна, отделенная перегородкой), что единственное, что там помещалось — односпальная кровать. Ни стула, ни другой какой мебели больше не было. Но и этот маленький уголок мог многое сказать о своем хозяине. Сразу же, что бросалось в глаза — висевшая слева от окна ксерокопия с репродукции картины Отто Дикса, вполне сносного качества, черно-белая, прикрепленная к стене обычными канцелярскими кнопками: белокурый хирург с точечными чертами лица истинного арийца, облаченный в снежно-белый халат и вооруженный уже побывавшим в человеческом теле скальпелем, гордо стоял за операционный стол, устремив свой величественный взгляд в сторону, точно греческий бог, вырубленный из мрамора. Глаза его буквально налились величием и несокрушимостью. В правой руке его сверкал скальпель, левая же замерла над щипцами, придерживаю-

шими свежую рану вскрытой груди... Испачканные в крови руки, скальпель, зияющая кровавая рана... и вокруг ослепляющая своей чистотой белизна... все это смотрелось до циничного возвышенно и... божественно.

Пожалуй, это самое замечательное, что было в этой маленькой тесной коморке. Чистая, аккуратно прибранная кровать; над головой небольшое бра; на полке, приделанной к перегородке, несколько книг из русской классики: две книги Достоевского: «Игрок» и «Записки из подполья», и том с поздними рассказами Толстого; отдельно стоял роман Юкио Мисимы «Золотой Храм». На подоконнике два альбома с репродукциями Отто Дикса и Босха, и высокий мясистый цветок алое в керамическом горшке; вот и все, что можно было увидеть в этой каморке. Ничего такого, что бы говорило, что здесь живет подросток, не было, только сложенные стопкой возле окна школьные учебники и тетради.

XI

После окончания пятого урока Никаныч уже собирался домой, когда в его кабинет вошла Зиночка.

— Коленька, — бросилась она к нему на шею, — я так счастлива. Коленька, Коленька, я так тебя люблю. Я знала, я верила, я Богу молилась, и вот он услышал мои молитвы. Теперь ты мой, а я твоя...

Никаныч оторопел. Зиночка, между словами, покрывала его щеки, губы, шею влажными горячими поцелуями. И сейчас, именно сейчас Никаныч осознал, что поторопился. Первая вспышка мнительного страха прошла, и за уроками Никаныч благополучно забыл, что *он просил при свидетелях руки Зиночки*. И даже шампанское пили.

— Коленька, пойдем к тебе, — возбужденно шептала Зиночка. — Пойдем.

— Зиночка, — опомнившись, улыбнулся Никаныч, — Зиночка, я так не могу. Мы же даже еще и не женаты.

— Ах ты... мой котик, — от возбуждения Зиночка чуть ли не задыхалась. — Ах ты... мой сладенький... Я знала, знала, что ты не такой, как все. Я все понимаю. Я сделаю все, чтобы ты остался мною доволен. Я сделаю нашу.. Нет, твою жизнь раем. Я буду твоей первой и единственной... Я буду самой преданной... Пойдем к тебе, ласковый мой.

Никаныча начало трясти. Эти нежности были противны ему, эти поцелуи... К тому же большая крепкая грудь Зиночки уж очень давила на него. Зиночка поняла все по-своему.

— Ты дрожишь, — шептала она, — ты хочешь меня. Я знаю. Пойдем. Я все для тебя сделаю. Самые твои дикие фантазии я воплощу в жизнь, ты умрешь со мной от счастья... Я такая...

— Зиночка, мы же в школе.

— Понимаю, понимаю. Я убегаю и жду тебя на улице, — поцеловав его горячо в губы, Зиночка выпорхнула из класса.

Не торопясь, приведя себя в порядок, Никаныч вышел из класса, запер дверь, проверил, хорошо ли запер и, не спеша, направился к выходу из школы. Про Зиночку он думал так: «Сейчас выйду из школы, дождусь ее... сбежать нельзя. Провожу ее до дома, по дороге куплю цветы, сделаю вид, что ухаживаю... и все. К себе ее не поведу. Если будет добиваться свидания на вечер, скажу.. что занят. Нет, это грубо. Скажу, что обещался быть у мамы... нет, попросят на правах невесты... Ну.. что-нибудь придумаю».

Зиночка, дожидаясь его у парадного входа.

— Ты уже здесь? — улыбнулся Никаныч.

— А у меня же уроки кончились, и сразу от вас... от тебя, сразу на улицу.. А пальто у бабы Нюры было, я же у бабы Нюры раздеваюсь.

— А-а, — понимающе протянул Никаныч.

Быстренько взяв его под ручку и очень радуясь, что ученики и учителя, выходявшие из школы, это видят и понимающе улыбаются, Зиночка, зардевшаяся от переполнявшего ее счастья, чуть ли не повисла на своем Коленьке. Выйдя так за ворота школы, она ласково прошептала:

— Ну, куда пойдём?

— Я могу проводить тебя, — натянуто улыбнувшись, проговорил Никаныч. Он словно стеснялся, что он вот так, на глазах у всех, идет с повисшей на его руке Зиночкой — что, в общем-то, так и было.

— Может, в кафе пойдём? Отпразднуем, — не без кокетства предложила Зиночка.

— М-можно, — протянул Никаныч.

В кафе ему идти не хотелось; и никуда ему идти с Зиночкой не хотелось. Но он улыбнулся, и под ручку они направились в ближайшее кафе.

Уже в кафе Никаныча посетила спасительная, как ему казалось, мысль: напоить Зиночку и благополучно проводить домой.

Начав с сухого, дальше Никаныч заказывал уже вино десертное, дальше крепленое...

Зиночка была неутомима. Как заведенная, она болтала и болтала, и все о своем счастье, и, сначала осторожно, а чем дальше, тем навязчивее, напрашивалась к Коленьке в гости. Как Никаныч ни спаивал ее, она никак не хотела пьянеть, от вина она только еще сильнее заводилась.

Время было обеденное; кафе было небольшое и очень уютное. В зале, кроме Никаныча и Зиночки, никого из посетителей не было... И вдруг, совсем неожиданно для Никаныча, Зиночка резко обернулась к бармену и звонко крикнула:

— Молодой человек, сделайте музыку погромче, песня хорошая; танцевать хочу.

Как только музыка зазвучала громче, Зиночка потянула из-за стола Никаныча, вытащила его на середину зала

и, пьяно извиваясь в танце, с нескрываемым желанием смотрела на своего Коленьку и пела:

Солнышко мое вставай,
Ласковый и такой красивый.
Может быть, это любовь, я не знаю,
Но очень похоже на рай,

Ла-ла-лай, ла-ла-лай, ла-ла-ла-ла-лай... — все пытаюсь целовать своего Коленьку.

Тут-то Никаныч и решил сбежать. Ждать, пока Зиночка напьется... Он совсем не был уверен, что, напившись, Зиночка позволит проводить себя домой, напротив, Никаныч был уверен, что она *сама* проводит его до дома.

Возбужденный Зиночкин вид, ее страстный, пронзительный взгляд не давали Никанычу никакой надежды; если бы́ла бы возможность, Зиночка изнасиловала бы его здесь же, в кафе; в этом Никаныч не сомневался. Дождавшись, когда Зиночка отлучилась «на минуточку носик припудрить», Никаныч мигом подлетел к бармену, сунул ему в порыве сторублевку, быстро расплатился с переплатой и взмолился:

— Дружочек, я вас умоляю, придумайте что-нибудь, скажите, что ворвались бандиты, скрутили меня и увезли; скажите, что мне стало плохо и меня увезли на «скорой»... Придумайте чтонибудь... Мне нужно удрать... но она не должна подумать, что я просто сбежал. Понимаете!

— А как же, — весело кивнул бармен. — Все сделаю. Но с вас еще сотка.

Никаныч понимающе улыбнулся, погрозил бармену пальчиком, ласково произнес:

— Шалун, — и выложил на стойку бара еще одну сторублевку.

— Все сделаю, — уверил его бармен и, подняв в полусогнутой руке крепко сжатый кулак, выкрикнул:

— Но пасаран.

Но сбежать не удалось.

— Коленька, куда ты? — крикнула ему выходящая из туалетной комнаты Зиночка.

— Я? — замялся застигнутый у самого выхода Никаныч, — я покурить.

— Я с тобой.

Через пятнадцать минут Зиночка вновь танцевала со своим Коленькой. Через полчаса они садились в такси.

Зиночка, порядком опьяневшая, уже не так бурно выражала свои чувства, но все равно, при первой возможности, падала своему Коленьке на шею, целовала его, целясь неизменно в губы; получалось у нее это не всегда, и к концу пути шея и щеки Никаныча были порядком вымазаны помадой.

— Зиночка, мы в такси, — культурно отодвигал ее от себя всякий раз Никаныч, пресекая очередную Зиночкину попытку повиснуть на нем. И всякий раз, отстраненная, Зиночка пьяно вопрошала:

— А куда мы собственно едем?

— Домой, Зиночка.

— К тебе? — кошечкой льнула Зиночка.

— К тебе, — ужом выворачивался Никаныч.

Так продолжалось вплоть до подъезда Зиночкиного дома.

— Подождите меня десять минут, я провожу ее и вернусь, — предупредив водителя, Никаныч вытащил Зиночку из такси.

Сама выйти Зиночка оказалась не в состоянии. Оценив свои силы, Никаныч заплатил таксисту сверх таксы и, с его помощью, доставил Зиночку до ее квартиры.

На звонки никто не отвечал, добиться от самой Зиночки, чтобы та открыла дверь, оказалось невозможным. Зиночка лишь висла на Никанычевой шее, и все, что она сейчас могла, это только целоваться. Последнее, к отвращению Никаныча, как он ни уворачивался, получалось у Зиночки всегда.

— Долго мне еще вас ждать, я на работе, — устало заметил таксист.

Сунув ему еще пятидесятирублевку, Никаныч взмолился:

— Подождите еще чуть-чуть. Я попробую сдать ее соседям.

Со второй попытки Никанычу удалось пристроить Зиночку в квартиру напротив. Злой, измученный, вымазанный помадой, Никаныч, наконец, выбрался на воздух. При самых скромных его подсчетах, за каких-нибудь два часа общения с Зиночкой он просадил свою месячную зарплату, плюс аванс за следующий месяц. Но тем не менее, от Зиночки он ехал к себе домой с таким душевным облегчением, подобное которому, он испытывал единожды — после сдачи вступительных экзаменов в институт.

XII

Ваня, пошатываясь, шел по одной из центральных улиц; в руке он держал бутылку самого крепкого пива. Останавливаясь, он подносил бутылку к губам и, далеко закинув голову, демонстративно пил. Эту бутылку он уже пил около часа. Пиво ему ужасно не нравилось: сладковатое, оно перехватывало горло, и от него хотелось стошнить. Ваня держался. Нельзя было терять лицо. Сейчас Ваня сравнивал себя с Микки Рурком (Ваня много с ним фильмов смотрел). А Микки Рурк, часто, когда ему было хреново, одиноко, пошатываясь, шел по многолюдной улице, пил из горла виски, курил «Camel», и ему было на всех наплевать. И Ване очень хотелось, чтобы все видели, как ему хреново, и как ему на всех наплевать. Для полноты картины Ване не хватало сигареты, денег не было, а стрельнуть Ваня стеснялся.

Пройдя так еще квартал, он остановился. Закружилась голова. И закружилась больше не от пива (Ваня и полбу-

тылки не осилил), весь свой «путь Микки Рурка» Ваня шел без очков (снял их специально, очки мешали выглядеть крутым). Остановившись, он поставил бутылку на асфальт, надел очки, привычно поправил их... и так ему стало стыдно за самого себя: четко он увидел улицу, людей, и, казалось Ване, что все смотрят на него и думают:

«Вот дурак, корчит из себя крутого, а сам...».

Ваня так это четко представил, что, забыв про пиво и про все на свете, быстренько свернул на ближайшую улочку.

Улочка была небольшая и, можно сказать, пустынная. Дома все старые, кирпичные, четырехэтажные, с карнизами, с полукруглыми окнами, и, как выродок-переросток, торчала между ними панельная девятиэтажная, одноподъездная образина — ни дать ни взять гадкий утенок. Осмотрев его снизу вверх, Ваня заключил:

— Вот урод, — но почему-то подошел к нему и сел на лавочку возле подъезда.

Просидел он так не больше двух-трех минут, как вдруг к подъезду подъехало такси, и из него вышел Никаныч.

Удивление обоих было столь велико, что и Никаныч, и Ваня с минуту молча смотрели друг на друга; первым опомнился Никаныч.

— Ванечка, ты? А откуда ты знаешь, где я живу... — спросил он и замолчал; вопрос показался ему глупым, он смутился, и, не найдя ничего лучше, подошел и сел рядом.

— Я и не знал, что вы здесь живете, — тоже смутившись и, точно извиняясь, произнес Ваня. — Вы меня извините, я, вообще-то, и не хотел... я это так... — Ваня поднялся.

Никаныч удержал его за руку:

— Постой, Ваня, не уходи, я глупость спросил... Видишь — мы снова встретились — судьба.

С минуту оба сидели молча.

— Я пойду. — Вновь Ваня поднялся, и вновь Никаныч удержал его:

— Не уходи, Ваня... В такие минуты Людовик XIII обычно говорил кардиналу Ришелье: «Кардинал, мне грустно, давайте погрустим вместе»... Пойдем, Ваня, ко мне поднимемся, посидим, чаю попьем. У меня был сегодня ужасный день... Я ведь говорил о тебе с Мариной Ивановной. И Марина Ивановна разговаривала с Быковым и Абрамовым. Можешь ничего не бояться. Теперь они будут тебя бояться. Дело приняло такой оборот, что ими теперь, может быть, заинтересуется милиция. Так что, Ваня, все хорошо... — закончил Никаныч совсем невесело.

Ваню весть эта никак не тронула, он будто и не услышал ее, внимательно посмотрев на Никаныча, он заговорил:

— Судьба значит... Николай Иванович, я очень много передумал за это утро... Когда я сейчас вас увидел, я испугался. Я подумал, что я сошел с ума... Так не бывает... Мне кажется, вы преследуете меня, даже во сне... Я вас никогда не боялся, а сейчас я вас начинаю бояться...

— Ваня, что ты говоришь!..

— Последнее время я всего боюсь, — перебил его Ваня, даже с каким-то ожесточением в голосе. — Боюсь смерти, боюсь жизни, боюсь за себя, боюсь за других. Как страшно стало жить; не знаю, говорят, что раньше жить было проще и легче; не знаю, я не видел *той* жизни. Может, и вправду она была лучше... Сейчас же никто ничего не боится. Уверен, что и Макс, и Абрамчик, и Муся не боятся ни вас, ни директора... Макс, он вообще ничего не боится, а Муся, я думаю, тот и убить может. И не знаю, почему они вас еще до сих пор не тронули. Они могут. Сейчас все можно... Ведь не поймают же тех, кто вчера у интерната — я про убийц говорю — не будет их никто искать... Моего отца, когда убили...

— У тебя убили отца? — испуганно прошептал Никаныч.

— Зарезали. Этим летом будет десять лет... Никто убийц его не искал, хотя все знали, за что его зарезали, и даже знали, кто мог зарезать... Я помню, когда милиция к нам приходила и убеждала мать, что это несчастный случай, что это он сам... А в прошлом году из соседнего с нашим подъезда мужика избили до реанимации, ограбили, прямо перед Новым Годом, а потом соседи говорили, да и сам он рассказывал, что в больницу к нему на следующий день милиционер пришел и уговаривал его подписать заявление, что никто его не бил и не грабил, а что это несчастный случай, и говорил: «Ведь все равно никого не найдем, кого искать-то, лиц вы не помните, пьяный были...». Никому человек не нужен, никому не интересен... режь, стреляй, грабь — никто и слова не скажет... И вас бы я убил, как они мне говорили, и никто бы меня не стал бы искать, а нашли бы, никто бы не осудил, потому что знают, кто вы...

Никаныч побледнел, и вырвалось у него:

— А что, Ваня, правда, знают, кто я... знают?

— Знают, конечно.

— И учителя знают?

— Конечно, знают.

Никаныч замолчал, поникший, сидел он на лавочке.

— Все-таки, знают, — чуть слышно вымолвил он.

Ваня, исподлобья посмотрев на бледного потерявшегося Никаныча, продолжил:

— Мне сегодня ночью приснился сон... сон, о котором и рассказывать, может, не стоит, но я расскажу... Я слышал где-то, а может и читал, не помню, что сон есть перерабатывание нашей будничной действительности, и, что, если мне снится что-нибудь гадкое, противное и страшное, то это хорошо; значит, мой мозг переработал мою дневную боль, страх: я испугался во сне, и тем самым очистился, и, что если бы этот сон не приснился, тогда я сошел бы с ума — мозг бы не выдержал тех мыслей, которые преследовали меня днем... Не знаю, правда ли это, но думаю, от

таких ужасных снов сойти с ума можно гораздо вернее, чем от дневных страхов. Ведь во сне страх гораздо гуще и насыщеннее... Может, я сейчас и говорю не то... — Ваня на время замолчал. Собравшись с мыслями, он продолжил: — Это был очень страшный сон, и очень яркий. Я хорошо его помню. Тем более, что этот сон касается только меня и вас. В нем больше никого не было... Вам это интересно? — Ваня посмотрел на Никаныча. Тот курил и, казалось, совсем не слушает сейчас Ваню, а думает о чем-то своем.

— Что?... Нет, нет, Ваня, продолжай. Мне интересно, — очнувшись, спохватился Никаныч и, словно утешая, нежно взял его руку. Ваня не сразу убрал ее. Тонкие пальцы Никаныча чуть ощутимо ласкали Ванину ладонь... Опомнившись, Ваня резко одернул руку и засунул ее в карман куртки.

— Мы так же, как и сейчас, разговаривали, — продолжил он, — только не сидели на лавочке, а гуляли по какому-то парку... Странно, я помню, что мы разговаривали, помню выражение вашего лица, ваши жесты: вы так же трогали мою руку.

Никаныч улыбнулся, совсем незаметно.

— Я руку то убирал, то позволял вам трогать ее... Но я не могу вспомнить, о чем мы говорили. Одни лишь картинки.словно немое черно-белое кино... Говорят, что цветные сны сняться шизофреникам. Мне ни разу не снились цветные сны, и, если честно, немного об этом жалею. Не подумайте, я не жалею, что я не шизофреник, просто хотелось бы увидеть цвет; хотя и черно-белые сны очень живые, до боли живые... Мы шли по какому-то парку... Это был очень странный парк: много деревьев, и все голые, голые не потому, что весна или осень, деревья были буквально голые — без коры и без листьев, но я помню, что деревья были живые... Гладкие стволы и ветви; и переплетались ветви так густо и так странно, словно это было одно дерево, но со множеством стволов. По крайней мере, мне

так показалось. Стволы росли из земли, их было очень много, и заканчивались вверху ветвями, крепко переплетенными между собой в один громадный клубок. Даже неба не было видно... Меня очень это удивило, я не понимал — день это или ночь; а вас почему-то не удивляло. И поражаюсь я: почему для меня эта загадка, а для вас — нет. Пожалуй, я и спрашивал вас об этом. Вы улыбались, хлопали меня по спине, смеялись, точно я какой-то глупый ребенок и не понимаю простых вещей. А меня это и пугало, и злило. Я хотел понять, почему вас это не волнует — что деревья голые и запутанные ветвями в клубок, будто не корни главное у них, а ветви, и растут они не из земли, а из этого клубка... — Ваня на секунду смолк, лицо его перекосилось, точно он только что осознал свои слова: — И эти деревья.... Точно без кожи... живые, — с болью выдавил он. Дальше Ваня говорил чуть слышно, будто самому себе: — А вы продолжали смеяться и хлопать меня по спине. Мы зашли уже в самую глубину парка, и вам стало так от этого весело, и всем видом вы говорили, что дорогу знаете только вы. И убежите вы сейчас от меня — заблужусь я и обратно дороги не найду. И, как в детской игре «догонялки», вы хлопнули меня по плечу, засмеялись и побежали. Я очень испугался; испугался, что не выберусь из этого страшного парка *без вас*. Я озлился, озлился на вас, что вы понимаете все, а я нет, что для вас я просто глупый ребенок. Я четко это почувствовал — что для вас я не человек, а глупый ребенок... Хотя ребенком тогда были вы, а я, напротив, был очень серьезен. И вы не просто убегали, вы дразнили меня, показывали язык, корчили рожицы, шариками какими-то в меня кидались. Меня это совсем разозлило. Вы издевались надо мной, над моей серьезностью. Я побежал за вами, побежал, чтобы убить вас. Убить вас за ваш смех. Но я не мог вас догнать... Не знаю откуда, но в моей руке оказался нож... Я бегал за вами с ножом в руке, я это помню. Вы убегали, дразнили меня и

совсем не боялись. Я даже заплакал от злости — вы меня не боялись! Какая это была пытка: я носился за вами с ножом и не мог вас догнать. Мне хотелось, чтобы вы боялись меня... а вы и не думали этого делать... — Ваня покраснел, глаза его стали влажными, отвернувшись от Никаныча, он украдкой вытер слезы и, вдруг преобразившись, продолжил: — И вот, уставший, злой, я догнал вас, или вы сами захотели, чтобы я вас догнал. Но факт был — я вас догнал и с силой воткнул в вас нож... и почувствовал такую боль и ужас. Я лежал на земле, вас рядом не было, и нож, который должен быть в моей руке оказался у меня между ребер.

Такой яркой боли я еще не чувствовал. Нож медленно входил мне в спину между ребер, и видел я, как острие подходит к моему сердцу. Трудно это описать: я лежал лицом вниз, мне в спину входил нож, но в тоже время я *видел* его лезвие, проходящее сквозь мясо и касающееся моего сердца... То, что я сразу проснулся, — ничего не значило; чувство, что во мне нож, и вид его лезвия возле сердца — все это я осознал, уже проснувшись. Правда, недолго... но было это уже не во сне... — Ванино лицо искривила гадливая гримаса. — Простите меня, Николай Иванович, меня тошнит. — Спустившись с лавочки, Ваня сел на корточки, но очистится у него не получилось. Посидев так, он поднялся. Его мутило, голова кружилась. — Николай Иванович, мне плохо.

Вскочив, Никаныч усадил Ваню на лавочку и, сев рядом, обнял его и, утешая, стал гладить его светлые мягкие волосы.

— Ваня, ты просто перенервничал, — утешал Никаныч, — это все пройдет. В этом нет ничего страшного.

— Ничего страшного?! — вдруг встрепенулся Ваня. — Вы говорите, в этом нет ничего страшного?! Вы... — Ваня с ненавистью врезался взглядом в Никаныча. — Вы... — слюна выступила на его губах. — Я вас ненавижу. Все из-за

вас, — щеки его заалели, и в глазах, снова влажных, появился болезненный блеск. Скукожившись, Ваня снизу, затравленной собачонкой, смотрел в лицо своему классному руководителю. — Что, добились? — в тихой истерике выдохнул он.

— Ваня, ничего я не добивался... — Никаныч, ошарашенный столь резким переходом, терялся в словах; никак не ожидал он, что вот так все обернется. Не этого он «добивался».

Ваня молчал. Глаза его, неотрывно сверлившие Никаныча, выражали одну тупую ненависть.

Молчание длилось довольно долго. Взяв себя в руки, Никаныч достал сигарету и закурил; он не успокаивал Ваню, не лез к нему с утешениями, понимая, что это вряд ли успокоит Ваню, лишь обострит его ненависть.

Молчание нарушил Ваня. Откинувшись на спинку лавочки, он как-то обмяк, краснота спала со щек, бледный, он рассеяно шарил воспаленными от напряжения глазами по пустынной улочке. Казалось, люди не жили на ней; никто не входил и не выходил из подъездов, даже машины не заезжали сюда, если не считать такси, привезшее Никаныча.

— Как в том парке, — негромко произнес Ваня, — никого, только мы... И выход знаете только вы один... — Видно, что-то еще он хотел сказать, что-то важное и, казалось, запретное. Губы его вздрагивали, готовые уже говорить, но тут же сжимались плотно, и глаза стыдливо блуждали по безлюдной улочке.

— Николай Иванович, — голос Ванин дрожал. Трудно ему было решиться, но он решился, голос его окреп, и дальше Ваня говорил совсем спокойно: — Николай Иванович, простите меня, я не хотел вас обидеть, просто сломался я... первый раз мы вот так, вдвоем, сидим, разговариваем. Признаюсь вам, я всегда относился к вам очень хорошо... я даже мечтал (только поймите меня правильно), чтобы вы

были моим папой — правда. Вы такой хороший, добрый. У меня никогда не было отца... конечно, он был; я даже его чуть-чуть помню; ведь когда его зарезали, мне тогда пять лет было.

Я всегда завидовал мальчишкам, у которых был отец *по-настоящему*. Мне было до боли завидно, когда я видел, как кто-нибудь из мальчишек со своим отцом шел на рыбалку; мне так хотелось тоже пойти *со своим* отцом на рыбалку...

У меня об отце только одна память осталась; даже смешно вспомнить. Мы ехали с ним на машине, у нас была машина; ее отец тоже проиграл. Не помню, куда ехали, зачем; помню только, что мне очень сильно захотелось в туалет. Я очень просился в туалет, а отец не мог остановить машину, не знаю, почему не мог, нельзя, наверное, было. Потом мы, конечно, остановились, я выскочил из машины... я так долго писал... Отец тоже вышел по нужде; и он уже вернулся обратно в машину, а я все стоял и не как не мог остановиться, будто я море до этого выпил... Смешно, правда? Вот и вся моя память об отце. Даже фотографии ни одной отцовской не осталось. До сих пор не понимаю, зачем мама сожгла все фотографии, где был отец, даже свадебные, даже где он со мной. Не понимаю этого... А она не говорит...

Этой ночью я тоже об отце вспомнил. Зарезали его, понимаете, зарезали. И меня же тоже во сне зарезали. И он игрок был; и уверен, что от него мне азарт к игре перешел. Почему я только этой ночью это понял? Почему играл, почему довел себя до такого. Ведь мне теперь нет пути назад... нет у меня будущего... И не говорите, что все хорошо. Все плохо, все очень плохо. Ведь мне еще один сон приснился. И он был куда страшнее и противнее. Не оттого, что он был ужасным, а наоборот — противно-то стало, когда проснулся... Хорошо мне было в этом сне... с вами хорошо.

Никаныч заволновался.

Ваню передернуло, скорчило аж всего от отвращения.

— Почему все так? — сквозь дрожь выдавил он. — Почему-у?.. И тогда, когда вы обняли меня, и вот сейчас, когда трогали мою ладонь, мне тоже стало хорошо... — Ваня тяжело задышал. Вновь каждое слово давалось ему с мучительным усилием. — Это же получается, что и я гомосексуалист... как вы, — Ваня прямо посмотрел в глаза Никанычу.

— Ну что ты, Ваня, — губы Никаныча скривились в смущенной улыбке. — Здесь нет ничего удиви... — Никаныч запнулся. — Нет здесь ничего страшного, — нашелся он. — И гомосексуализм не такая уж и беда. — Осторожно, будто прошупывая каждое слово, продолжал он. Никаныч очень боялся: боялся, что Ваня опять что-нибудь отчебучит. Но, видя, что Ваня слушал его спокойно и даже с видимым интересом, Никаныч успокоился, и речь его текла далее ровно и уверенно. — То, что нам прививали с детства, что гомосексуализм, это что-то ужасное и неестественное, это не совсем верно, если не сказать — совсем не верно. Ты, Ваня, как человек умный и начитанный, наверняка знаешь, что вся культура древней Греции именно и строилась на *взаимоотношениях* учителя и ученика. Мужская красота превозносилась очень высоко и ценилась куда более женской. Мужская любовь была не просто любовью, не просто влечением, она зиждилась на дружбе; а самая преданная, самая настоящая дружба первым делом несет в себе любовь. А на любви держится вся наша жизнь. И только искренняя, настоящая любовь способна дарить людям радость и нежность.

Ведь, если вдуматься, сколько зла совершили люди ради женщин — вспомни хотя бы Трою. Любовь к женщине, если это вообще можно назвать любовью, есть только животный инстинкт к продолжению рода; страсть и похоть — вот более точные слова, но если есть страсть и похоть, люб-

ви здесь нет места. Инстинкт продолжения рода изначально присущ животным, но мы люди; а любовь, нежная любовь, свойственна только людям, одухотворенным существам; поверь мне здесь не как биологу, а как человеку. И благодаря *этой настоящей* любви мы можем наслаждаться божественной музыкой Шуберта, Чайковского... Музыка... Музыка и любовь — слова тождественные. Без любви нельзя создать прекрасное и божественное... Тебе нравится музыка Фредди Меркури, Элтона Джона? — Ваня согласен кивнул. — Вот видишь, — Никаныч вдохновенно вздохнул и глубоко затынулся. — И таких примеров много. Именно мужчины — я говорю о настоящих мужчинах — подарили нам настоящую музыку. Понимаешь меня, мой хороший человек, — рискнув, Никаныч осторожно коснулся Ваниных волос. — Ну, вот видишь, а ты говорил, — заключил он весело и очень нежно. — Если тебе интересно... — с тихой дрожью, и даже боязливостью, предложил Никаныч, — только пойми меня правильно, эти книги стоит прочесть. Ты знаком с творчеством Оскара Уайльда, Марселя Пруста? Нет? Это удивительные писатели, очень рекомендую тебе с ними познакомиться. Вот где красота языка, вот где настоящая литература. Так же много есть и греческих авторов... Чтобы говорить о предмете, его стоит поближе узнать и лишь только потом заявлять о нем так категорично, — закончил он совсем уж игриво.

— Вы хотите сейчас познакомить меня поближе с этим... — Ваня чуть не сказал: «с этим *предметом*», — с этими греческими авторами? — как-то странно выговорил он.

— Ну, зачем ты так, Ваня, я же ничего плохого не имел в виду, — сразу же насторожился Никаныч.

— Наверняка, они у вас дома, — проигнорировав Никанычеву реплику, продолжал Ваня. — А вино у вас есть?

Никаныч совсем потерялся. Ваня поражал его все больше и больше. И не знал он теперь, что ему говорить и как себя вести.

— Я могу купить, — вырвалось у Никаныча помимо его воли.

— Тогда пойдемте, — поднявшись, Ваня без стеснения смерил Никаныча изучающим взглядом. Глаза Ванины сузились, губы плотно сжались, и то, что Ваня был явно не в себе, откровенно читалось на его бледном лице. Что-то роковое чувствовалось и в голосе. Тихий азарт владел Ваней, даже какое-то увлечение; словно Ваня, доведя игру до большой ставки и уже не желая пасовать, на ничтожной карте поднял ставку до невозможного, уверенный, что противник испугается и бросит игру.

Никаныч видел все это и чувствовал, но, сам не зная почему, подчинился и, словно приняв условия игры, поднялся следом. Этот мальчик за последнее время задал ему столько загадок и выдал столько открытий, что понимать его Никаныч был уже не в состоянии. Признаться, с таким юным и непредсказуемым в своих чувствах и поступках созданием он дела никогда не имел, пожалуй, даже в мечтах.

Разумом Никаныч понимал, что лучшее, что сейчас стоит сделать, это распрощаться с этим «милым» мальчиком и, прощаясь, обязательно убедить его, что он, Николай Иванович, вовсе не тот, кем его считают некоторые люди, а совсем наоборот: обычный мужчина, который, кстати, скоро женится и все такое... Но, понимая все это, думая об этом, он никак не мог на это решиться, отказаться, уйти в сторону. «Ведь, как бабочка на огонь, лечу.. Просто с ума я, что ли, сошел? Ведь от этого ребенка ждать можно все, что угодно», — и тут же ловил себя на мысли, что потому и идет, *что ждать можно все, что угодно*. «Вот и вина попросил и про сон рассказал, и что хорошо ему было... и такой он милый и хорошенький, а в безумстве своем просто прекрасен...» — словом, мысли Никаныча были до того противоречивы и сумбурны, что кончилось тем, что, уже подходя к лифту, он мысленно вверил себя в руки форту-

не, решив: «Будь, что будет. В конце концов, надо же когда-нибудь начинать делать глупости». Слишком ему хотелось сейчас ласкать этого мальчика, слишком. Опьяненный этим желанием, он порешил не думать о плохом, а положиться на свой опыт и интуицию.

Ваня был, как будто, спокоен. Крепко, словно оберег, прижимал к груди бутылку «Кагора», глаза его смотрели куда угодно, только не на Никаныча. До самого лифта они шли молча, не глядя, точно стесняясь друг друга. На первый взгляд, могло показаться, что они недавно крепко поссорились и теперь, понимая, что примирение необходимо, каждый ждал, что первым шаг к примирению сделает другой. Все время пути от магазина к лифту на губах Никаныча блуждала тихая, чуть виноватая улыбка, и глаза лишь изредка, и как-то воровато, поглядывали на Ваню, но так, чтобы ни-ни, чтобы не встретиться с *его* глазами.

Лифт, к раздражению обоих, спускался долго. Но когда открылись двери, и Никаныч, и Ваня стояли в нерешительности, никак не желая входить первыми, словно от этого, первого, шага зависело все дальнейшее.

Двери закрылись.

— Бог мой, Ваня, как дети малые, честное слово! — весело всплеснул руками Никаныч. — Закрывшись, лифт вывел его из неловкого оцепенения. — Как дети малые, — повторил Никаныч совсем весело. Улыбнулся и Ваня, но улыбнулся так странно, что и не понятно — от радости он улыбнулся или просто ради приличия.

Уверенно Никаныч нажал кнопку вызова. Двери вновь открылись, и теперь, исключительно из вежливости, Никаныч слегка подтолкнул Ваню в кабину лифта.

Сперва Ваня заартачился, плечами брезгливо повел, но тут же, подобно герою, гордо входящему на эшафот, твердо ступил в лифт и твердо решил: «Жребий брошен».

В лифте ехали как два чужих, незнакомых человека. Никаныча это ужасно напрягало, он пытался улыбаться:

понимал, что совершает сейчас откровенную глупость. Оттого улыбка его становилась до безобразия заискивающей, тем более, что Ваня демонстративно не замечал его: стоял, гордо держа осанку, и бутылка «Кагора» в его руках более напоминала оружие, чем обычную бутылку вина. На восьмом этаже лифт остановился. Подобно герою, Ваня первым вошел на площадку; следом, сконфуженный до предела, Никаныч. Именно сейчас он больше всего не хотел никакой *связи* с этим *пугающим* его мальчиком. «Книги, чай, никакого вина, отвлеченный разговор на отвлеченные темы... и все».

Около двери он мельком взглянул на Ваню — вид его не предвещал ничего хорошего.

«Но *таким* отпускать его тем более нельзя... чай... и все» — решив так, он открыл дверь и вошел вслед за Ваней в свою квартиру.

XIII

Квартира была вполне просторной и в духе времени. Чистота царила идеальная. Стены, оклеенные светло-голубыми обоями, украшали откровенные репродукции Бердслея. Увидев их, Ваня нисколько не удивился, он так и предполагал, что, войдя, увидит нечто подобное. Кухни, в обычном понимании, не было: верхняя часть стены, отделявшей кухню от комнаты, была снесена, нижняя же была переделана в стойку бара, на которой очень живописно стояло с десяток всевозможных по форме и цвету пустых бутылок. Мебели было немного: возле стены большой кожаный диван, у окна, с выходом на лоджию, рабочий стол с компьютером, по центру — круглый стол, несколько стульев в стиле модерн, и неисчислимое количество полок и полочек, очень стильно развешанных по стенам и замечательно гармонизировавших с репродукциями Бердслея. Помимо книг,

на полочках красовались всевозможные статуэтки, вазочки, шкатулочки, словом, человеку, впервые попавшему в эту квартиру, первые минуты ничего другого не оставалось, как только разглядывать, рассматривать, охать и ахать, приятно удивляясь безупречному вкусу хозяина квартиры. Женщины, так просто умирали от восторга.

Скинув туфли, Ваня демонстративно не замечал всей этой стильности, сразу же уселся на диван и, не отнимая от груди бутылку «Кагора», вопросительно уставился на Никаныча. Вид его, обнимающего, точно святыню, бутылку, был до того вызывающий и... комичный, что Никаныч невольно всплеснул руками и благодушно рассмеялся.

— Ваня, ну что ты держишь ее как... ну, я не знаю, с чем и сравнить. Дай мне ее. — Подойдя, он попытался взять у Вани «Кагор». Делом это оказалось непростым: с ненавистью пожирая взглядом Никаныча, Ваня крепче вцепился в бутылку. — Ну, как знаешь, — уже серьезно произнес Никаныч и, отойдя, сел напротив Вани, оседлав один из стоящих по центру стульев.

— Вы мне обещали книги, — сквозь зубы процедил Ваня, продолжая душить в своих объятиях бутылку.

— Фу-у-ты, ну-ты, — выдохнул Никаныч, поднялся нехотя и подошел к окну.

— Наверное, будет дождь, — произнес он, тяжело вздохнув.

— Ваня, что происходит? — Никаныч не глядел на Ваню. — Что происходит, что я сделал тебе? Из-за чего ты так ненавидишь меня *сейчас*. Я не знаю, Ваня, не знаю... За что ненавидят меня Быков и ему подобные, это мне понятно, но ты... К чему весь этот фарс, это вино, книги, сны... Я обычный человек, обычный учитель биологии, работающий в обычной школе и живущий, к огромному сожалению, совсем в не обычной стране...

У меня такое чувство, что пришел ты лишь за одним... Я почему-то верю — именно сейчас мне пришла в голову

эта мысль — я верю, что ты пришел, чтобы убить меня. Странно, не правда ли... Буквально неделю назад, на улице, на столбе, я прочел объявление; я помню его дословно:

«За умеренную плату разберусь с любым учителем», — и телефон. — Никаныч вдруг усмехнулся, тотчас же ему захотелось продолжить — Не ты ли, Ваня, тот самый человек, готовый за умеренную плату разобраться с любым учителем? — Но вслух этого он не произнес, лишь еще раз усмехнулся. Помолчав с минуту, Никаныч продолжил: — В школах работают одни женщины, зарплата маленькая, уважения еще меньше, если вообще вам известно, что такое уважение. Я не жалуюсь тебе, Ваня, совсем нет. Так, что-то нашло на меня... Ты действительно думаешь, что таких, как я, нужно убивать?

Ответа не последовало.

— Раньше, когда смотрел американские фильмы, удивлялся, не верил, что у них, у американцев, все так страшно: в школах наркотиками торгуют, проституция, учителя на уроке можно оскорбить, даже избить! а учитель, в свою очередь, и слова не имеет право сказать... А когда я впервые пришел работать в школу, в обычную российскую школу, все, что я раньше видел в американском кино, я увидел воочию здесь, в России... Теперь я уже не удивляюсь — привык. И, так же, как и тебе, мне страшно — не за себя — за вас. Что будет с вами? Вы не любите читать, не умеете думать, мечты ваши просты, желания обычны... Я не обвиняю лично тебя, Ваня. Тебя мне не в чем обвинять, да и незачем. Ты сломался, точнее, тебя сломали. И вымещаешь свою обиду ты почему-то на мне. Почему-то все мы вымещаем свою обиду на тех, кто меньше всего готов дать отпор: на своей матери, друге, на тех, кто по-настоящему любит и по-настоящему умеет прощать. Конечно, я тебе не мать и не... н-н-да-а... — протянул загадочно Никаныч. — Прости меня, Иван, прости... плохой я, видать, учитель, и совсем мне не место в школе. Не место. — Ни-

каныч обернулся. Ваня, откинувшись, сидел на диване и плакал. — Ваня, перестань, что ты...

— Я... я, — зашелся в слезах Ваня, — я, правда... я думал, вы приставать ко мне будете, а я вас по голове... бутылкой. Я правда... меня сломали... И я на вас... вымещал... — дальше Ваня говорить не мог.

Вновь тяжело вздохнув, вздохнув произвольно, Никаныч подошел к Ване, принял у него бутылку и, вернувшись к окну, поставил ее на подоконник.

— Я боюсь... мне страшно... меня никто не любит.

С нескрываемой жалостью Никаныч смотрел на размокшего, жалкого в своем плаче Ваню. Не было у Никаныча сейчас желания утешать его. Такую жалость, какую он сейчас испытывал к Ване, испытываешь, когда смотришь на больную, умирающую бездомную собаку, жалко ее, а вот брать ее к себе домой и выхаживать что-то не тянет.

Заметив этот взгляд, Ваня совсем потерялся. Поднялся, вытер слезы и пробубнил:

— Мне пора домой. Я пойду.

Никаныч не ответил.

Потоптавшись на месте, Ваня вдруг произнес:

— А можно я сейчас останусь... Вот вы сейчас смотрите на меня таким взглядом, с таким презрением... — и, не докончив, с надрывом выдохнул: — Что моя жизнь? Что моя жизнь, если такая она страшная, такая больная! Зачем она?.. — И вдруг неизвестно к чему, совсем другим голосом закончил: — Я хочу в туалет.

Молча Никаныч указал Ване на туалет. Туалет был совмещен с ванной, и, когда уже Ваня зашел туда и защелкнул щеколду, Никаныча осенило. Не медля, он бросился к запертой двери, забарабанив в нее ладонью, закричал:

— Ваня, не смей! Ваня, открой дверь!!! Ваня, я запрещаю тебе это! Ваня!!!

Дверь открылась сразу же, и испуганное Ванино лицо удивленно смотрело на одуревшее от испуга лицо Никаныча.

— Ванечка, миленький, я думал... Ванечка.

Ваня, ошарашенный, стиснутый в крепких объятиях Никаныча задушенно прошептал:

— Я хочу писать.

— Писать?! Конечно, писать, конечно, — засуетился Никаныч. — А я уж подумал... Ванечка, конечно, пидай. И что это я в самом деле. — Отпустив его, Никаныч отступил на шаг, все время повторяя: — Конечно, конечно, что же это я совсем уже...

Вновь Ваня закрыл за собой дверь. Никаныч, затавив дыхание, прильнул к ней ухом. За дверью послышалось мирное журчание, дальше шум воды, спущенной из бочка.

Когда Ваня вышел из туалета, Никаныч уже стоял на приличествующем расстоянии и виновато улыбался. Страх, что Ваня покончит с собой, довел Никаныча до умопомрачения. И вот сейчас, чувствуя себя чертовски нелепо, полнейшим идиотом, он стоял перед Ваней, совсем не чувствуя не только пола, но и ног.

Вывел его из этого состояния звонок в дверь. Почему-то оглянувшись по сторонам, Никаныч вопросительно взглянул на Ваню.

— Кто бы это... — скривив удивленно губы, Никаныч так и замер, будто его парализовало.

— Давай, Ваня, не будем открывать, — тихо предложил он. — Они позвонят и уйдут, а мы чайку попьем.

Не ответив ему, Ваня неровно подошел к входной двери. Выглядел он устало, словно после тяжелой физической работы.

— Я пойду, — промолвил он, тяжело садясь на скамеечку и надевая туфли.

В дверь позвонили еще раз.

Подойдя и посмотрев в глазок, Никаныч открыл дверь.

— Здравствуй, Андрюша, проходи, — устало улыбнувшись, пригласил Никаныч.

Войдя, Андрей Андреевич слегка ухмыльнулся и игриво произнес:

— Да вы тут, батенька, не одни...

На это Никаныч сделал жест рукой, прося Андрея Андреевича не продолжать.

Андрей Андреевич понимающе прижал палец к своим пухлым губам и, подмигнув, растянулся в хитрой улыбке.

Бочком обойдя гостя, Ваня молча вышел из квартиры.

— Ваня, — остановил его Никаныч. Ваня обернулся, лицо его показалось Никанычу до того бледным, что первый порыв его был остановить Ваню, но, одумавшись, он лишь, слегка замявшись, произнес:

— Ваня... ну ты понимаешь...

Ничего не ответив, Ваня быстро стал спускаться по лестнице.

Постояв и послушав с минуту его удаляющиеся шаги, Никаныч закрыл дверь.

Что может быть завтра, об этом думать он не хотел, да и боялся. Слишком не весело все складывалось, совсем не весело.

— Сколько там времени? — вернувшись в зал, спросил он у Андрея Андреевича.

— Да уж пять минут седьмого.

— Давай-ка, Андрюшенька, выпьем. У меня был такой ужасный день. Ты просто не представляешь. Я хочу напиться... и умереть, — заключил Никаныч уже в объятиях своего друга.

XIV

Муся, как и обещал, пришел к Абрамчику в шесть часов вечера.

Впустив Мусю в квартиру, Абрамчик, только и сказал:

— Ром, короче, давай сам... — и тут же метнулся к себе в комнату. «Давай сам» значило, что Мусе предоставлялось раздеться вне присутствия Абрамчика.

Сняв куртку, туфли, Муся зашел сперва в ванную, вымыл тщательно руки, и только после, не суетясь, прошел в комнату Абрамчика.

Окна были наглухо зашторены, и в темноте комнаты, в ярком свете огромного телевизора, на полу, нервно вцепившись в джойстики, как два китайских болванчика, сидели Абрамчик и Макс.

— Блин-н-н-н... — глухо взыв, Абрамчик резко повел руками влево и, чуть не саданув ими себя по колену, выдохнул: — На, на получи — на... Вот тебе!!!

Макс был более сдержан, работали только его пальцы.

— Привет, пацаны, — поздоровался Муся.

— Привет, — не оборачиваясь, выпалили Абрамчик и Макс одновременно.

Сев на диван, Муся равнодушно глянул в телевизор: там, на фоне средневекового замка, маленький шустрый китаец, визжа и бойко размахивая нун-чаками, дубасил неповоротливого получеловека с обезьяньей мордой и длинными волосатыми ручищами, вооруженного увесистым топором. Кончилось тем, что обезьяна, схватив китайца, треснула его сначала лбом, затем шмякнула об пол и, напоследок подпрыгнув, раздавила бедолагу своим огромным могучим задом. На экране крупными буквами вылезло: **Game over.**

— Все, гамовер, — махнул рукой Макс и отложил джойстик.

— Недолго музыка играла, недолго Дима танцевал, — заключил с дивана Муся и жалобно попросил: — Мальчики, может, хватит, — и далее грозно: вырубай машину. Спать!

— Классная игрушка, — развернувшись к Мусе, довольно выдохнул Макс. — Сыграешь?

— Нет, мне больше стратегические игрушки нравятся, — отказался Муся и напомнил: — Может, лучше оставим эти виртуальные штучки и сыграем в настоящую игру?

— В карты, что ли?

— Нет, Абрамчик, есть игры гораздо интереснее, где нет ни дополнительной энергии, ни второй жизни, и где, если уж и вылезут слова Game over, или, как Макс выразился: «гамовер», то уж вылезет наверняка... Ты это классно придумал, я бы не догадался.

— А че тут думать, если там так написано.

— Ну, и во что? — напомнил Абрамчик.

— В дочки-матери, до первой крови, — шутки ради, ляпнул Муся и затем серьезно: — Вы что, забыли, зачем мы здесь? Если честно, я хочу женщину. И кто-то сегодня обещал снять проститутку, накрыть стол... Еще и про клуб кто-то что-то говорил. Дима, ты не помнишь? — и Муся хитро посмотрел на Абрамчика.

— Точно, Дима, было, — вспомнил Макс.

— Ну... Что-то... может в компьютер, у меня и стратегические игры есть...

— Что я слышу, Дима: Дима Абрамов, самый маньячный сексуал нашего городка, отказался от женщины ради этого ящика! — поднявшись, Муся подошел к телевизору и бесцеремонно выключил его, причем сделал это по старинке, вынув штепсель из тройника.

— Муся, ты че делаешь! — завопил Абрамчик. — Телек сожжешь!

— С какой такой радости я должен его сжечь?.. Так, Дима, не придуривайся, признавайся: обещал сегодня вечер знакомств — клуб, девочки, ананасы в шампанском, или нет?

Взглянув на Макса, Абрамчик увидел, что поддержки от того не дожدهшься. Прижатый к стенке, он не смирился. Но, дабы отделаться малой кровью, заявил:

— Парни, я за слова отвечаю: девочки, вино, все как положено, но согласитесь — *что* нам шататься по клубам,

когда матушка моя в Москву укатила и вернется только завтра вечером...

— Нет, Абрамчик, подожди, я помню, ты про клуб, что-то говорил.

— Да я и не отрекаюсь от клуба, только время сейчас — семи еще нет. Чего нам так рано там делать, пойдем туда к девяти, а так рано-то, чего идти?

— А до девяти прикажешь в телек пялиться...

— Нет, но, можно и в телек, Макс...

— Хорошо, Дима, — Муся пошел на уступки. — В девять — в клуб. А сейчас вызывай девочек! За пару часов мы успеем, правда, Макс?

— Легко! — Заверил Макс Абрамчика.

— Пацаны, все-таки, может... ведь проститутки сопрут еще что-нибудь...

— Дима, их трое, нас трое, мы будем за ними следить, правда, Макс? — обрубил Муся последний довод Абрамчика.

— Дима, которая будет со мной, ей будет не до воровства, — заявил в свою очередь Макс и взглянул на Абрамчика так, что крутиться дальше было бесполезно.

Достав из ящика стола газету объявлений, раскрыв рубрику «Досуг», Абрамчик взял телефон, набрал номер и, протянув трубку Макс, нехотя произнес:

— У тебя голос получше, закажи ты.

— Ну, давай, — бодро взяв трубку, Макс прижал ее к уху.

— Алло, — донесся из трубки молодой женский голос.

Макс сразу же нажал кнопку сброса.

— Давай лучше сначала вина, — небрежно заявил он.

Абрамчик ухмыльнулся, но, встретив взгляд Макса, осекся и быстро вышел из комнаты.

— Чего это он ухмыльнулся? — с вызовом обратился Макс к Мусе, спокойно сидящему на диване и бесцельно осматривающему комнату Абрамчика.

— Наверное, он решил, что ты испугался звонить.

— Я? Испугался? Это с какого такого перепуга я испугался звонить?

— Наверное, потому, что ты ни разу не звонил, — ответил Муся, продолжая рассматривать комнату.

— Ничего я не испугался... Абрамчик! — громко позвал Макс. — Музыку включи какую-нибудь. И где там вино?

Комната у Абрамчика была небольшая и до предела заставленная, бульшую часть занимал огромный диван, на котором сидели Макс и Муся; напротив дивана, у стены, огромный телевизор; у окна письменный стол с компьютером; и возле входной двери шифоньер.

— Может, лучше в зал переберемся, — предложил Муся, а то здесь как-то тесновато; как ты, Макс?

— Пойдем, — пожал Макс плечами.

В дверях появился Абрамчик с бутылкой виски и тремя стаканами в руках.

— Пойдем в зал, Дима, там посвободнее.

Не споря, Абрамчик свернул в зал; следом поднялись Макс с Мусей. Зал оказался более просторным: кожаный диван, два кожаных кресла, журнальный столик, бар, у окна телевизор, музыкальный центр, и неисчислимое количество цветов, висящих и стоящих где только было можно.

Войдя в зал, что Макс, что Муся сразу же заняли кресла, Абрамчик в это время наполнял стаканы шотландским виски.

— Никогда не пробовал виски, — признался Макс. — Вкусное?

— Попробуй, — предложил ему Муся.

— Все таки, пацаны, вы неправильно на меня наехали...

— А как правильно? — перебил Муся Абрамчика.

— Я в смысле...

— Ты хочешь сказать, что это не из-за твоего языка вся школа узнала про расписку, и что не ты разбрехал всем и каждому, что Ваня продул нам в карты...

— Не, Мусь, я не то...

— А что? — по-детски наклонив голову и «сделав глазки», Муся чуть ли не вплотную приблизил свое лицо к Абрамчику. — Ты хочешь сказать, что Матрена вместе с Никанычем сидели в кустах и подсматривали, как мы в карты играли?

— Ром, я тебе клянусь, — это Ваня стуканул, да с чего бы Матрене знать про...

— Про то, что ты пинал Ваню ногами, заставлял его писать расписку, — подсказал ему Муся.

— Да нет же, ты вот не слышал, а Макс подтвердит, что она говорила, что мы Ваню домогались...

— А, — отмахнулся Муся, — какая теперь разница, кто что говорил. Игра закончилась, и мы в нее проиграли — гамовер, полный гамовер.

— Ваня, что ли, выиграл?

— У Вани тоже гамовер, — Мусе слово так понравилось, что употреблял он его теперь при каждом удобном случае. — А выиграл как раз тот, кто должен был проиграть наверняка... Мне вообще кажется, что наступила голубая эра...

— Ага, — подхватил Макс, — куда мир катится, кругом сплошное гомство. До того уже дошло, что в кино это стало круто. Помните, фильм про боксеров недавно по телеку показывали, «Бей в кость», где этот снимался... ну, он еще в фильме «Тринадцатый воин» снимался.

— Бандерас? — неуверенно подсказал Муся.

— Точно, Бандерас, — вспомнив, воскликнул Макс. — Ну, и что хорошего? Он там играл боксера-педика, и из всего фильма я понял, что половина всех крутых боксеров — педики. Это что, мода, что ли, такая пошла? Про эстраду я вообще молчу. На девчонок наших посмотришь, страшно становится: все хотят — поголовно — чтобы грудь была, чем меньше, тем лучше и чтобы жопа была уже плеч.

— Это унисекс называется, — заметил Муся.

— А по мне это называется, как в той песне поется: «Пидоры идут, гомосеки там и тут». За что я уж этих скинов терпеть не могу, этих панков бритоголовых, но они хоть откровенно против гомства выступают.

— Да, — согласился Абрамчик, — рождаемость падает, кругом СПИД; вымрем все скоро на фиг, и тогда точно гамовер.

— Да, ты прав, Абрамчик, — кивнул ему Макс, — мне вот, честно говорю, за поколение, за будущее наше страшно. Что после нас останется?

— Тост, — Абрамчик поднял стакан. — За поколение. За будущее наше!

Чокнулись. Выпили.

— Дрянь какая-то этот виски, — поморщился Макс. — Дима, у тебя другого ничего нет?

— Полный бар. Тебе чего?

— Пивка.

— Пива, извини, нет.

— Ну, вина тогда легонького.

Поднявшись, Абрамчик подошел к бару и достал оттуда бутылку ликера.

— Ликер будешь, шерри?

— Ликер давай. Он хоть сладкий.

Спиртное возбудило интерес подростков. Тема показалась им настолько актуальной и злободневной, что уже ни о чем другом они и говорить не могли. По десятому разу перемолов утренние события, все трое утвердились в одном: Никаныч — стопроцентный гей, а Ваня просто придурок, и наверняка предрасположенный. Почему подростки так решили?.. Решили и все. Потому что другого быть не могло. Иначе, зачем бы Никанычу так яро за Ваню вступаться? Последнее было главным аргументом.

— А иначе, чего он так за Ваню вступается, — уже подогретый, разглагольствовал Абрамчик. — Не иначе, Ваня сам такой же. Чего такого было на самом-то деле? В карты

играли все — что, в карты, что ли, играть нельзя? Так чего Никаныч за Ваню впрягался? Вот я бы проиграл бы, что, впрягся бы за меня Никаныч? Да не в жизнь! А за Ваню впрягся. Что из этого выходит? — Абрамчик поднял вверх указательный палец. — А выходит то, что свой своего покрывает. И вообще, вспомните, как Ваня себя по жизни ведет: не мужик он! Так что, все тут ясно.

— Я вот только одного понять не могу, — обратился ко всем Макс, — откуда они берутся, эти гомосексуалисты? Рождаются они такими что ли, или потом уже... Вот это вопрос... или болезнь это...

— Ага, и передается она половым путем.

— А чего, Мусь, в этом есть своя соль. — Макс понимающе кивнул головой.

К этому времени подростки выпили уже достаточно, чтобы говорить много, и не важно что, главное, чтобы то, что говорили, было интересно и приятно им самим.

— Слышь, пацаны, — воскликнул Абрамыч, — чего мы об этой гнуси все говорим, тем что ли других нету? Уже час целый только и слышу: гей, гомики, «голубые». Про музыку говорить начнешь — обязательно геев в разговор всунешь, про моду з аговоришь — и тут «голубизна», спорт, кино; да вы чего, парни, взбесились что ли? Зациклились на этих гомиках, будто больше поговорить не о чем. Лучше мы вместо гомиков везде про баб будем говорить.

— Одобряю, Абрамыч, — Муся протянул ему руку. Абрамчик с чувством пожал ее; тут же выпили за женщин.

Но дальнейший разговор про женщин не получились. Не выдержав и пяти минут горячих Абрамчиковых и Мусиных историй об их сексуальных похождениях, Макс тяжело признался:

— Пацаны, мне же скоро 16, а у меня еще и девушки-то не было.

На что и Муся, и Абрамыч даже не засмеялись, и не потому, что опасались Макса обидеть, вовсе нет. Пьяные,

они трепали Макса за плечи, лупили кулаками себе по коленям и клялись, что, поверь, Макс, в этом нет ничего хорошего, все женщины суки. И, вот, сейчас, прямо сейчас они вызовут проститутку, и все сложится. Но поверь, Макс, — убеждали они его, — ничего в этом нет.

— Ну, у меня вот были женщины, ну и что? — расчувствовался Абрамчик. — Что от того? Что в этом хорошего? Я ей цветы, конфеты, а она ноль внимания. А я с проститутками. — Абрамчик до того расчувствовался от резко нахлынувших воспоминаний, что лицо его покраснелось. — У меня уже столько женщин было, а ведь ни одна, ни одна меня не любила. И я с ними только... блин. И все без любви, без чувства. Правильно вот ты тогда, Муся, сказал — все, как у кролика Эннерджайзера — без любви. А я, я любви хочу! — завопил Абрамчик. — А те, кого я люблю, мне не дают!

— Да ладно, Димок, брось ты, и тебя полюбят.

— Никто меня уже не полюбит... У меня уши большие, и ростом я маленький. И если у меня денег бы не было, я бы сейчас, Макс, как ты сидел бы... блин.

— Здесь ты, Дима, прав — признался Муся. — Все должно быть по любви. Думаешь, со мной история лучше? Ничего подобного. А все от чего, все от культуры; культуры у нас нет... да и вообще. — Муся откинулся в кресло и задумался.

— Культура, — эхом отозвался Абрамчик, — что мне эта культура? Я уже второй год Маше Семеновой розы дарю...

— Это из 9 «Б», что ли?

— Да, Макс, из 9 «Б». Даже признаться ей боюсь. Вечером подойду к ее квартире, розу на перила аккуратно положу, в дверь позвоню и спрячусь этажом ниже. А самому вот подойти... боюсь.

— Так это ты тот самый рыцарь печального образа, — задумчиво произнес Муся.

— А ты откуда знаешь?

— А почему бы мне и не знать, когда я с ней уже второй месяц... Блядь твоя Маша Семенова порядочная, признаюсь тебе, Дима. Но сексуальная, — Муся сладко потянувшись, — и минет делает замечательно.

— Ты?! Машу?! Врешь?!

— А чего мне врать? — совсем сладко произнес Муся.

— Не могла Маша у тебя!.. — Абрамчик точно взбесился. Вскочив, он накинулся на Мусю и с размаху засадил ему в челюсть. — Мразь, ненавижу тебя! — визжал Абрамчик. — Сука, — рвался он из крепких максовых объятий.

Если бы Макс не успел схватить его, неизвестно, чем бы все кончилось.

— Макс, отпусти... я цветы, а он...

Потрогав челюсть, Муся сдержанно продолжил:

— Твоя Маша в прошлом году аборт уже сделала от своего соседа и с ним же с девственностью своей рассталась, лет в тринадцать... Если она вообще у нее была.

Спокойствие Муси и его признание охладили Абрамчика.

— Аборт? Макс, отпусти.

— Мусь, извини меня.

— Да ладно, что уж там. — Поднявшись, Муся протянул ему руку. И только Абрамчик, поднявшись, пожал ее, Муся, с левой, всадил ему в челюсть.

— Пацаны, вы чего, охренели? — вскочил Макс.

— Теперь в расчете. — Муся вернулся в кресло.

Упав на диван, Абрамчик зверенышем забился в самый угол. Он не думал, что может кинуться на Мусю, и совсем не ожидал, что, помирившись, пожав другу руку, Муся сможет ему ответить. Это Абрамчика больше напугало, чем удивило. Ладно, сразу бы ответил, но после того, как руки пожали, после того, как помирились... Волчонком он смотрел на Мусю, спокойно наполнявшего свой стакан виски. Абрамчик совсем растерялся: за этот день Муся слишком многое для него открыл; и что теперь ожидать от него, Аб-

рамчик не знал. За несколько часов Муся стал для него совсем другим человеком, не тем, какого он знал еще вчера; по крайней мере, вчера Абрамчик был уверен, что знает Мусю. Теперь уверенности этой в нем не было. Совсем другими глазами смотрел на своего *бывшего* друга. Именно сейчас, в этот самый момент, Абрамчик почувствовал, что ничего кроме презрения Муся к нему не испытывает, что все, что было раньше, было игрой, маской. Да, с другими своими знакомыми, друзьями Абрамчик мог и ругаться, и даже драться, но это было все не то: ругань, драки, все было ненастоящее, после них Абрамчик не чувствовал себя униженным. Все было естественно и видно, что не по-настоящему. А с Мусей... В том-то и дело, что с Мусей все было не так, как с другими. Абрамчик позволял себе материть его, Муся — нет; Абрамчик явно мог выказывать свое превосходство над Мусей, а Муся — нет. Муся всегда был с Абрамчиком сдержан, и Абрамчик был уверен, что эта сдержанность есть Мусино уважение к нему, что-то вроде искреннего уважения, к более старшему и более значительному, младшего любящего брата; а оказалось, все совсем не так. Если бы так вот поступил бы с Абрамчиком Макс, Абрамчик и значения бы этому не придал: ну, он Макса ударил, Макс его — делов-то... Но Муся... И к тому же вот так, после рукопожатий.

Дальше Абрамчик, интуитивно, говорил и вел себя настороженно. Будто перед ним сидел не старый добрый друг, а новый, совсем не знакомый ему человек.

— Так, пацаны, давайте мировую пейте.

Макс наполнил их стаканы и протянул один Абрамчику, другой Мусе.

Оба выпили охотно, Абрамчик даже слишком охотно. И беседа их вновь возобновилась и пошла в том же русле, что и шла, только Абрамчик вел себя теперь не так развязанно. И странно, чем дальше, тем сильнее он ненавидел Мусю, ненавидел... и боялся; ничем вроде бы он это не

выказывал, так же шутил, так же болтал, но теперь он уже ни разу не назвал Мусю Мусей, только Ромой, и не иначе. Он и раньше употреблял прозвище нечасто, а так, иногда, когда с языка слетит. Да и на свое прозвище он спокойно реагировал, но теперь, стоило Мусе произнести вместо Димы «Абрамчик», Абрамчика сразу коробило, резало слух, до ненависти... но говорить что-то против — он не говорил.

— Так, пацаны, чтобы я больше этого не видел, — строго заявил Макс. — И без того проблемы, так еще сами друг на друга кидаемся.

— Все в порядке, Макс, — спокойно произнес Муся и, обратившись к Абрамчику, уточнил:

— Я прав, Абрамчик?

— Прав, — после паузы согласился Абрамчик.

— Дрянь какая-то: из-за бабы дружба ссорятся. Дима, ты уж извини меня, — поднявшись, Муся вновь протянул свою руку Абрамчику.

Возникла странная пауза. Абрамчик не торопился пожать его руку. Муся выдержал эту паузу: хладнокровно он продолжал стоять с протянутой рукой, пока Абрамчик, наконец, поднявшись с дивана, не пожал ее, но пожал не крепко. Муся заметил это, но не выдал себя ни чем. Вернувшись в кресло, он закурил. После выпитого подростки уже ленились выходить курить на кухню, и Абрамчик первым нарушил данное им табу.

— Ладно. Мусь чего там у тебя с Машкой-то было? — возобновил Макс начатый и так неожиданно прерванный разговор.

Возобновил он его исключительно из любопытства, ни обижать, ни оскорблять Абрамчика он ни в коей мере не хотел, ему просто было интересно. По своей простоте Макс совсем не придавал значения тому, что история может ранить Абрамчика. Парни помирились, и все, значит, в порядке. Муся, напротив, все видел и понимал и, чтобы окон-

чательно раздавить Абрамчика, продолжил свой рассказ, приводя самые откровенные и грубые подробности. Зачем он так делал? Вероятнее всего, просто от скуки. Что может быть веселее, чем делать человеку больно, видеть, как тот тихо бесится, но сделать ничего не может.

Для большего накала Муся повернулся к Абрамчику и вежливо спросил:

— Дима, я думаю, ты не бросишься на меня вновь.

— Ладно, пацаны, хорош, — оборвал его любезности Макс, — давай рассказывай.

Улыбнувшись, Муся продолжил:

— То, что Маша блядь, здесь я, может, и погорячился, но что она дура набитая — это факт. Знаешь, Дима, почему она соседу своему отдалась? Она мне сама это говорила: так, чтобы попробовать, и чтобы с девственностью своей расстаться с человеком опытным, который сделает все аккуратно и безболезненно. И, что ее поразило, боли она никакой не почувствовала, а только одно наслаждение. И, что замечательно, Дима, очень ей понравилось минет делать...

— Ну, а с тобой как? — торопил его Макс.

— А со мной вовсе смешно получилось. Это я про первый раз с ней рассказываю. Где-то в октябре это произошло. Тепло еще было. Я ее на улице встретил, совсем случайно; вся хохма в том, что и она, и я в магазин вместе шли за хлебом, возле магазина мы и встретились. Хлеба купили и идем дальше, вроде бы я ее провожаю. Сначала говорили ни о чем — о школе, о кино, о литературе... Они, женщины, почему-то все чертовски любят разговоры о литературе, особенно о поэзии. Меня больше всего развеселило, что она со мной о Лорке разговор завела.

— О ком? — не понял Макс.

— Поэт есть такой испанский. Да не важно. Я обалдел, что она и сама стихи пишет, даже прочитала мне парочку: все про одиночество, про любовь. Я с ней соглашаюсь, что

стихи замечательные, а самого так со смеху и распирает. И думаю: как у нее все это так складно получается — и любовь к минету, и к Лорке, и тут же одиночество, несчастная любовь, и следом же секс с соседом, из любопытства... Не знаю, Дима, от кого мы с Максом произошли, может правда от обезьяны, которую Бог сотворил по образу и подобию своему, как ты выразился...

— Я не говорил — по образу и подобию! — процедил сквозь зубы Абрамчик.

— Вот от кого женщины произошли действительно загадка, — не слушая его, продолжал Муся.

— Муся, ты ближе к делу, — Макс не терпелось услышать главное, все эти разговоры, кто от кого там произошел, были ему не интересны.

— Ладно, ближе к телу, как говорил Мопассан, — раздавив в пепельнице сигарету, Муся продолжил: — Словом, говорим мы с ней о всякой ерунде, больше она говорила, а я с дельным видом ее слушал. И таким я ей показался загадочным, таким странным. И давай она мне рассказывать, какой я странный и какой я загадочный. И до того уже завелась, что спросила, а есть ли у меня девушка, а у самой глазки блестят, я этот блеск сразу вижу.

— Глазастый какой, — чуть слышно буркнул Абрамчик.

Реплика его осталась незамеченной. Муся, как специально, рассказывал не без хвастовства, и это-то хвастовство больше всего и бесило Абрамчика.

— Чувствую я, — продолжал Муся, — что неспроста все эти разговоры про «загадочность», «странность»; и предлагаю я ей, так *загадочно*, с налетом романтизма — пойдем на крышу слазаем и оттуда на город с высоты птичьего полета посмотрим.

— И что, согласилась?! — вырвалось возбужденно у Макса.

— Легко... В лифте ехали молча и в глаза друг другу смотрели. Пока ехали в лифте, я ни разу к ней не прикоснулся,

только в глаза ей смотрел. Словом, поднялись мы на последний этаж; потом по железной лестнице на площадку, где уже выход на крышу, там такой закуточек сексуальный. Как только мы поднялись, я ее сразу без слов обнял и поцеловал. Такая у нее грудь, такая у нее фигурка.

— Ну — и...

— Ну, а потом все, как и положено: платье приподнял, колготки спустил, и все дела.

— И чего, кончил в нее? — на выдохе, с дрожью в голове, выкрикнул Макс.

— Зачем же; после она сделала то, что любит, не меньше, чем Лорку.

— Су-пер! — выдохнул Макс, чуть ли не в экстазе.

Закурив, Муся резюмировал:

— А ты говоришь, цветы, конфеты... Загадочность им нужна, а с ней хоть на крыше, хоть в подвале...

— Блин! Все. Звони проституткам, — Макс протянул Мусе трубку телефона.

Абрамчик все время, пока Муся рассказывал, тихо напивался. Как он ненавидел сейчас «этих двух людишек», как бы он хотел, чтобы они исчезли, умерли, превратились в ничто. Но даже на самое простое, попросить их вон из своей квартиры, даже на это, он не был сейчас способен. Он убеждал себя, что это не от трусости, что лишь из вежливости и из благородства он не делает этого... Задыхаясь от желания выкинуть их вон, Абрамчик встал и, по просьбе Муси, поплелся в свою комнату за газетой объявлений. Вернувшись, он молча положил газету на стол. Набрав номер, Муся вежливо произнес:

— Алло. Досуг? И почему у вас сегодня любовь? Всего 400 рублей час, как мило. Ну, что вы, я сказал мило, а не мало... Нам на час трех девушек. Через 20—30 минут? Хорошо, ждем... Мой телефон? Сейчас, — продиктовав телефон квартиры Абрамчика, Муся повесил трубку.

Сразу же раздался звонок.

— Да, да, именно мы и вызывали... Ага, ждем.

— Ну, что, Макс, через 20—30 минут можешь начинать новую жизнь.

— Пацаны, волнуюсь я, — голос Макса дрожал. Налив себе виски, он залпом выпил полстакана. — Совсем виски не чувствую, словно сок какой-то. Пацаны, такое впечатление, что я трезвею. — Волнение Макса дошло до того, что все его тело трясло в легкой лихорадке.

Странно, но как только вызов был сделан, в комнате воцарилась тревожная тишина. Разговоры замолкли сами собой. Да и о чем можно было говорить, когда вот-вот придут *они*. Даже Абрамчик забыл про свою обиду. Он глядел на Мусю, и ему казалось, что он больше грустит, чем волнуется. В отличие от Макса и Абрамчика, после вызова Мусей овладело не волнение ожидания, а самая настоящая тоска; даже мелькнуло в голове: «Зачем все это?» Отогнав эти мысли, он решил для себя: «Какая разница, все равно пьяный», — но от этого стало еще тоскливее.

Через пять минут молчания Макс не выдержал:

— Ромик, слушай, а вдруг не придут, вдруг кинут. Позвони еще.

— Только пять минут прошло. Сказали же через 20—30 минут.

— А-а, — понимающе протянул Макс и замолчал.

— Я помню, тоже, когда первый раз вызывал проститутку, волновался, — вдруг успокоил Макса Абрамчик.

Он уже, казалось, забыл о ситуации с Мусей. Мгновенно загораясь, Абрамчик так же мгновенно и остывал. Разговор о женщине взвинтил его, но женщины его и успокоили. До конца свои обиды Абрамчик не забывал никогда, просто как-то само собой он умел с них переключаться.

— Поверь, Макс, — уже развязано нравоучал Абрамчик, — ничего особенного в этом нет...

— Ага, нет... а вдруг там какая у них зараза, СПИД или сифилис.

— Не волнуйся, все через презерватив. Даже минет, — знающе заверил его Абрамчик. — Единственное, что гадко, что им это все до фени. У них даже клитор у некоторых сухой... работа такая... Встречаются, конечно, достойные — такие сосочки, такие конфеточки! А, в основном, крокодилы прыщавые... Раз на раз не приходится...

Чем ближе подходило время, тем сильнее возрастало максово волнение. Муся и Абрамчик, напротив: Муся молча курил, полностью ушедший в свои мысли, Абрамчик же, поглощенный воспоминаниями, рассказывал о своих сексуальных опытах с проститутками, то медленно и со вкусом, то теряя и глотая слова.

— Вот ты, Дима, говоришь, что у тебя ни разу по любви не было, а думаешь, у меня было? — с расстановкой, взвешивая каждое слово, заговорил Муся. — У меня еще хуже было. Я же тоже мечтал влюбиться в какую-нибудь девчонку, чтобы все у нас было впервые, чисто и возвышенно, как у Ромео и Джульеты. А получилось еще грязнее, чем у тебя.

Макс и Абрамчик в момент напряглись, не часто они слышали от Муси такие откровения и таким мертвым голосом. Обычно свои истории Муся рассказывал весело, хвастливо, отчего истории его больше походили на байки. Сейчас же они ждали от Муси нечто доселе не слышанное...

— Книжки иной раз читаешь и удивляешься — во, написали, во, понапридумывали; а по большому счету, жизнь гораздо противнее и гнуснее, и ни в одной книге не опишешь такого, что может случиться в жизни... Меня отымела моя тетка двоюродная, по матери; два года назад. Весело, да? — Но Макс и Абрамчик даже не улыбнулись; только рты поразевали от такого начала. — Причем случилось все до банального просто, даже на кино чем-то походило. Я, как всегда, зашел к ним в гости, поболтать с братом троюродным, ее сыном. Он меня года на два старше, мы тогда

с ним часто общались, после этого, кстати, ни разу не виделись. Дома оказалась одна тетка. Дядька, муж ее, еще с работы не вернулся, а Андрей, сын ее, где-то гулял. Я сразу же хотел и распрощаться. Но она говорит, ну, что ты, Рома, заходи, подожди, может, сейчас придет, а я тебя пока чаем угощу.. Угостила... — Муся замолчал, закурил сигарету. Не то, чтобы ему тяжело все это было рассказывать... так, разморило его; продолжал он дальше безвкусно, по принципу: раз начал, значит договори. — И получилось все как-то по-идиотски. Я напросился помочь ей колбасы и сыра для бутербродов нарезать. И надо было мне палец поранить (порезал я его совсем чуть-чуть). Тетка сразу охать, ахать, по головке меня гладить, на палец дуть, кровь кинулась высасывать, потом волосы, лицо мне целовать — успокаивала так. И вдруг, совсем вдруг, руку свою мне в штаны... потом еще извинялась, говорила, что бы я «маме ничего не говорил»... и денег мне даже в карман сунула, как сейчас помню, десять рублей... Вот скажи мне, Макс, вот как я после этого должен к женщинам относиться?.. Просто, какая-то «Крейцера соната»...

— А чего это такое «Крейсерская соната»?

— «Крейцера» — рассказ Толстого.

— Там чего, написано, как тетка племянника на кухне? В натуре? — вдруг облизнувшись, спросил Абрамчик.

Облизнулся он вполне естественно: после выпитого слюна уже не держалась у него во рту и периодически выступала на бордовых пухлых губах.

Муся лишь лениво отмахнулся. Вопрос показался ему настолько дебильным, что отвечать на него он просто не захотел.

— Скорее бы уж эти шлюхи приехали, — произнес он совсем потерянно. — Как вообще они этим занимаются... я вот, если не захочу.. а они... вот ведь как... Пойду отолью, — поднявшись, цепляясь за стены, Муся поплелся из зала. Выходя, ни к кому не обращаясь, он, хлопнув ладо-

нюю по стене, произнес: — Идея нужна, — и, петляя, скрылся в коридоре.

— Я, что-то, и не хочу уже, — глядя вслед Мусе, негромко произнес Макс. — Может, позвоним и отменим.

Абрамчик пьяно то ли кивнул, то ли мотнул головой. Макс не разобрал.

Звонок в дверь в секунду привел всю троицу в чувства.

— О! Идея пришла? — перекрывая шум сливного бачка, возопил Муся; и резво, не потрудившись даже как следует штаны натянуть, кинулся к входной двери, взывая к Абрамчику:

— Абрамчик, доставай свой батончик, идея пришла!

Абрамчик метнулся к двери. Повозившись, он, наконец, сладил со своим замком.

— Проходите девочки, проходите... Заждались.

В квартиру, не скрывая удивления, вошли четыре женщины. Вид в лоскуты пьяного подростка с приспущенными брюками явно не вдохновлял их.

— Ну, проходите, — махнул им Абрамчик и закрыл за ними дверь.

Не веря глазам своим, девушки стали прислушиваться и приглядываться: кто-нибудь же должен появиться постарше, не сами же эти дети их вызвали?

— *Вы* вызывали? — все еще не веря, спросила одна из проституток.

— А чего такие старые... тети, вам сколько лет? — улыбаясь, в свою очередь спросил Муся.

— Я твоя мама, — зло буркнула одна из женщин.

Такое заявление взвинтило Мусю. Оценивающим взглядом он осмотрел всех четверых. Женщинам, на вид было около 25–30 лет. В ответ они, также оценивающе, рассмотрели Мусю.

— Мальчики, может, вы телефоном ошиблись? — заинтересовалась одна из женщин.

В ответ Абрамчик протянул ей деньги:

— Вот деньги, — расплывшись от удовольствия, вымолвил он. Тут же их выхватил Муся.

— Подожди, что-то они мне не нравятся. Староваты.

— Так, дети, сейчас будут «Спокойной ночи, малыши»... Короче, открой дверь, — проститутка сурово посмотрела на Мусю.

— А что такого, мы платим бабки... — Муся шмыгнул носом. — Ну-ка, ты, — обратился он к той, которая показала ему посимпатичнее. — Покажи грудь.

— Может, тебе еще и раздеться? — отпарировала проститутка.

— Не понял, а для чего вы сюда пришли, может, в картишки перекинуться?

— В дурачка, — съязвила проститутка. И, уже не сдержавшись, рывкнула: — Открывай дверь, сосунок, а то вам быстро мозги вправят.

— Да, пожалуйста... шлюхи, — ответил ей Муся и сам открыл дверь. Проститутки гуськом вышли из квартиры.

— Сифилитички, — крикнул им вслед Муся.

— Иди, подрочи, — в ответ огрызнулась проститутка, спускавшаяся по лестнице последней.

Закрыв дверь, Муся посмотрел на Абрамчика:

— Нет, ну, ты слышал — «может тебе еще и раздеться» — видал?

— Отдай деньги, — только и ответил Абрачик.

— Держи. — Протянул ему деньги Муся. — Не менжуй, еще вызовем других, поинтереснее.

— Да пошел ты, — буркнул Абрамчик.

Макс, все это время нос не показавший из зала, не знал, радоваться ему или огорчаться. Лицо его выражало лишь смущение.

А Мусю словно развязали, точно медведь-шатун, разбуженный среди зимы, ворвался он в зал. Виски сделали свое дело. Муся был неутомим. Словно сегодня, сейчас кончился срок заточения его мыслей, не следя за сло-

вами, он бросался ими, совсем не думая, к месту они или нет.

Муся прыгнул в кресло, схватил телефон и принялся набирать номер очередного «Досуга».

— Девушка... «Досуг»? Замечательно! — весело чеканил в трубку Муся. Хочу трех девочек для трех за-а-амечательных пьяных парней. Хочу ласковых, нежных, хочу любви... За деньги... за час... Все... Значит, адрес записали? Ждем. — На секунду задумавшись, в полной тишине, Муся, хитро, из глубины кресла, внимательно окинул взглядом слегка ошалевших Макса и Абрамчика и вдруг воскликнул: — Ну-ка, Абрамчик, вруби какую-нибудь музычку! К черту всех этих блядей! — вскочил с кресла и подлетел к музыкальному центру. — Земфира — к черту! Круг — туда же... Абрамчик, как ты можешь это слушать? — в азарте швырял он на ковер компакт-диски. — А! Вот! Король и Шут!

Вставив диск, Муся нажал на «play» и выкрутил громкость на полную мощность. — Пацаны! Ехо! Банзай! — с совсем спущенными брюками, закричал он, как африканский туземец.

Макс, радостный, что появилась возможность выплеснуть весь свой дурацкий страх, оглушенный музыкой, вскочил с кресла и большой обезьяной запрыгал вокруг Муси. Абрамчик терпел ровно один куплет, не выдержав, он вклинился между Максом и Мусей. И в обнимку, прыгая по залу все трое пьяно рычали и визжали, стараясь переорать и Короля и Шута вместе взятых:

Разбежавшись, прыгну со скалы,
Вот я был, и вот меня не стало
И тогда, тогда увидишь ты,
Тогда поймешь! Кого ты потеряла
Кого ты потеряла, кого ты потеряла-а-а!!!

.....
.....

Наоравшись, напрыгавшись, выдохшись, подростки рухнули в кресла. Слегка отрезвев, тяжело дыша, они молча, улыбаясь, смотрели друг на друга.

— А все-таки классно, — восторженно выдохнул Макс.

— Да, классно, — согласились с ним Муся и Абрамчик.

Звонок в дверь их удивил. Про то, что они вызвали проституток, подростки за своими плясками совсем забыли. Абрамчик даже испуганно вздрогнул. Подростки сидели в полной тишине.

— Проститутки! — вспомнил Муся. — Ну что, пойдем принимать жриц любви.

Макс опять же остался в кресле; волнение вернулось к нему, и, отстукивая пальцами по столу какую-то мелодию, он стал внимательно вслушиваться, видеть, что происходит в коридоре, он не мог.

Открывая дверь, Абрамчик бросил Мусе:

— Теперь выбираю я.

На площадке стояли четыре девушки. Впрочем, девушками можно было бы назвать и предшествующих им проституток, но вновь прибывшие показались подросткам гораздо моложе и гораздо интереснее.

— Проходите, — пригласил их развязано Абрамчик.

Вновь прибывшие также были слегка удивлены столь юным возрастом заказчиков. Улыбаясь, они вошли в квартиру. Первым трем, на вскидку, можно было бы дать лет по 17–18, четвертая выглядела гораздо старше их. Но она, как раз, сразу же и возбудила Абрамчика: выше его чуть ли ни на две головы, длинноногая, с волевым, точеным, вполне красивым лицом, она, свысока осмотрев подростков, чуть заметно усмехнулась. Первые три, поздоровавшись, равнодушно встали в рядок.

Двух Муся отверг сразу: одна оказалась слишком прыщавой, к тому же с лицом, тронутым пьянством, и с вороватыми, беспокойными глазками. У второй был слишком грустный вид, длинный понурый нос, по которому

так и хотелось щелкнуть пальцем, и забитая, сутулая фигура. Третью Муся осмотрел с ног до головы: стройная, милая и росточком небольшая. «В самый раз», — решил он для себя.

— Покажи свою грудь, — предложил он ей.

Удивленно оглянувшись на своих товарок, проституточка удивленно уточнила:

— Это как?

— Просто: расстегни куртку, задери свитер, лифчик и покажи свою грудь.

Проституточка, не переставая удивляться, сделала все так, как ей велели. Грудь оказалась небольшой, высокой и на вид очень крепкой. Тронув ее рукой, Муся удовлетворенно кивнул:

— Ты.

Скинув тубельки и сняв курточку, проституточка прошла в зал.

— Я хочу вас, — тронул Абрамчик за руку высокую проститутку с точеным красивым лицом; разоблачившись, в зал прошла и она.

— Макс, глянь, тебе какую? — крикнул ему Муся.

— Мне все равно, — скованно, и от этого как-то агрессивно, выкрикнул Макс.

Посмотрев еще раз на прыщавую, Муся хитро улыбнулся и бесцеремонно заявил:

— Свободна.

Помявшись, побряхтев, Абрамчик вручил ей деньги, закрыл за ней дверь и вернулся в зал. Грустно посмотрев на сутулую, забитую проституточку с отвислым длинным носом, Муся, не удержавшись, легонько щелкнул ее по носу, проституточка даже не среагировала, и сюсюкнул ей:

— Ну что, милашка, милости прошу.

Разоблачившись, вошла в зал и она. Муся был явно в ударе и в настроении. Хотя прежний пыл сошел с него, и болтливость пропала, но видно было, что не до конца еще

захлопнулась его раковина, раскрытая несколько часов назад шотландским виски.

— Ну, ладно, пацаны, — взяв за руку свою высокую избранницу, Абрамчик ушел с ней в свою комнату. Вид его был решителен и слегка суетлив.

— Макс, ты здесь остаешься или в спальню пойдешь? — В ответ лишь взгляд, полный беспомощности, и натянутая улыбка.

— Ну, как знаешь... Пойдем, — Муся увлек за собой выбранную проституточку и вышел, оставив Макса один на один со своей неожиданной пассивей.

Минуту Макс даже не смотрел на нее; взгляд его упорно рассматривал собственные носки. Рассматривание это кончилось поджиманием ног, затем Макс принялся рассматривать рисунок ковра. После пяти минут такого бессмысленного созерцания он, наконец, решился, искоса глянув на проституточку:

— Может, выпьем? — произнес он обреченным тихим голосом, таким обреченным и таким тихим, каким только прижатый к стенке жених предлагает девушке руку и сердце. В ответ грустный взгляд и понурый кивок. Дрожащей рукой Макс наполнил стакан, прокомментировав: — Это виски, шотландские, очень вкусные... и полезные, — прибавил он не известно к чему. — За что выпьем?

Та равнодушно пожала плечами, слегка чокнулась и молча выпила. Поставив стакан, она вновь замерла в своей грустной, безличной позе. Макс окончательно потерялся. Что делать, он понятия не имел. Посидели так еще минут пять. Но эти пять минут показались для Макса безумно долгими и мучительными.

За стеной, в полной тишине, одиноко стонал Абрамчик. «Абрамчик стонет, — вывел для себя Макс. — Это его голос. Так только он может стонать».

Как дальше он ни прислушивался, разобрать, что творилось в комнате, где был Муся, Макс не мог. Абрамчик

стонал слишком страстно и, как казалось Макс, оглушительно громко. «Вот сволочь, стонет, хорошо ему... и как противно стонет-то, будто не он, а его... блин. Неужели мужик может так стонать, и чего он так надрывается»? Голос Абрамчика набирал силу, и, чем громче заявлял он о своем возбуждении, тем противнее становилось Макс.

«И эта... клуша, сидит... хоть бы что-нибудь сделала... хорошо еще, не я платил».

Эта мысль немного его успокоила. «Может, ей еще выпить предложить?.. Может, тогда оживится?.. Господи, как же он орет».

Абрамчик действительно уж слишком сильно выказывал свои чувства. Через минуту он затих. «Кончил, — решил Макс и печально домыслил: А я нет», — тяжело вздохнул и вновь обратил свой беспомощный взор в сторону все так же безучастно понурой проституточки. Та даже позу не поменяла, как сидела, так и сидела, сутуло уставившись в музыкальный центр. «Может, ей музыку включить?».

— Может, музыку включить? — спросил он чуть слышно.

Проституточка равнодушно взглянула на Макса и кивнула.

Поднявшись с кресла, Макс ощутил себя гораздо лучше. Бодро подойдя к центру, он заранее убрал громкость и наобум включил кассету, уже стоявшую в деке.

«Пожалуйста, не умирай, или я...»

Макс тут же нажал на «stop» и, обернувшись, пояснил: — Мы уже сегодня слушали Земфиру. Может, лучше что-нибудь иностранное?

В ответ тот же кивок.

Копание в компакт-дисках и кассетах отвлекло Макса; с упорным наслаждением он перебирал коробки, долго разглядывая картинки и читая надписи.

В зал, облаченный в халат, в обнимку с обнаженной проституткой, вошел счастливый Абрамчик.

— А чей-то вы, а? — весело, чуть ли не вскрикнул он, глядя на сидящего на полу Макса и понурую, точно замерзшую в кресле проституточку.

— Макс, ты чего? Время идет. Цигель-цигель, ай люлю, «Михаил Светлов» ту-ту. Ты чего?

— Да я вот...музыку, — совсем потерявшись и тут же обрадовавшись, вымолвил Макс. Как никогда, он был сейчас рад Абрамчику.

Увидев впервые воочию обнаженную женщину, Макс вздрогнул, покраснел, смутился и стыдливо замер с компакт-диском в руках. Абрамчик глянул на часы:

— Макс, осталось сорок минут, еще успеешь.

— Да, я чего-то не хочу... выпил много.

— Это что еще за песня такая? Макс, время оплачено, — кинув презрительный взгляд на понурую, Абрамчик крикнул ей: — Это что еще значит! За что тебе деньги платят? Чтоб виски хлестать? Да за одну эту бутылку тебе неделю без продыху работать... Раздевайся.

Понурая спокойно вылезла из кресла и, с конченным равнодушием, стала раздеваться. Макс даже не взглянул на нее, он упорно перебирал компакт-диски. Раздевшись, она уныло посмотрела на Абрамчика, всем видом своим говоря: «Ну, вот, разделась, что дальше?»

— Ну, чего на меня смотришь, становись раком в кресло. Чего, не понимаешь?

Повернувшись к креслу, она нагнулась и приняла заказанную ей позу.

— Макс, чего ты ждешь, — командовал дальше Абрамчик, — давай целуй ее уже, восемнадцать ей везде...

Здесь Абрамчик откровенно перегнул палку, но понял это он после того, как брякнул. Поднявшись с ковра, Макс подошел к Абрамчику и с силой ткнул его ладонью в лоб.

— Ты че гонишь, мразь? Ты за базаром следи.

— Макс, я ж пошутил... — забившись в угол, испуганно пискнул Абрамчик.

— Сейчас самого раком поставлю, понял? Не слышу!

— Понял, конечно, понял, — совсем по-бабьи пискнул Абрамчик.

Не говоря ни слова, Макс вышел.

Понурая, оперевшись в кресло, продолжала стоять. Высокая проститутка, с волевым и красивым лицом, тихо посмеиваясь, нагло села в кресло, где недавно сидел Макс, и, закинув ногу на ногу, манерно достала из лежащей на столе пачки сигарету, негромко, но все так же весело сказала понурой:

— Тамара, ха-ха, да сядь ты, чего стоишь, как памятник.

Понурая послушно села.

Макс, даже не вспомнив, что в квартире остался еще и Муся, вышел вон, с силой захлопнув за собой дверь.

Время было около девяти вечера.

Буквально в одно время, как Макс, зло хлопнув дверью, вышел из квартиры Абрамчика, из спальни, которую занимал Муся, раздались сдавленный крик, шлепки ударов, и следом в коридор выскочила голая, перепуганная до смерти проституточка; вслед вылетела скомканная ее одежда.

— Ой, девочки, девочки, — схватив одежду, и бросившись к высокой, с волевым лицом, проститутке взорвалась рыданиями:

— Ма-а-рина-а уйдем отсюдова-а, Ма-а-рина-а...

— Юля, что случилось? — теперь Марина уже не веселилась. Испуганная, она утешала Юлю, зарывшуюся в ее тело и вздрагивавшую хрупкими плечиками. Показался Муся, в брюках и в расстегнутой навыпуск рубаше. Ласково улыбнувшись в сторону ошарашенных проституток, он спокойно и очень убедительно произнес:

— Девочки, одевайтесь быстро и уходите. Отработали вы полчаса вместо положенного часа; денег у вас достаточно...

— Ты чего с ней сделал, мразь?..

— А вот этого не надо, — сразу отрезал Муся и прибавил так сладко: — Проблемы вам нужны?

— Это у тебя будут проблемы...

— Может, бандюгам хочешь сообщить, или в милицию звонок сделать? Телефон рядышком... Или мне позвонить, как ты считаешь? У вас ровно две минуты на сборы.

Уверенный тон Муси, его спокойствие охладили пыл проститутки.

— Одеваемся, девочки, — Марина, а следом за ней и Абрамчик вышли в комнату.

Все еще всхлипывая, Юля быстро оделась; оделась и понурая Тамара. Оделась она так же быстро, и, видно, она напугана была не меньше Юли. Полностью одетые, они уже выходили из злополучной квартиры.

— Вы нам еще попадетесь, мелюзга... — выругавшись от души, проститутки, торопясь, сбежали по лестнице.

Приведя себя в порядок, Муся сидел в кресле, курил. Рядом в кресле притулился перепуганный Абрамчик. Случившееся сильно на него подействовало: Макс, проститутки, Муся — все произошедшее чудилось ему пьяным бредом. Осторожно, как бы снова чего не вышло, он поинтересовался:

— Рома, что случилось?

— А где Макс? — вопросом ответил Муся.

— Макс? А Макс... Макс ушел. Ему домой надо было, вот он и ушел.

— Я тоже пойду, — затушив сигарету, Муся поднялся и вышел в коридор. Следом Абрамчик.

— Ром, а что случилось-то?

— А-а, — широко зевнул Муся, — ничего-о-о, — зевнул он еще шире. — Ладно, бывай, — пожав руку Абрамчику, Муся вышел на лестничную площадку.

Проводя его взглядом, Абрамчик долго еще стоял возле двери, только когда хлопнула подъездная дверь, он закрыл

свою. Вечеринки не получилось, деньги ушли впустую (между прочим, он проверил доллары, лежавшие в шкафу, все было на месте)... с Мусей ерунда какая-то вышла, с Максом совсем караул. Абрамчик накатил себе виски по самый ободок стакана, поднес ко рту и, прекрасно понимая, что если он сейчас сделает хоть глоток, его стошнит, припал к стакану губами; подержав виски во рту, глотать его он не решился, и тоненькой струйкой виски вернулось в стакан. С дурными мыслями, и с еще более дурными предчувствиями дошел он до своей комнаты, включил негромко запись Михаила Круга и лег в кровать... Здесь его и стошнило.

XV

Муся выходил из подъезда дома, где жил Абрамчик, в самом что ни на есть гадком настроении, и последним штрихом в создании этого настроения стала проституточка Юля.

Зайдя в спальню и очутившись с ней наедине, Муся чувствовал себя как нельзя лучше. Увидев ее трогательную, хрупкую фигурку, сразу же забыл обо всем. Раздевшись, он упал на кровать и с кошачьим наслаждением наблюдал, как проституточка снимает с себя белье, аккуратно вешает его на стул. Сделав все это, она в ожидании замерла в шаге от кровати. Может ли так быть, чтобы проститутка любила свою работу?... Но так, как повела себя она... казалось, что она, действительно любит свою работу.

Ласки были недолгими, и то, что проституточка так быстро возбудилась и так ясно давала это понять, удивило Мусю. Она стонала, закатывала глазки, влажно крутила пухленькими губками... но вдруг что-то заставило Мусю остановиться. «Играет», — ясно почувствовал он. И, поймав эту мысль, никак не мог от нее отделаться. «Ведь игра-

ет, наверняка, играет... вот актриска...» — теперь Муся прислушивался к каждой ее интонации, чем дальше она стояла и закатывала глазки, тем больше Муся убеждался в своей догадке, и тем тяжелее наливались его глаза, и губы плотнее сжимались. Юля поняла это по-своему.

— Ты такой дикий, — прошептала она нежно, — такой сильный... Мне больно, — мне так больно, ты такой сильный, — ритмично, в такт, тихо стонала она, мутно вглядываясь в Мусю.

Муся остановился и прямо уставился ей в лицо.

— Ну что же ты... Мне так больно... Ты такой...

— А так? — зло выдохнул Муся.

— Да... так — крепко обняв Мусю, простонала она.

«Да почему ей больно... чего она несет», — Муся вздрогнул, на секунду, на маленькую долю секунды он увидел лицо Снежаны... «Ах, тебе больно — ну, смотри». Но как бы дальше Муся ни старался, проституточка шептала одно и то же, крепко прижимая его к себе и сама всеми силами помогала ему, ускоряя и так уже озверевшего в своем темпе Мусю. Ни о каком наслаждении Муся теперь не думал, ему по настоящему захотелось сделать ей больно, но чем дальше продолжалась эта гонка, тем четче он понимал, что вся ярость его уходит в пустоту. *Так* он ей больно не сделает. Видя это, понимая это, слыша это уже невыносимое для него «мне больно», Муся дошел до отупения. Вскочив, он с размаху влепил ей пощечину.

— Ты чего, больно же! — вскрикнула она в испуге.

Ощерившись, Муся влепил ей вторую пощечину и вцепился ей руками в горло.

— А так больно?! — шептал он ей в самое ухо. — *Так*, надеюсь, тебе больно?!

Видя, что проституточка уже задыхается, Муся убрал руки. Отдышавшись, проституточка завизжала так, как только может визжать досмерти перепуганная женщина, и выскочила из спальни. Вдогонку Муся успел ей влить

хлесткий пинок; тут же он схватил со стула ее белье и, размахнувшись, швырнул его вслед.

Оставаться в спальне смысла не было, одевшись наскоро, он вышел. Злоба еще держала его, но, собравшись, он придал своей улыбке сладкий изгиб и, глубоко выдохнув, настроил свой голос на уверенно спокойную волну...

Очутившись на улице, Муся, неровно ступая по ступеням, спустился во двор. Сев на лавочку, он закинул голову и уставился в густое, затянутое облаками небо. «Может быть, дождь будет...» — подумал он и сладко потянулся. Поднявшись и все так же пошатываясь, он направился в глубь дворов. Пьяное пошатывание развеселило его, ему это даже стало нравиться, слегка пританцовывая, он вышел на небольшую улочку и, не задумываясь о маршруте, пошел, куда кривая выведет. Он чувствовал, что по-настоящему пьян. Ему нравилось это чувство, подобное он испытывал впервые, до этого все ограничивалось одной-двумя бутылками пива и легкой эйфорией. А вот так, чтобы напиться... такое с Мусей случилось впервые. Мысли отказывались его слушаться, они прыгали, суетились, этим очень забавляя его.

— Напился!.. Муся-дурачок — чок-чок... сверчок, пятачок... — Вдруг, безумно обрадовавшись, он заплясал, подпевая себе все на один мотивчик:

— Дурачок — чок-чок,

Пятачок — чок-чок...

Дальше он лепил самые невозможные и нелепые рифмы. Песенка нескончаемая, с простым веселым мотивчиком, выходила у него легко и, как ему казалось, очень складно. Хмель уже до того владел им, что самые невероятные желания он считал за самые обычные и естественные. Неизвестно зачем, он полез на дерево, грохнулся с него и, как ни в чем не бывало, забежал в первый попавшийся подъезд, позвонил в квартиру и тут же, счастливый, вылетел на улицу... постучал в несколько горящих окон

первого этажа, дождавшись, когда его заметят, скорчил несколько самых омерзительных рож и тотчас смылся. Погонялся за парочкой кошек, одну загнал на дерево, полез за ней, снова грохнулся и, счастливый, высказал кошке все, что он о ней думает... Но, как обычно и случается во хмелю, радость его вдруг и неизвестно почему сменилась печалью, он уже не приплясывал и не веселился. Тяжело плелся он по незнакомым ему дворам и улочкам и злился, неизвестно на что. Если недавно все его веселило, теперь все, чтобы он не встречал, о чем бы не думал, — все его раздражало. Ко всему прочему, заболела голова. Во рту чувствовалась противная сухость. Сколько времени, где он — он не знал этого. Он просто плелся куда-то, и все. Периодически выскакивающая мысль: не лучше ли идти домой, злила и, порой, своей навязчивостью и неотвратимостью доводила до бешенства. Иногда ему казалось, что он ужасно замерз и обессилел. Как зомби, он широко шагал, ведомый теперь одной, внезапно родившейся мыслью, до того дикой и нелепой, что, приди она на трезвую голову, ему наверняка бы захотелось стошнить. Но теперь она казалась ему логичной и правильной, и, самое главное, желанной. Движимый этой мыслью, он был абсолютно уверен, что именно сейчас он должен, нет, просто обязан идти к Снежане. Он был до того поглощен этим желанием, что упорство его можно было бы сравнить только с упорством заведенной игрушки. Упрись он в стену, он бы, как и заведенная игрушка, бился бы в нее и не сдался бы до тех пор, пока не кончился завод. Что он будет делать, придя к Снежане, он не знал, не знал и зачем идет к ней. Лицо его выражало одну пьяную одержимость, временами проявляющуюся странной улыбкой и злым, даже мстительным, блеском в глазах. Спотыкаясь и наклоняясь вперед так, будто он идет против сильнейшего ветра, он злорадно шептал, на самом деле он говорил во весь голос, но ему казалось, что он именно шептал:

— Больно вам всем, боли вы хотите, я дам вам ее. Все вы любите... с болью; я дам вам эту боль. Все вы, шлюхи, на одно лицо, все вы одного хотите, всем вам нужна похоть и боль. Самки, твари... одного рода племени... И мое се-рдце остановилось, мое се-рдце за-мер-ло... — Неизвестно откуда, из-за какого угла, перед Мусей выскочили два дворовых пса. Выскочив, они залились звонким и противнейшим лаем. Муся от неожиданности чуть не упал; восстановив равновесие, он пристально взгляделся в псов. Мелкие, остромордые, черт знает какой породы, они стояли в двух шагах от него, заливаясь в его сторону нестерпимо громким лаем. Сжавшись, Муся решил не обращать на животных внимания и стороной обойти их. Псы, увидев этот маневр, вдохновенно, заголосив еще громче, бросились к Мусе, и один, оскалившись, зайдя сзади, нырнул Мусе между ног, с желанием цапнуть за ногу. Развернувшись, Муся мотнул ногой и, не удержав равновесия, шлепнулся на рассыпанный по дороге щебень. Не замолкая ни на секунду, псы отскочили. Ободрав при падении ладони, Муся, до конца не поднявшись, точно греческий олимпиец, с разворотом, зашвырнул в дворняг горсть щебня; не удержавшись, он вновь рухнул на землю. Отбежав, псы снова вернулись на свои позиции. Уже не торопясь, Муся поднялся, предварительно набрав штук пять самых крупных камней, с единственным желанием убить этих тварей. Псы, в момент почувствовав это, тут же метнулись с места.

— Не уйдете, — и с камнем на перевес в правой руке, остальные прижав к груди левой, Муся кинулся за псами.

Первый пущенный камень, перелетев, вонзился в метре от псов, резко развернувшись, псы рванули во двор. Размахнувшись, не сбавляя скорости, Муся пустил второй камень. Все это случилось довольно быстро, и псы не успели еще отбежать на безопасное расстояние; все пять камней летели один за другим, и ни один, к бешенству Муси,

не достиг цели. Псы уже скрылись из вида. Выдохшись, Муся перешел на шаг. Теперь он был готов убить любую дворнягу, попавшуюся ему на путь. Но ни одной, ни одной, даже самой безобидной, дворняжки ему не попалось.

От гонки он совсем ослаб, сев на первую попавшуюся скамейку, он тяжело отдышался. Голова теперь была забита исключительно собаками. Но вот дыхание восстановилось, поднявшись, он отряхнул ладони и, вспомнив, что шел не куда-нибудь, а к Снежане, с новой, одержимой уверенностью зашагал вон из дворов. В конце концов, следовало бы выяснить, где он находится, а для этого нужно было хотя бы дойти до проезжей дороги и определиться, в каком он районе. Какого же было его удивление, когда, выйдя к автобусной остановке, он увидел, что все это время шатался недалеко от своего дома, и остановка, на которую он теперь вышел, была следующая после его.

— Вот нажрался, — устало констатировал он и без сил опустил на лавку.

XVI

Из подошедшего автобуса выскочило несколько подростков, заметив Мусю, они подошли к нему:

— Роман, здорово.

— Ты чего, пьяный что ли? — хитро ощерился один из подростков.

— В хламиду манаду, — так же хитро ответил ему Муся. — Куда сейчас?

— А, в салон компьютерный. Хочешь с нами?

— Ну, пойдем... — вместе они зашагали к компьютерному салону.

Салон этот находился совсем рядом, через двор. Когда-то это был обычный подвал обычной хрущевской пятиэтажки. Но уже с полгода предприимчивые люди его

вычистили, отделали, и теперь это стало излюбленным местом всей местной подростковой братии.

Салон работал круглосуточно, и самый большой наплыв игроков приходился на ночное время. Уже с одиннадцати ночи возле салона собиралось человек двадцать подростков, возраста от двенадцати лет; случалось, что с ними тусовались и совсем взрослые парни. Занимали очередь: как правило, игрок заказывал себе место на всю ночь, и, чтобы успеть получить место, игроки собирались уже часов с девяти вечера; к одиннадцати все места были распределены.

В ожидании своего часа, подростки перетирали местные новости, пили пиво, заводили новые знакомства; были здесь свои старожилы, свои лидеры, чужаков не любили. Много приходило и таких, которые специально высматривали новеньких денежных мальчиков. Иногда просто били им морду и отнимали деньги, чаще же давили на них морально и садились, что говорится, «на хвоста»: новичок платил за двоих и, таким образом, обеспечивал себе спокойную игру на все время. Словом, салон этот являлся неким подобием клуба, местом встречи местных пацанов.

Когда Муся подошел к салону, возле входа уже тусовались человек пятнадцать. Поздоровавшись с некоторыми, Муся и пришедшие с ним подростки примкнули к одной из компаний. Пьяный, уставший, Муся никак не поддерживал разговор, улыбался иногда, соглашался и только.

С разных сторон доносилось:

— Слышь, ты, *Антон*, ты че перебиваешь, когда старшие разговоры разговаривают? — говорил подросток лет пятнадцати своему двенадцатилетнему товарищу.

— Я не Антон, — огрызался тот, — сам ты антон.

— Ты кого это Антоном назвал? Сосок!

— Да, ладно, Андрюх, остынь, — осаживал его другой подросток и обращался к тому, которого сначала называли «антоном» и после «соском»:

— Киля, сбегай за пивом.

— А какое брать?

— Нашего баклажку возьми.

Взяв деньги, Киля бежал к киоску.

— Я, короче, вчера такую телку снял, — слышалось от другой компании, — короче, грудь, фигурка, все дела.

— Да ладно, «все дела». Да какая баба с тобой пойдет?

— Да я в натуре говорю.

— В натуре, у лягушки зеленый, у зебры полосатый, а у крокодила зубастый, ха-ха...

За Мусиной спиной компания, судя по голосам, человека в три, разговаривала не так громко и весело, но разговор заинтересовал Мусю. Он обернулся.

Трое, по виду его ровесники, показались ему знакомыми, голос одного из говоривших Муся точно узнал; и тема показалась очень знакомой.

— По ходу, тех уродов мы замочили; я сегодня утром был там, мимо проходил; так там уже, короче, цветочки, все дела, — негромко говорил один из подростков. Голос его звучал хрипло, даже скрипуче, Муся аж поморщился от его голоса. — Ты, Васек, класс, пацаном держался, — продолжал хрипой подросток, — круто ты его, я даже заценил...

— Да ладно, — ответил подросток, которого называли Васьком, — главное, чтобы не замели... слышь, пацаны, давай-ка отойдем подальше, а то вон тот гусек, по ходу, нас сечет.

Под «гуськом» имелся в виду Муся, он и вправду внезапно повернул к компании голову, и явно их подслушивал. Слишком откровенно Муся стоял в вполоборота к этой троице.

Искося оценив Мусю, подростки отошли к тополи, растущему в шагах десяти от салона, слышать теперь, о чем они могли говорить, Муся не мог, слишком большое было расстояние.

— Ты знаешь их? — спросил Муся у одного из подростков из своей компании.

— Кого? — не понял подросток.

— Вон тех, которые сейчас возле тополя стоят.

— Нет. А что?

— Да так... ничего, показалось.

«Наверняка, они, — еще раз взглянув в сторону подростков, подумал Муся. — Сдать их, что ли. Ну, и сдать, а дальше, что дальше, что изменится? Ничего», — заключил он и решил не влезать не в свое дело. «Пусть они все друг друга перемочат, одна мразь убивает другую. И так должно быть. И чем быстрее они друг друга передушат, тем лучше. В этой стране по-другому не бывает. В этой стране все должно быть только так».

— Чего задумался, Ромик? — хлопнул Мусю по плечу, стоявший рядом с ним подросток.

— Все нормально, — зевнул Муся.

— Ты с кем пил-то? — вновь спросил подросток.

— С Абрамчиком и с Максом, — как-то даже лениво ответил ему Муся.

— Ромик, — вдруг вспомнил другой подросток, — все-таки колись, что там у вас с Никанычем? Я чего-то там краем уха слышал, а толком так ничего и не понял.

— Завтра в школе все поймешь, — неопределенно ответил ему Муся и дал понять, что дальше на эту тему он говорить не желает.

— А слышали? — обратился подросток ко всей компании. — У Никаныча, вон у Ромикова классного, сегодня туфли сперли и записку подкинули.

— А чего за записка?

— По поводу его пидорства.

— Прикольно, пацаны.

— Так ему и надо.

— А кто спер-то, не в курсе? — спросил Муся.

— Я слышал, что это Чича прикололся на спор. Он с пацанами на литр пива поспорил, что какую-нибудь под-

лянку Никанычу сделает... Прикольно получилось. Мне, чисто, поступок Чичи понравился. Молодец пацан.

— Ром, ну все-таки, что за история? — не отступал подросток.

— Обычная история, — ответил Муся, — играли в карты, он проиграл, написал расписку, что в трехдневный срок долг вернет, завтра будет третий день. Вот и все.

— Чего, на самом деле это все? — разочарованно протянул подросток.

— Это все — ответил ему Муся.

— А я слышал. Там вообще такое раздули... А сумма-то большая?

— Какая разница, какая сумма, — почти с досадой ответил ему Муся. — Ладно, пацаны, пойду я спать. — И, попрощавшись, Муся пошел прочь от салона.

— Чего-то Муся темнит, — недоверчиво произнес подросток.

— Да этого Мусю вообще не разберешь, мутный он какой-то...

— Что верно, то верно... Ну что, играть пойдем?

— Пойдем.

И вся компания вошла в двери салона. Троица у тополя все это время косо посматривавшая на Мусю, как только он отошел от компании и в одиночестве направился во дворы, двинулась за ним, выдерживая расстояние шагов в десять.

Муся, словно тянул его кто-то, завернул не в сторону своего дома, а в сторону интерната. Когда он выходил из двора, его окликнули. Место было как раз самое подходящее: справа глухая стена дома без окон, слева несколько гаражей, и ни одного прохожего.

— Эй, пацан, тормози, — окликнул Мусю хрипой подросток.

— Ага, *щас*, — чуть слышно отчеканил Муся, даже и не подумав остановиться, только руку правую в карман засунул.

Уже с год как он взял себе в привычку таскать с собой небольшую отвертку. Зажав ее сейчас между указательным и средним пальцем и крепко уперев рукоять в ладонь (получилось что-то вроде железного «когтя»), он резко ускорил шаг. Ускорили шаг и идущие за ним подростки. И, как только он прошел гаражи, тут же метнулся за один из них и, вытащив правую руку, вооруженную «когтем», занес ее для удара. Казалось, вся злоба его, вся ненависть, скопившиеся за весь день, сконцентрировались теперь в этом «когте»-отвертке.

Только из-за гаража выскочил первый подросток, Муся зверем бросился на него, всадив с силой в его голову отвертку. Охнув, подросток упал на колени, руки его взметнулись вверх и крестом обхватили голову. Подросток, точно кающийся грешник, стоял на коленях, закрывая руками голову.

Ничего теперь не видел перед собой Муся, только эти скрещенные на голове руки; и как швейная машина строит ткань, так и Муся орудовал своим «когтем», вспахивая, уже изодранные в лоскуты, рукава кожаной куртки ошалевшего от боли подростка. Сильным был только первый удар, следующие удары падали быстро, но все, что они могли — только драть куртку, и кожу рук.

— Вы что ж делаете? Люди! Убивают!! Милиция!!! — крик бабки, по большому счету, больше спас Мусю, нежели жертву.

В пьяном угаре, в охватившей его ненависти, Муся совсем не замечал, что и его тоже били. Муся не нанес еще и третий удар, как двое подростков подскочили к нему и, в свою очередь, дубасили его руками и ногами по спине и голове, но то ли удары были не такими ощутимыми, то ли спьяну он не чувствовал их, но со стороны все выглядело так, будто трое били одного. Крики старухи (казалось, что кричала не одна старуха, а целый хор старух) отрезвили всех: двое отскочили от Муси, Муся отскочил от первого

подростка, тот, все еще прикрывая руками голову, нетвердо петляя, точно курица с отрубленной головой, метнулся, спотыкаясь, обратно во двор.

Больше всего на подростков подействовали не сами крики, а одно единственное, магическое слово: «милиция»...

Перебежав дорогу, Муся влетел во двор и успокоился лишь тогда, когда понял, что остался один.

Мельком взглянув на отвертку, он тут же выбросил ее и припал губами к окровавленным пальцам правой руки. От ударов отвертка погнулась, и последние удары больше ранили Мусины пальцы, чем руки его жертвы.

Как только он остыл и успокоился, он сразу же ощутил усталость и боль; боль чувствовалась по всему телу: болела голова, спина, и самое болезненное — дико шипало содранные в кровь пальцы.

— Сволочи, мало того, что левую руку о щепень содрал, теперь еще и правая ободрана... Соб-баки... Ну, и денек... Конечно, я герой, — с улыбкой заключил он, — но ... но лучше бы этого ничего не было.

Однако чувство, что повел он себя как настоящий мужчина (не мужик, этого слова он терпеть не мог, а именно мужчина), грело душу и с лихвой заглушало ощущение боли и усталости.

«Так с ними со всеми нужно поступать, псами дворовыми... А собственно, что они от меня хотели?.. Какая теперь разница, чего они хотели, главное, что они получили. — Почему-то Муся несколько не сомневался, что схлестнулся именно с теми убийцами. — А ведь могли и убить... А не убили, так и ладно, — махнув на все рукой, он решил больше не заикливаться на подобной ерунде, но, чем больше он пытался не заикливаться, тем больше эта ерунда и захватывала его. — Любопытно, если бы Ваня так попал, как бы он себя повел? — продолжал он размышлять, — Макс, само собой, раскидал бы их, как щенят, и даже не

потрудился бы добить их. Макс у нас благородный, он лежащих не добивает... а с его силой это и не нужно. Абрамчик на ушах от них улетел бы, только бы его и видели... А если бы была возможность, он бы первый добивать кинулся, от трусости своей и кинулся бы добивать, от страха, что, не добей он их, тогда они его... От трусости вся жестокость, смелый человек не бывает жестоким, даже если он и слабее, все равно не опустится до такого... А Абрамчик трус... трус и блядь; хуже нет на земле человека, чем трусливая блядь. Он и на меня кинулся от трусости; да и на Ваню вчера по той же причине. Кто действительно достоин, чтобы его опустили, так это Абрамчик... но такие дольше всех и живут, такие миром и правят... пескарь полупри-мудрый... Розы он ей дарил... им розы, во-вторых, нужны, им, во-первых, страсть нужна и дерзкая сила. — Муся ухмыльнулся: — Эко меня занесло... А я-то кто, трус или нет? Ну, признаюсь я сам себе: трус я или нет?... Никогда не признаюсь. Признаюсь, что трус — соврал; не признаюсь — опять соврал... К Ване что ли зайти, его на трусость еще раз проверить... Пора уже заканчивать эту игру. Ставки сделаны. Ставок больше нет».

Дом, где жил Ваня, был как раз недалеко. Хмель развязал Мусе не только язык и руки, но и мысли. Вновь в голове его рисовалось самое невообразимое, как бы поизощреннее закрутить игру дальше, какую бы еще карту поменять, а какую сбросить. Очень хотелось ему по самые уши втянуть в эту игру Абрамчика (по расчетам Муси, тот был вполне к этому готов), не плохо было бы потянуть за язык Никаныча... Но все это завтра. Завтра.

Позвонив, Муся с минуту постоял возле Ваниной двери и собирался уже уходить, как дверь открылась. На пороге стояла Ванина мама.

— А Ваню можно? — непроходимым перегаром окатил ее Муся. К тому же, в отличие от мыслей, язык его двигался не так резво.

— Вани еще нет... Рома, ты что напился?

— Ну что вы, тетя Нина... Значит, нету... Ладно... ничего передавать не надо, я пошел, — развернувшись, как солдат при смене караула, Муся, стараясь держать осанку, стал спускаться по лестнице.

— Рома, что случилось? — с тревогой воскликнула ему вслед Ванина мама.

Не ответив, Муся вышел из подъезда.

— Господи, случилось что? Этот пьяный... Ванечка где... Лиза... — окончательно встревоженная, Ванина мама закрыла дверь.

XVII

Покинув квартиру Никаныча, Ваня спускался медленно, то и дело его качало, и ему, чтобы не упасть, приходилось хвататься за стены или же ложиться на перила. Это было настоящее бессилие, Ваня не придумывался и не рисковался.

Сколько прошло времени, пока он осилил весь путь до первого этажа, он не знал, но ему очень-очень хотелось поскорее покинуть «чрево» этого панельного девятиэтажного одноподъездного уroda.

— Пятый этаж... уже пятый, — еле перебирая сухими губами, шептал Ваня. — А вот и второй, здесь лифт не предусмотрен... сейчас будет первый... и потом... потом я выйду на улицу.

Его буквально вынесло из подъезда, хватаясь пальцами за воздух, выписывая ногами замысловатые кренделя, он спикировал на лавочку.

— Я немножко полежу и пойду, — прошептал он чуть слышно, калачиком свернувшись на лавочке.

— Нет! — вдруг испуганно выдохнул он и, словно и не бывало никакого бессилия, резво вскочил на землю.

Теперь он был нарочито подтянут и вышагивал вдоль улицы точь-в-точь, как в стельку пьяный мужик, ни в какую не желающий смириться с тем, что он напился.

Сколько он так прошел, он не помнил, единственное чувство, владевшее им всю дорогу, было чувство страха. Он не помнил улиц, по которым шел, не видел людей, машин, не видел домов — все было как в тумане... и дикое, граничившее с безумием чувство страха: «Все знают, кто я... Знают и молчат... и я знаю, кто я; знаю, и тоже буду молчать. Раз они все молчат, то и я буду молчать. Они молчат, потому что не хотят спугнуть меня, думают, что я не знаю, а я знаю. Они думают, что если они мне скажут прямо в глаза, кто я, то тогда я испугаюсь и покончу с собой... Я не хочу этого, я не такой. Я нормальный. Я не «голубой»... И пусть они все думают, что я «голубой», и пусть все меня жалеют и не говорят мне этого... потому что боятся...» Порой он задыхался от этих мыслей, тогда он припадал к какому-нибудь дереву или стене дома, долго так стоял и, придя в себя, вновь продолжал путь... Очнулся он лишь возле своего подъезда, и то случилось это не по его воле. Его окликнули.

— Ваня... Давно тебя уже здесь жду... Сижу вот и жду.

Вздрагнув, Ваня медленно обернулся на голос. На скамейке, закинув ногу на ногу, сидел Муся.

— Садись, Ваня, рядом, — и Муся, приглашая его сесть, похлопал ладонью по скамейке. — Садись. Поговорим... за жизнь поговорим... — Точно замороженный, Ваня сел как раз на то место, по которому Муся похлопал ладонью. Обняв Ваню, Муся продолжил: — Ну, что же ты, Ваня, пропал куда-то... мы искали тебя, волновались... да-а, я волновался. Ну расскажи мне, где ты был сегодня, что делал, чем занимался... Расскажи, а я послушаю.

— У меня сегодня бабушка умерла, — совсем по-детски, слезливо, произнес Ваня и замолчал.

— Бабушка умерла, — эхом повторил Муся. — Ты с похорон? — спросил он даже с участием.

— Нет, я от... — Ваня запнулся, — я не с похорон.

— А откуда ты? — совсем участливо поинтересовался Муся. — Говори Ваня, не стесняйся. Я твой друг. Я твой самый лучший друг...

— Ты мне не друг, — произнес Ваня с расстановкой.

— А кто я тебе?

— Ты...ты... — запнувшись, Ваня вдруг выдал: — Я знаю, что ты обо мне думаешь, я знаю, что вы все обо мне думаете... Но я не «голубой»... Я, когда тогда побежал, я на него наткнулся, он меня обнимал... Но мне совсем даже это не понравилось, я сразу понял, кто он. И сегодня я это понял, и специально попросил его вина купить, чтобы он, когда ко мне приставать станет, чтобы я его тогда по голове бутылкой... чтобы убить, и чтобы вы не думали, что я «голубой». Я же обещал убить его. Я же проиграл... — вскочив, Ваня окинул Мусю безумным взглядом.

— Я не «голубой!»... — взгляд его коснулся Мусиных рук. — У тебя руки в крови, — в настоящем ужасе прошептал Ваня, — ты... так ты все-таки... — бочком он отошел от лавочки и опроретью влетел в свой подъезд.

— Не долго музыка играла, не долго Ваня танцевал, — произнес сбитый с толку Муся. — Ну, и как это понимать? — спросил он и тут же ответил: — А понимать это надо так, что наш Ваня или рехнулся, или его отымел Никаныч — одно из двух. Второе гораздо интереснее. Так мы и будем думать... И мое сердце остановилось, мое сердце за-мер-ла...

Поднявшись, Муся, почти уже засыпая, решил все умозаключения оставить на завтра и идти домой спать.

«Дрянной день, дрянной город, дрянная страна, — беззвучно шептал он, — как я вас всех ненавижу. Как бы я хотел вырваться отсюда... Страна идиотов, проституток, убийц и педерастов... Как я ненавижу эту страну, людей, которые живут здесь... быдло... как я ненавижу этих людей... Америка — вот та страна, где можно жить достой-

но... Я хочу в Америку. В этой дремучей России можно только умереть... как собака... Здесь могут жить только собаки... Страна собак, вшивых, облезлых сук...»

XVIII

Муся еще долго бы так бормотал, прервало его размышления жалобное кошачье мяуканье. Муся как раз входил в свой подъезд.

— Опаньки, котенок! Это где же он? — Муся стал быстро подниматься по лестнице; проскочив свой этаж, он добрался до последнего, пятого, и там, в углу, возле окна увидел маленького черненького котенка. Котенок был до того мал, что удивительно, как он вообще добрался до пятого этажа (если он конечно, пришел с улицы). — Как же ты сюда забрался? — опустившись возле котенка на корточки, не без интереса произнес Муся. — А может, тебя выбросили? Вместо ответа котенок перестал мяукать и мигом нырнул под Мусю, и там, прижавшись к его ноге, заурчал. — Ах, вот ты даже как, — усмехнувшись, Муся поднялся, сказав котенку: — Ну, хочешь, если конечно хочешь, пойдем ко мне. — Больше не обращая на котенка внимания, стал спускаться на свой, третий этаж. Не обернувшись ни разу, Муся только слышал, как котенок, мягко падая на лапки, прыгал за ним, бесстрашно преодолевая одну ступеньку за другой. — Упорный! — Заметил это Муся, и так ему стало хорошо, так свободно, что, расчувствовавшись, он чуть не заплакал. — Бывает же такое, — произнес он уже возле своей двери и, наконец, обернувшись, взглянул на котенка; тот, урча уже, терся возле его ног. — Не думаю, что родители будут рады тебе... но если честно, мне на их мнение наплевать. — Открыв дверь, он ступил в квартиру, следом, торопливо перебирал лапками, котенок.

Дома не спали. В темноте отец и мать уже лежали на разобранном застеленном диване и молча смотрели телевизор. Раздевшись, Муся первым делом пошел в ванную, котенок, недолго думая, за ним. Умывшись и почистив зубы, Муся снял с себя свитер, спрятал в него котенка и, прижав его к груди, прошел на свою половину.

— Ну, и где ты шляется эти два дня? — Спокойно спросил его отец.

Обернувшись, Муся ответил ему:

— Гулял, — и сразу же зашел к себе.

— Я с ним больше разговаривать не буду; ты отец, ты и разговаривай, — произнесла мать.

Видно было, что она с трудом сдерживала себя, чтобы не закричать и вновь не завестись.

— Роман, подойди сюда, — спокойно скомандовал отец.

Не отнимая от груди свитера со спрятанным в нем котенком, Муся вернулся на родительскую половину и сел в дальнее от дивана кресло.

— Мальчики, может хватит? — пролепетала из телевизора женщина в бигуди, с зубной щеткой в руке.

— Ну, рассказывай, — вновь скомандовал отец.

— Мальчики, уже поздно, — совсем жалобно попросила женщина из телевизора.

— Я ночевал у Димы Абрамова, мы в компьютер играли, — спокойно, даже скромно ответил Муся.

— Ну, и как прикажешь это понимать? — спросил отец строго.

— По-нашему, это — шок! — взревел телевизор и во весь экран показал здоровенный шоколадный батончик.

— Да сделай ты его потише, блин! — рявкнул отец и, не дождавшись, сам подошел к телевизору и полностью отключил звук. — Как это понимать? — повторил отец свой вопрос.

— Папа, уже поздно, — вторя рекламе, попросил Муся, — давай отложим до завтра. Уже полночь, мне завтра в школу.

— Я не понял, что это значит, — продолжал допытываться отец.

— Папа, я учусь хорошо, мне скоро будет шестнадцать лет, могу я хотя бы раз ночевать не дома?

— Ты, хотя бы раз, мог и предупредить, — заявил отец совсем строго и, пристально вглядываясь в Мусю, добавил: — пьяный, что ли?

— Конечно, пьяный. Ремня ему всыпать надо. — Не выдержав, влезла мать. — А то совсем распустился... Тоже мне, отец, — цацкаешься с ним, нянчишься, а он совсем уже обнаглел, ни во что мать с отцом не ставит. Мы волнуемся, нервничаем, — голос матери возвышался — а он... свинья пьяная, шляется с кем попало...

— Цыц, — рывкнул на нее отец.

— Чего это «цыц»? Ты как на меня при ребенке орешь? Это что еще за «цыц»?

— Рот закрой.

И, уже забыв про Мусю, не заметив, как он ушел на свою половину, мать с отцом стали бурно выяснять отношения.

Сейчас Муся даже был этому рад. По крайней мере, они забыли про него и оставили в покое. Чем все это обычно заканчивалось, он тоже знал. Поорав, повизжав, мать, наконец, добивалась своего, получала «заслуженное» «по морде», и все благополучно затихало до следующего раза. Но сколько Муся себя помнил, не было хотя бы одной спокойной недели, чтобы мать не нарывалась на скандал. То ли память у нее была короткая, то ли ей это доставляло радость, разобраться в этом было сложно, а по большому счету и невозможно.

Муся никогда не влезал в родительские скандалы и часто поражался, как они так могут жить уже 17 лет. В скандалах Муся не принимал ничью сторону. Но большие его симпатии все же отдавались отцу.

Мать он ненавидел давно и навсегда, отца просто жалел, но, опять же, молча. Муся не помнил, чтобы хоть один

скандал завел отец. Конечно, он часто давал для этого повод; но по поводу поводов Муся давно пришел к выводу, что их мать может высосать даже... из пальца; он вообще все больше убеждался, что, если отнять у матери возможность скандалить, она просто потеряет смысл своей семейной жизни. Главных поводов для ругани у нее было три:

1. деньги;
2. друзья, они же собутыльники, отца;
3. сын.

Для матери этого было вполне достаточно. За все 17 лет их совместной жизни у них в доме не разу не собирались гости. Мать ходила к подругам в гости сама и одна, а знакомых отца она на дух не переносила — этих «слесаришек», как она их называла. К друзьям сына мать также относилась с подозрением, к тому же, куда их было приводить? Словом, проблему с гостями мать решила давно и бесповоротно. Хороший повод для нее появлялся, если отец возвращался домой под шофе. Поздний приход сына также давал повод; еще больший — если сын совсем не приходил ночевать. Но даже если и отец, и сын возвращались домой вовремя, и первый оказывался трезвый, то и здесь мать не сдавалась — денег ей уж не хватало обязательно! Словом, поводы для очередной ругани всегда были у нее под языком.

Но, что крайне удивляло Мусю, так то, что мать из дома, на его только памяти, уходила раз восемь, отец же ни разу. Последнее поражало Мусю, пожалуй, больше всего.

Раздевшись и включив лампу, Муся завел будильник и лег на кровать. За перегородкой, уже при включенном звуке телевизора, мать жестоко отчитывала отца; тот пока только огрызался.

Обняв котенка, Муся предупредил его:

— Можешь не волноваться, сейчас она доведет его до ручки, он треснет пару раз ей по лбу, она заревет, убежит в

ванную, он за ней, там они, наверняка благополучно, под шум воды сольются в экстазе, и до утра все успокоится... Ну, и как мне тебя назвать?.. Знаешь, давай я назову тебя Мусей, и будешь ты моим вторым «я». В любом случае, Муся — имя универсальное, можно сказать, бесполое, так что, в обиде ты не останешься. — В ответ, прижавшись к нему, котенок лишь заурчал, подставив Мусе свой пушистый животик.

— Ну, и договорились. Тогда будем спать.

Выключив лампу, Муся нежно обнял котенка и, убаюканный его мирным урчанием, заснул.

В эту ночь ему приснилось много снов; странные, как-то сменяли друг друга; каждый сон вроде бы и не имел ничего общего с предыдущим, но, не будь предыдущего сна, не случилось бы следующего. И, что любопытно, все сны, как один, были символическими и до нестерпимого цветными. Цвет иной раз достигал такой яркости и насыщенности, что просто резал глаза и заставлял проснуться. Каждый раз, просыпаясь, Муся щупал, здесь ли котенок, и, всякий раз, слыша его мирное урчание и ощущая теплую мягкую шерстку, гладил его, прижимая к лицу, терся своим носом о его пушистую спинку и, обняв котенка, умиротворенно засыпал.

За ночь поднялся он всего лишь один раз, ему снилось, что он пьет воду, но никак не может напиться; мучимый жаждой, он поднялся с кровати, ласково погладил спящего котенка, вышел на кухню и, напившись, вернулся в кровать; прижав к себе урчащего во сне котенка, теперь окончательно успокоившись, уснул.

Из глубины неторопливо и ненавязчиво снова стали выплывать различные образы, узнать их Муся, как ни старался, не мог, они мягко обволакивали его, словно подготавливая его к чему-то значительному, словно говоря ему: «Подожди; не торопись, сейчас все станет тебе ясно, ты только устройся поудобнее, и сеанс начнется. Ждут толь-

ко тебя». Мягкое тепло нежно, точно ластящийся котенок, льнуло со всех сторон к Мусе, гладило ему лицо, руки и успокоительно урчало. Доверившись этому урчанию, Муся словно утонул в нем... Вдруг все исчезло; разлетелось миллионами шумных волнистых попугайчиков. Словно салют, вырвавшийся из глубины самого Муси, попугайчики цветными искрами разлетелись по залу, и в какой-то миг их стало так много, что ничего уже не видел перед собой Муся, только огромное живое месиво, всеми цветами мелькающее перед ним; попугайчики давили друг друга, били крыльями, царапали клювами, сменяясь многоцветными стекляшками калейдоскопа.

— А где котенок, где мой котенок? — в ужасе Муся стал разгребать эту разноцветную трясику; ужас дополнялся удивлением: руки не касались попугайчиков... да и не было их уже. Руки свободно проходили сквозь цветной туман бестельных желто-сине-зеленых играющих пятен.

— Где мой котенок?! — задыхаясь от тяжелого цветного воздуха, закричал Муся, но крик его растворялся в этом воздухе, смешивался с ним, отчего воздух становился тяжелее и удушливее... Вдруг все исчезло, точно вода, спущенная из бассейна, а в самом дальнем углу этого странного места, прижавшись к стене, мирно сидела женщина. Мусе очень захотелось разглядеть ее поближе, он всматривался, напрягал зрение, но никак не мог разглядеть ее лица.

— Я должен подойти и увидеть ее; она должна знать, где мой котенок. Иначе, зачем она здесь.

Сделав первый шаг, Муся замер. Новый страх охватил его; нога ступила на что-то хрустящее и, до странного, знакомое. Переборов страх, Муся сделал шаг, хруст повторился, боясь взглянуть вниз, Муся, хрустя каждым шагом, быстро зашагал к женщине; женщина, все так же прислонившись к стене, сидела без движения; но она была не мертва, Муся чувствовал это, и в тоже время она не замечала, что к ней кто-то подходит.

«Может, она спит?» — эта мысль успокоила Мусю; но, как он ни вглядывался, узнать женщину он не мог. Словно ее заволокло дымкой. И правда, он стал чувствовать, что цветной туман возвращается.

«Надо успеть дойти до нее, пока она опять не исчезла в тумане... Но что же это за хруст?» — пересилив себя, он взглянул под ноги.

«Это же высохшие цветы. Я иду по сухим умершим цветам», — только он осознал это, цветы взлетели искрами вверх и колючим шелестящим дождем осыпали Мусю, не давая дальше сделать ему ни единого шага.

«Я запутался... Где она? Где эта женщина?» Цветы все падали и падали, Муся только успевал уворачиваться от них, закрывая лицо от колких сухих листьев и стеблей.

— Отдайте мне моего котенка! — возопил он. — Отдайте мне его!!!

— А-ха-ха-ха! А-ха-ха!!! — дикий злой смех оглушил его; смех рвался отовсюду, словно сами цветы смеялись над ним, кололи, царапали ему лицо и смеялись, заставляя его беситься и чувствовать свою беспомощность.

— Отдайте мне его! — не в силах терпеть это, ревел Муся. — Я не хочу, что бы вы смеялись! Заткните свои пасти!!!

Смех тут же смолк. Белая пустота окружила Мусю. Не было пола, потолка, стены, не было ничего.

— Ага! Заткнулись! — злорадно воскликнул Муся. — Вы никто, ничто; я сильнее вас. Вы ничего не можете мне сделать! — От его крика пустота вновь пришла в движение. Уже беспрепятственно, легко отталкиваясь от цветного плывущего тумана, он двинулся с места. Нужно было найти женщину. Во что бы то ни стало. Только он подумал это, как женщина сама возникла перед ним.

— Я знала, что ты захочешь меня найти, — произнесла она детским, наивным голоском и нежно коснулась пальчиками его лица.

— Снежана?!

— Снегом стать, белым снегом стать, — продолжая трогать его лицо, ласково пропела она. — Тебе нужен твой котенок? Он в тебе. Его глазами ты смотришь на меня... Ты убил его.

— Заткнись, сука! — с размаху Муся ударил ее кулаком в лицо.

— А-ха-ха! А-ха-ха-ха-ха!!! — в ответ знакомый дикий смех. — Ты убил его! Ты видишь меня его глазами! Ха-ха! — злым детским смехом взорвалась женщина. Смех ее будто колотил Мусю, он уже не в силах был терпеть его; это уже был не смех...

Муся открыл глаза и, вскочив, хлопнул рукой по разрывающемуся будильнику. «Котенок!» — мелькнула тревожная мысль. Обернувшись, Муся увидел маленький черненький пушистый клубочек. Котенок тихо, поджав лапки, уткнулся мордочкой в простыню.

— Вот сны, собаки, — облегченно выдохнул Муся и погладил котенка. Котенок не шелохнулся. Нежно взяв его на руки, Муся приблизил котенка к лицу и увидел широко раскрытый ротик и стеклянные безжизненные глазки. Котенок был мертв. — Не может быть! — Муся стал трясти его, гладить, целовать. — Не может быть! — Шептал он в ужасе. — Этого не может быть!.. Я что, получается, задавил его... задушил... Этого не может быть...

Хлопнула входная дверь — отец ушел на работу. Мусин будильник показывал семь часов одну минуту утра.

День третий

I

«Почему все так... сон в руку. Ну, хорошо...» — с этой оборвавшейся мыслью Муся поднялся с кровати, переложил мертвого котенка на подоконник, заправил постель. Взгляд его остановился на белокуром хирурге, внимательно, словно впервые, взглядевшись в картину, Муся странно улыбнулся и вышел в ванную. На кухне громко играло радио, и слышно было, как мама возилась возле плиты. Зайдя в ванную, Муся первым делом вплотную подошел к зеркалу и внимательно посмотрел в него: лицо свое он нашел слишком сосредоточенным; попробовал улыбнуться, улыбка вышла кривой и до отвращения приторной.

— Ну что, Муся, — произнес он с нескрываемой издевкой, — день начался, как и должен начаться *Судный день*: с твоей смерти — со смерти твоего «я».

«Плюшевый, я плюшевый, я плюшевый, о-о-о», — сладенько разливалось из кухни радио.

Чтобы заглушить его, Муся перевел кран в ванну и открыл воду.

— Я плюшевый, о-о-о, — повторил он безразлично, взял мыло и сунул руки под воду.

От резкой боли он выронил мыло, одернул руки и, близко поднеся их к лицу, пристально осмотрел. Все, как и должно быть: пальцы правой руки и ладонь были изодраны; за ночь царапины слегка подсохли, но не настолько, что-

бы защитить от боли. Муся размышлял недолго, нагнувшись, он поднял из ванны мыло и вновь сунул руки под сильный напор теплой воды. От того, что он заставил себя, боль меньше не стала; но, заставив себя, переборов, победив эту боль, Муся даже получал теперь наслаждение, наслаждение от победы над ней. Руки и лицо мылись так тщательно, что кое-где из ранок выступила кровь. Не желая пачкать полотенце, он обтерся туалетной бумагой; после, достав из шкафчика, висевшего над раковиной, бактерицидный пластырь, бинт и зеленку, он обработал раны, забинтовал их, заклеил и в таком виде появился на кухне.

— Доброе утро, мама, — поздоровался он.

— Доброе, доброе, — ответила мать, не глядя, ставя на стол чай и бутерброды.

Конечно, по большому счету, как и все женщины, она была добрая, и в той или иной степени, как в каждой женщине, в ней присутствовали все известные добродетели, но то ли она их скрывала, то ли, наоборот, считала, что она и так их слишком открыто выказывает, но, в любом случае, внешне все это выглядело как злоба, самодурство и ревность, особенно ревность. Сказать, что она не любила своего сына или мужа, было бы несправедливо, она их любила, но любовь эта была не жертвенная, а самая что ни на есть эгоистичная. Наорав, накричав, выплеснув всю свою злобу на сына или мужа, позже она ужасно раскаивалась, даже плакала от раскаяния; бывало, что и винила себя после во всем, но это только сначала, дальше раскаяние потихонечку исчезало и, не желая быть во всем одной виноватой, мать реабилитировала себя и, с легкостью, перекладывала всю вину, которую совсем недавно приписывала себе, на сына или мужа. Но, если бы хоть что-нибудь случилось с тем или другим, она просто бы этого не пережила: как раковая опухоль, которая мучит больного, но, доведя его до смерти, умирает вместе с ним и сама.

— Рома, что у тебя с руками? — повернув, наконец, свое лицо к сыну, воскликнула она в испуге. — Рома рассказывай все, где ты вчера был, — тон ее был одновременно и властным и просящим.

— Мама, ничего страшного, просто упал.

Если бы он сказал, что влез в драку, попал под поезд или на него рухнул небоскреб, это бы не так растревожило мать, как это обычное: «просто упал».

— Рома, говори правду, что вчера случилось? У тебя все руки изранены... Ты пил вчера?!

— Мама, все хорошо, — быстро выпив чай и совсем не притронувшись к бутербродам, Муся, поблагодарив мать, вышел из кухни. Нужно было как можно скорее уходить из дома.

— Я так и знала, я так и чувствовала, — заводилась мать, — ничего никогда матери не скажет...

Уже полностью собравшись, Муся выходил из квартиры (котенок бережно покоился за пазухой).

— Какие же вы, все-таки, есть... Весь в отца!

Закрылась дверь, и Муся оказался в подъезде. Первым делом он поднялся на пятый этаж и, положив мертвого котенка в угол, где нашел его вчера, больше не задерживаясь, вышел на улицу. Часы показывали 20 минут восьмого.

II

Выходя из подъезда, Муся чуть не столкнулся с Максом.

— О, а я к тебе, здорово, — поздоровавшись, подростки быстро зашагали по улице.

— Ну что, как и договорились — к Ване сейчас? — уточнил Макс.

— К Ване... Чего вчера ушел-то?

— Абрамчик достал меня, — отмахнулся раздраженно Макс, — думал, прибью его там же... Нажрался, гад, и паль-

цы гнул, точно не я перед ним, а Ваня Мамкин. Нашел, перед кем понты кидать.

— Да, — согласился Муся, — Абрамчик это умеет, его медом не корми, дай только покрасоваться; тем более перед проститутками.

— Это точно. И ладно было перед кем, а то ведь перед шлюхами, проститутками позорными... Ну, а ты как вчера выступил со своей-то... она вроде бы так, ничего.

— Все, Макс, у меня получилось... Хотя Абрамчик — сучка порядочная, помнишь, как он на меня кинулся.

— А то! — воскликнул Макс. — Кстати, я звонил ему сейчас, говорит, заболел, температура, врет, пожалуй, сволочь. Я же вчера ему треснул. К тому же, сегодня опять к Матрене... так что, такие дела.

— Это правда... — Муся замолчал.

Дальше шли молча, каждый думал о своем. Вскоре оказался Ванин дом, поднялись на второй этаж, Муся позвонил в дверь.

— Здравствуйте, тетя Нина, Ваня еще не ушел? — спросил он у открывшей дверь женщины.

Видно было, что она была чем-то встревожена и плохо спала эту ночь. Лицо ее было бледным, и глаза, красные от бессонной ночи, смотрели на подростков устало и близоруко. Пропустив подростков внутрь, женщина, все так же тревожно всматриваясь в них, спросила:

— Рома, у вас все нормально?

— Все нормально, — с чистым взором ответил Муся.

— Все нормально, — подтвердил Макс.

— Ваня приболел что-то, нервный какой-то, боюсь, что-то случилось, я его спрашивала, а он молчит, всю ночь не спала... Ребята, успокойте меня, правда, все в порядке?

— Тетя Нина, уверяю вас, все хорошо.

— Ну, хорошо, так хорошо. Проходите, он у себя в комнате.

Голос ее звучал мягко и как-то жалостно, будто она была в чем-то виновата. И в лице ее, и в фигуре, во всем видна была странная непонятная виноватость безответного, затюканного человека. Казалось, она могла стерпеть все: любой удар, любую обиду, и при том искренне верить, что виновата во всем она сама. Одни называют таких людей добрыми, другие — размазнями, тряпками, а чаще — безвольными.

Скинув туфли, подростки, не задерживаясь, прошли в Ванину комнату.

Ваня, давно проснувшийся и слышавший этот короткий разговор, жутко испугался; меньше всего хотелось ему сейчас встречаться с кем бы то ни было, тем более с Мусей и, особенно, с Максом; услышав его голос, Ваня отчетливо вспомнил воскресные удары по почкам и ползание по земле. Все, что угодно сейчас отдал бы Ваня, лишь бы они не входили к нему в комнату..

— Здравствуй, Ваня, — поздоровались подростки.

Подойдя к кровати, они по очереди протянули руки для рукопожатия. Ваня ответил им, причем ответил поспешно и даже суетливо, будто, чем скорее он пожмет им руки, тем скорее они оставят его в покое.

Прошедшая ночь была для Вани ничем не спокойней предыдущих.

Очутившись дома после своего последнего разговора с Мусей он имел недолгую, но мучительную для него беседу с мамой. Мама не пыталась его расспросами, но даже короткий разговор с ней заставил Ваню вспомнить прошедшее, и это было для него смертельной мукой.

— Мама, все нормально, все хорошо, мама, я пойду спать, — скороговоркой отвечал он на ее вопросы и, уже не в силах держать себя в руках, вдруг вскочил со стула и, опрометью, выскочив из кухни, спрятался в своей комнате. Это довело маму до такого ужаса, что она не рискнула больше пытаться говорить с сыном, она решила расспро-

силь дочь. От Лизы она добилаь чуть большего, но от этого тревога ее только усилилась. Лиза рассказала, что бабушка опять умирала, Ваня ужасно из-за этого расстроился и убежал. А сама она посидела чуть-чуть за шкафом, дождалась, когда бабушка ожила, и на улицу вышла, и тоже гулять ушла, в парк.

Вплоть до прихода Вани Лиза подробно рассказывала маме, как она гуляла, что видела, с кем разговаривала, словом, каждый свой шаг, включая выход из квартиры и возвращение в нее. Лиза нередко так подробно и долго рассказывала маме о своей жизни, но эти рассказы мама обычно слушала невнимательно, особенно сейчас. Ее больше интересовал Ваня. Как мать, она чувствовала, что что-то случилось, но досаждал сыну расспросами, видя его такое состояние, не решалась, и просто боялась; оставалось только ждать, когда он сам все ей откроет.

— Ты что, в школу не идешь? — спросил Макс.

Ваня отрицательно покачал головой и укутался в одеяло.

— Заболел, что ли? — вновь спросил Макс.

Ваня продолжал молчать, лишь кивнул головой.

— И Абрамчик вот тоже заболел, — не зная, что говорить дальше, произнес Макс и, с надеждой, что его поддержат, посмотрел на Мусю. Но Муся, сев с краешку на Ванину кровать, по привычке безучастно рассматривал комнату, словно говоря этим Макс — ты главный, тебе и говорить, а я так, с краешку посижу. — Ваня, можешь не переживать, — неуверенно продолжил Макс, — мы тут с Ромиком посоветовались... короче, ерунда все это: игра, там... то, что ты проиграл. Все это баловство... Расписку мы тебе отдадим, так что, короче... короче, все нормально.

Ваню его речь не тронула; он не обрадовался, не кинулся с благодарностью Макс на шею, он никак не отреагировал на это, только еще сильнее укутался в одеяло, и видно было, что не только разговор, но и само присутствие гостей было ему в тягость.

— Ромик, я ведь не вру, подтверди, — обратился Макс к Мусе за помощью. — Мы тебе, если хочешь, и расписку отдадим... Я прав, Мусь?

В ответ Муся извлек из кармана расписку и, без слов, протянул ее Ване.

— Ну, бери, чего ты, — подбодрил Ваню Макс. Видя, что Ваня, опять же, проигнорировал его и продолжал сычем смотреть куда-то в стену, Макс с досады вырвал у Муси расписку, изорвал ее в мелкие клочки и, осыпав ими Ваню, не выдержав, выпалил: — Ну, че ты хочешь еще? Че тебе еще надо? Че ты, как пень, сидишь и молчишь? — Макс начал не на шутку распаляться; он был чуть ли не оскорблен. Как так, он пришел к Ване, простил ему долг, все ему простил, расписку ему вернул, все для Вани сделал, а от Вани в ответ не то что благодарности — слова обычного не услышал, будто и не было здесь никакого Макса, а пустое место все это Ване говорило. Еще секунда, и Макс не выдержал бы, нагрубил Ване и, хлопнув дверью, ушел.

— Макс, подожди, не видишь, он действительно заболел, — заговорил Муся, закончив, наконец, свое созерцание. Он уже до мельчайшей царапинки рассмотрел Ванин постельный шкаф, трехдверный, на тоненьких ножках, такого ужасного икорнокабачного цвета, что после минуты беглого его рассмотрения Муся с отвращением отвернулся; каждый узорчик синтетического ковра, висевшего на стене, местами вылинявшего, с ужасным по исполнению рисунком на тему охотники на привале; фанерный письменный стол, с кое-где полопавшимся лаком, отошедшей облицовкой, до отказа заваленный книгами, тетрадями и всевозможной ученической утварью; и даже успел разглядеть обои, потертые, песочного цвета, с безобразным матрасным рисунком, от которого можно было бы просто потихонечку сойти с ума.

— Макс, поди на секунду, — Муся поднялся с кровати и, отведя Макса к двери, зашептал так, чтобы Ваня не смог

услышать: — Макс, лучше я сам... подожди, — остановил он Макса, готового ему возражать. — Подожди нас на улице, я с ним быстро.

Ваня, видя это, сразу же насторожился, как ему ни хотелось, но расслышать что-либо ему не удалось, Макс все время смотрел на него.

— А чего я... — произнес Макс — лежит, блин, как пень, хоть бы слово сказал.

— Ребята, — в комнату, осторожно постучав, заглянула Ванина мама, — может, вы чайку попьете? — спросила она, виновато глядя куда-то сквозь подростков.

Ване почему-то стало ужасно за нее стыдно, покраснев, он неожиданно грубо выпалил:

— Мы не хотим.

— А, ну хорошо, — извиняясь, произнесла она и скрылась за дверью.

Сразу же за ней вышел Макс, предупредив:

— Я на улице.

Оставшись один на один с Ваней, Муся внимательно посмотрел на него: болен он или так, трусит только? В любом случае, главным было вытащить Ваню из постели... что дальше делать, точного плана у Муси не было: все зависело от того, как поведет себя «больной».

— Зря ты Макса обидел, — начал Муся издалека; для него было важно, *что Ваня* будет говорить, *каким тоном* будет говорить, и, исходя из этого, Муся и решил вести свою игру. — Макс правду тебе сказал, — продолжал Муся даже с некоторой патетикой. — Мы против тебя ничего не имеем. Макс даже вчера за тебя Абрамчику навтыкал... пойми меня правильно... — Муся выдержал паузу, сейчас как никогда он чувствовал, что играет, и как раз это ему и нравилось: он точно видел и слышал себя со стороны, и внутренне был вполне доволен собой. — Мы с тобой, чтобы ты ни думал, друзья; между собой мы можем и ссориться и даже драться, но, когда беда приходит со стороны, мы

должны помогать друг другу.. — закончил он совсем по- книжному. Ваня не понимал, куда клонит Муся и к чему такой тон, от этого тревога его усилилась. — Тут дело такое, Ваня, в школе такая беда сейчас творится, что я даже и не знаю, с чего начать. — Ваня еще больше насторожился. Муся заметил это и продолжал на полтона ниже: — Никаныч вчера к Матрене заходил и признался ей и про игру, и еще кое в чем... И вот это «кое что» может вылиться для тебя очень не хорошо.

— Я ничего ему не говорил... — поспешил откреститься Ваня. Тут же покраснев, он запнулся.

— Ваня, мы взрослые, умные люди, — увереннее, даже с некоторым пафосом произнес Муся, — мы вполне уже можем отвечать за свои поступки... не знаю, что там у тебя вчера произошло с Никанычем, — Муся произнес это с таким откровенным подвохом, что краснота спала с Ваниного лица, губы его вздрогнули, и болезненный страх появился во взгляде. — Не знаю, что произошло у тебя там с Никанычем... — повторил Муся негромко, повторил, точно выстрел контрольный сделал, — но, боюсь, что язык Никаныча доведет тебя... даже и боюсь предположить, до чего. — Ваня еще больше побледнел; видно было, что он не только растерялся, но и потерялся, потерялся совсем. Муся все это заметил и продолжал бить дальше: — Мой тебе совет, Ваня... Хоть ты вчера и сказал мне, что я тебе не друг, но совет я тебе даю именно дружеский. Знаю я тебя давно, и искренне хочу тебе добра. Самое лучшее сейчас для тебя, это форсировать события, лучшая защита — это нападение, ты, я знаю, понимаешь это как никто. — И опять в тоне Муси Ване почудился подвох. — Сейчас тебе лучше всего одеться и идти в школу, и сразу к Матрене; естественно, со мной, тем более, она сама нас сегодня вызывала, так что визит наш будет вдвойне уместен... — Вновь во взгляде Вани появилось непонимание. Он никак не мог уразуметь, чего добивается Муся, чего он, как котяра, хо-

дит вокруг да около. Почему прямо не говорит, чего ему надо... — Слишком много ты дел натворил, Ваня... Не знаю, может, мода такая пошла... в голубой цвет краситься. Это дело лично твое. Сейчас такое время, что никто за это тебя не осудит... только зачем нас — меня, Макса, — зачем нас подставлять?

— Я... я, Рома, я... — Ваня не нашелся, что ответить. Муся именно здесь выдержал паузу и вопросительно посмотрел на Ваню.

— Что *ты*? — тон Муси стал наливаясь тяжелым свинцом. — Ты можешь как угодно себя вести, но, на кой черт, говорить, что у нас с тобой... связь была... говорить Никаныху... Да хоть кому угодно.

— Ты что, Рома...

— Я, лично, — возвысив голос, обрубил Муся, — лично я никогда таким не был и быть не собираюсь. Если тебе нравится с Никаныхом кувыраться...

— Рома, что ты несешь?

— А то, Ваня, и несу, что вся школа уже тебя за гомика считает, и спасибо скажи Никаныху.

— Почему считает... что я сделал?!

— Не знаю. Тебе видней, — Муся поднялся. — Ладно, мне пора в школу, а ты можешь опять днем дома, а ночью к Никаныху, *винца попить*... только учти: то, что мы в карты играли, все это уже никому не интересно, даже Матрене. Деньги твои никому не нужны, даже Абрамчику... Да и сам ты скоро станешь никому не интересен, как хомячок дигибридный, думаю, даже Никаныху, попользуется он тобой и бросит... Учти, про тебя уже в школе четкое мнение сложилось... Про тебя и про Никаныха... — Муся коснулся рукой двери.

— Бред какой-то... Рома, подожди, не уходи. Ты же знаешь...

— Короче, через пять минут начало урока, на него мы уже не успеваем... — Муся, как мылом, смыл с себя всю

литературщину и говорил четко, рублено, как приказы отдавал. — Одевайся, на улице я тебе все подробно объясню... И учти, ты мне друг, плохого я тебе не желаю. Я действительно хочу тебе помочь.

— Рома...

— Ваня, — Муся вернулся, схватил Ваню за плечи и с чувством зашептал: — Ваня, я тебе верю. Но ты должен поверить мне. Если ты хочешь всю жизнь просидеть в этой комнате — сиди и бойся, как «голубизна» последняя. А хочешь имя свое восстановить, одевайся, и на улице я тебе все расскажу, что делать, и помогу из всего этого выпутаться.

Последнее действовало на Ваню ледяным душем. Мигом он вскочил с постели, оделся и вперед Муси вылетел на улицу.

— Вы что, уже ушли? — только и успела произнести им вслед мама.

Макс давно их заждался и, если бы они сейчас не вышли, то через минуту он зашел бы за ними сам.

— Чего вы там тянете? — взволнованно произнес он.

— Все нормально, Макс, — уверил его Муся и добавил, отведя его в сторону: — я сейчас с ним некоторое время побеседую; тут дело особое... Надо с ним с глазу на глаз... — не обижайся, потом все узнаешь.

— Понял, не дурак, — косо взглянув на Ваню, усмехнулся Макс и сел на лавочку возле подъезда.

От этих секретных бесед, взглядов, ухмылочек и усмешек Ваня готов был собакой завывать, протяжно, противно и... головой об асфальт, чтоб мысли вылетели из него вместе с мозгами и не пытали его и так запытанного и замученного.

Обняв его, Муся повел его к беседке, и это объятие, которое было вполне обычным и означало лишь общение с глазу на глаз, теперь казалось Ване чем-то предосудительным, даже недостойным, любое прикосновение Ваня при-

нимал как подвох, проверку: «обнял — значит издевается, дает понять, что мне это нравится, а мне это не нравится...»

— Слушай, Ваня, меня внимательно и не перебивай. Сейчас тебе слушать надо... Как я понял, ты умудрился-таки Никанычу про игру взболтнуть... Я за это тебя не осуждаю и как друг понимаю. Только Никаныч, не будь дураком, после твоих слез на тебя глаз положил. А чтобы на него не подумали, стукнул Матрене, что ты нам себя в карты проиграл и вместо денег себя нам предложил...

— Это неправда....

— Не перебивай... Матрена нас вызвала... Тебя она тоже желает видеть. Причем, дело уже не в картах, а исключительно в другом. Никаныч хочет из нас из всех себе подобных сделать, а потом тебя под себя подложить. А чтобы все вышло по-нашему, мы сейчас должны, не откладывая, к Матрене идти, и ты рассказать ей все должен, только не про игру, про игру и говорить не стоит, а про то, что ты Никаныча встретил и он к тебе приставал...

— Рома, ты дурак, я ничего говорить не буду, все это вранье.

— А раз так, тогда черт с тобой. Мне-то что от этого, не меня в школе за «голубого» считают... Тебя! Мне-то все параллельно. Как *ты* будешь дальше жить — это вопрос! И если охота тебе все это, тогда извини, мне с тобой говорить дальше не о чем.

— Слушай, — Муся резко посмотрел на Ваню, — а может, я зря тебя защищаю, я ведь в школе, чтобы про тебя ни говорили, чуть ли не в драку лез. Говорил: вы чего, пацаны, чтобы Ваня, да на такое... Может, я ошибся, может, я зря все это затеял. И ты давно уже в парке возле общественного туалета по вечерам тусуешься.

— Рома, я не... Рома, это неправда.

— Что ты заладил: «правда — неправда» — как тукан... Только попробуй мне истерику закатить!

Слушая такие несправедливые обвинения, Ваня готов был уже заплакать, лицо его сплющилось, и губы приготвились растянуться и пустить слюну.

— Как девочка... в натуре, — процедил Муся. Единственное, что он сейчас испытывал к Ване — безграничную брезгливость и гадливость. Но, подавив первое желание плюнуть и уйти, он схватил Ваню за плечи и продолжил вдохновенно: — Ваня, слушай меня, я дело тебе говорю, я тебе помочь хочу; чтобы ты ни говорил, мы же друзья...

— Да-а, друзья, — не выдержав, захныкал Ваня. — А кто меня в карты обманул, расписку заставил писать и-и... и бил...

— Ну ты... ты чего раскис, как девка шалавливая... короче, говори, ты педераст...

— Не-ет.

— А раз нет, тогда утри сопли.

Видя, что Ваня не успокаивается, а напротив, еще мгновение, и заревет по-настоящему, Муся сдался: не хватало, чтобы Ваня забился здесь же, в беседке, в истерике.

— А ну тебя к черту. Хочешь, чтобы все тебя за педика считали, живи, как есть, — сказав, он вышел из беседки.

— Рома, я... — Ваня бросился за ним.

— Ты идешь со мной или нет? — развернувшись, спросил Муся в лоб.

— Но так ты же сам говорил, что уже все... знают.

— Я иду, Макс идет; никто тебе и слова не скажет, а скажет, Макс разберется. Идем.

— А Макс, он...

— Все нормально. Идем.

— А что говорить?

Муся готов был уже убить его на месте.

— Короче, — сдерживая себя, заговорил он: — Давай сядем и все утрясем.

Вернулись в беседку.

— Значит так, Ваня... Хочешь, чтобы я тебе помог?

— Угу, — кивнул Ваня.

— Что у тебя вчера было с Никаныхем, все рассказывай, от и до... Ваня, не мнись, я не из праздного любопытства спрашиваю.

Отдышавшись, вытерев слезы, Ваня про себя махнул на все рукой — будь что будет, теперь уже *точно*, терять нечего, — не стесняясь, он выложил Муся все, все до мелочей, включая сны и свои ощущения.

Муся слушал внимательно, сосредоточенно... Но каким трудом давалась ему эта сосредоточенность, всю руку он исщипал себе, только бы не расхохотаться... ему ликовать хотелось, веселиться, впервые он слушал такую откровенную историю, и ведь как Ваня подробно рассказывал о своих душевных переживаниях, Муся временами поражался, забывал про смех, слушал с неподдельным интересом и порой жалость охватывала его: в каком же страшном мире живет этот Ваня Мамкин. Больная слабоумием сестра, рехнувшаяся от злой мнительности бабка, запуганная, забитая жизнью мать и, как контрольный выстрел, эта история с картами, деньгами и Никаныхем. И как откровенно все это Ваня рассказывал. Эта голая откровенность все больше и больше склоняла Мусю к мысли о бесповоротном Ванином сумасшествии. «Ведь не считает же он действительно меня своим другом, и не дурак же он... но рассказывает; неужели ему и вправду уже все равно, до какой же степени надо загнать себя в угол, чтобы полностью раскрыться и отдать себя в руки чужой воли, неужели он так слаб и безволен... он ненормальный... тем лучше».

— Молодец, Ваня, — заключил Муся, как только тот замолчал. — А теперь мы прямиком идем к Матрене, и ты все ей рассказываешь, все, что касается тебя и Никаныха, остальное не надо... и тогда мы выиграем, такого козыря, как твой рассказ, не перебить никому, тем более этому педриле Никаныху..

— Не волнуйся, Рома, я расскажу... я же все понимаю... устал я... Сука ты, Муся, последняя, мразь... но я все равно все расскажу... Какая теперь разница, — все это Ваня произнес с такой ясностью, словно видел Мусю насквозь и все уже знал наперед. Муся даже струсил, но, увидев спокойное и решительное лицо Вани, успокоился. «Скажет, — мелькнуло у него, — теперь обязательно скажет».

Бледный, Ваня не пререкался, не отнекивался, обессиленный, сидел он на скамейке в беседке, безучастно рассматривая окна своего дома. Чувство, что его поймали, обманули, крепко засело в нем. «Пусть... пусть — но только бы скорее все это кончилось». Спасительная соломинка, которую ему бросили и которую он схватил, оказалась прочной леской с острыми крючком на конце. «Я попался... давно попался... пусть... пусть... но скорее бы, скорее... я все скажу. Все. Скорее бы...»

Вплоть до школы Ваня шел, как в бреду, ничего не видя и ничего уже не понимая. Слева его подбадривал Муся, справа — Макс. Но их он не слышал; теперь ему стало все ра-в-но.

III

Уже с утра, заведенная от всего этого *бардака*, Марина Ивановна, сидя за своим столом, не знала, повеситься ей или застрелиться.

Конец учебного года!

Миша подозревает Колиного ученика в проституции. Ученики подозревают Колю в гомосексуализме. Коля обвиняет трех своих учеников в совращении четвертого. Ученики играют в карты на Колю. Коля женится на Зиночке. А Зиночка, на глазах у всего дома, вывалилась в хлам пьяная из такси, в сопровождении двух мужиков, и надо же ей

было вывалиться именно тогда, когда мимо проходили двое родительниц ее учеников... Было, отчего заболеть голове.

Только что Марина Ивановна пыталась беседовать с двумя учениками — шептунами из 9 «Б», приведенными Мишей. Кроме тупого, упорного мычания, она от них ничего не добилась, и еще: «Говорят, что Николай Иванович вроде бы, вро-де-бы того. И что Мамкин Иван тоже вро-де-бы того». Все — это все, чего она добилась.

— Миша, послушай теперь меня внимательно, — обратилась она к Мише, оставшись с ним наедине. — Сегодня на большой перемене скажи Коле, чтобы он зашел ко мне, и ты вместе с ним. Разберетесь при мне основательно. И чтобы эта история сдохла сегодня же... умерла! Вы мне за эти два дня вот где уже — Мария Ивановна провела большим пальцем руки по шее. — Если я завтра об этом услышу... если вы эту проблему не решите... Тогда я ее решу. Уволю вас обоих, к едрене-матрене... Пошел вон.

Мишу совсем не обрадовало такое заявление Марины Ивановны.

— Кто меня за язык тянул, — выругал он себя и даже матернулся по этому поводу, но совсем тихо.

Увольняться — желания не было никакого. Работа, конечно, была дрянь. Но в армию хотелось еще меньше. А весенний призыв как раз был в самом разгаре.

Ничего не оставалось, как искать Никаныча, договариваться с ним обо всем и как-то заминать все это. Другого варианта он не видел.

«Не лез бы, может, и без меня бы все решилось, — размышлял он, — а теперь я крайний. Так бы шумок по школе шел бы и шел себе. Может, чего из этого и вышло. А теперь, нате: «Чтобы завтра я об этом не слышала», — подражая низкому мужскому голосу директора, передразнил Миша». Совсем ему не хотелось разговаривать с Никанычем, но придумать что-либо другое он, как не тужился, не мог. «Как не крутись, а без «злата» не обойтись, —

тьфу ты, черт, тупая реклама, надо было сегодня не смотреть телевизор», — мысль о вредности утреннего просмотра телепередач и паскудности и привязчивости всех реклам отвлекла, но ненадолго. Подумав, и ничего не придумав, Миша направился в кабинет биологии. До звонка на первый урок время было. Никаныч как раз только вошел в свой кабинет, когда следом появился Миша.

— Здорово живешь, Коля, — поздоровался он как можно развязнее, держа руки в карманах. Утвердительно покачивая головой, прохаживаясь между партами, осматривая, словно впервые, кабинет, который уже видел раз двести, и продолжая бессмысленно кивать головой, заметил: — Ничего, нормально у тебя... плакаты, пособия... — Миша не знал, с чего начать.

— Как первая брачная ночь? — пошутил он, но вышло у него это грубо и даже неприлично.

Никаныч никак не поддерживал разговора. Мишу он недолюбливал; то, что и Миша, в свою очередь, его недолюбливает, он знал. И поэтому приход его был для Никаныча, по меньшей мере, удивителен. Тактично улыбаясь, он ждал, когда Миша, наконец, откроет причину своего визита.

Немного помолчав и, в который раз осмотрев плакаты с изображениями растений и животных, Миша вновь попробовал:

— Я вот у Матрены... тьфу ты, — сплюнул он, улыбнулся, — у Марины Ивановны сейчас был. Тут такое дело, Коля... Вчера вот и Руслана Семеновна с сердцем... Мамкин твой...

Не совсем понимая, куда тот клонит, Никаныч, не снимая с губ тактичной улыбки, косо и все с большей тревогой поглядывал на Мишу. Оговорку насчет «Матрены» он воспринял как хитрый и коварный ход; настороженно слушая Мишу, Никаныч в каждый момент ожидал от него подвоха.

— Я что пришел-то... — продолжал Миша, — ты вчера к Марине Ивановне заходил... Просто объясни мне, что там у тебя... точнее, что там у учеников твоих за беда получилась? Кто кого там насиловал... проигрывал... объясни мне по-человечески. А то шумок нездоровый по школе идет.

— Тебя Марина Ивановна попросила? — с чуть заметным волнением спросил Никаныч. Внутри же у него все так и перевернулось. «Миша, он здесь причем? С какой это стати Марина Ивановна перекладывает проблему на этого Мишу? Ни дать, ни взять, ко мне подбираются».

— Марина Ивановна как раз и попросила... — ответил Миша, — к тому же, слухи нехорошие по школе бродят... Что Ваня Мамкин... не совсем на деньги в карты играет... Это понятно, отца у него нет, семья бедненькая, а сейчас время такое, что ради хлеба насущного и собой не грех торгаться... Говорят, что не приставал к нему никто, а он сам такое условие поставил, что, если выиграет, то деньгами возьмет... а если проиграет, то... собой расплатится... Ну, что же я тебе все это говорю, тебе это лучше знать, — заключил Миша напрямую, без намеков.

Последнюю реплику Никаныч пропустил, поморщился только, и то чуть-чуть, совсем для Миши незаметно.

— Миша! — вырвалось у Никаныча до того манерно, с такой откровенной протяжной «ш», что сам он испугался. — Миша, — поправился он, теперь сдерживая свою манерность. — Как ты можешь так говорить? Ваня прекрасный ученик... и, если ты имеешь в виду случай с Русланой Семеновной, то вчера, при свидетелях, она откровенно пояснила, что виноват был исключительно весь класс, а Вани, к сведению, в школе и вовсе не было. И как только, Миша, ты поверил, что Ваня, Ваня Мамкин, такой ученик... способный мальчик... и... и такое... Миша, это просто смешно. Это откровенная выдумка, и даже больше, клевета! Не сомневаюсь, что у такого способного уче-

ника, как Ваня, есть завистники, которые и распустили все эти грязные сплетни.

— Коля, ты хочешь сказать, что Абрамов и Быков «распустили», как ты выразился, это из зависти? Коля, не неси херню.

— Миша, выбирай выражения.

— Да ладно, Коля, херня, она и есть херня. Я в жизни не поверю, чтобы Быков кого-нибудь совращал... тьфу ты, — плюнул он, — даже подумать об этом... — не договорив, он гадливо поморщился. — Короче! Коля, давай эту проблему решим по-свойски. Про карты они у меня сразу же забудут — вольты от дамы не отличат. Мамкина, само собой, в покое оставят... Пусть он свои делишки на стороне обделывает... И вся эта история затихнет... Сам понимаешь — сор из избы... Конец года... и такая история... Выносить это из школы... чего я тебе объясняю, и так проблем хватает, сам знаешь. Так что, давай после второго урока зайдем к Марине Ивановне, объясним ей все это... И забудем... А то родителей вызывать, они еще ментов сюда приплетут. А зачем нам это: менты, разборки? Что, не правильно говорю? — В ответ Никаныч лишь пожал плечами. — Ну, вот и хорошо. Договорились. Значит так. После второго урока встречаемся у Марины Ивановны, объясним ей все, заминаем, и проблему решаем. Договорились? — Никаныч вновь пожал плечами. — Ну, значит, договорились, — сказав это, Миша вышел из класса.

Разговор оставил у Никаныча неприятный осадок. Но, пожалуй, большее беспокойство теперь Никаныч испытывал за Ваню. Что с ним, где он... Слухи, рассказанные Мишей, стали для Никаныча откровением, и теперь он... теперь он совсем не знал, что думать про Ваню. После вчерашнего с ним общения он мог вполне поверить, что слухи эти, может быть, даже и не слухи вовсе... И кто его знает, может, после всего этот впечатлительный мальчик и взболтнет чего-нибудь лишнего... и тогда это будет совсем не смешно. Тогда и женитьба не поможет. Никаныч испугался. За

себя испугался. «Глупость», на которую он вчера решился, мучила его, он тысячу раз уже успел раскаяться и отругать себя за слабость, проявленную в отношении к Ване.

Конечно, ничего страшного не случилось; и все же... и все же случилось. В этом-то — *все же случилось* — Никаныч убедился, как бы он этого ни хотел.

Уроки ненадолго отвлекали его от этих мыслей. Но, как только звенел звонок, и класс с шумом покидал кабинет биологии, тревожные мысли вновь возвращались к Никанычу.

После второго урока он вышел в коридор и направился в кабинет директора.

IV

— Что ты, Ваня, совсем какой-то не такой, — заметил Муся, когда уже до школы оставалось идти совсем чуть-чуть. — Знаешь что, Ваня, думаю, тебе сейчас необходимо для храбрости выпить.

Предложение это не испугало Ваню, даже не удивило, он равнодушно посмотрел на Мусю, и весь вид его будто говорил: «Делайте со мной все что хотите, только поскорее оставьте меня в покое».

— Макс, у тебя червонец есть?

— Ромик, ты сдурел, — ответил ему Макс, — я не про червонец, а про выпить для храбрости. Мы же не к девочкам идем, а к Матрене.

Даже на такой откровенный диалог Ваня никак не отреагировал; подобно спящему голубю, он склонил голову набок и сквозь щелочки опущенных век сонно рассматривал трещины на асфальте. Ему не хотелось спать... ему хотелось умереть. Он представлял, как сейчас ноги его ослабнут, и, как из воздушного шарика, из которого медленно выходит воздух, так и из него потихонечку выветрятся силы, и плавно он сядет на асфальт. Единственное, что раз-

досадовало его — сколько он не представлял себя воздушным шариком, медленно оседающим на землю, как он ни старался, цвет воздушного шарика обязательно был голубой. Ваня силился представить себе зеленый, красный, хотя бы синий, но шарик упорно, что бы Ваня ни принимал, становился всегда голубым. Другой, может, и развеселился бы такому странному упорству своего воображения, но Ваню это ничуть не развеселило.

— Ну, как знаешь, — Макс извлек из кармана десятирублевую бумажку и протянул ее Мусе.

Приняв ее, Муся кивнул в сторону забегаловки с трогательным названием «Радуга» и, взяв совершенно инертного Ваню за руку, точно ребенка, повел его туда.

Маленькая, неприметная, с одной-единственной дверью, совсем без окон, забегаловка сиротливо ютилась в торце пятиэтажного жилого дома.

От входа до стойки бара — точно как от любви до ненависти — был один шаг, сделав его, Муся быстренько осмотрел стоявшие на стойке длинным рядом ценники и, найдя нужный, прикинув, что и как, положил на стойку десятирублевку и, хитро подмигнув классического вида продавщице, круглой во всех отношениях и накрашенной так ярко и ядовито, как не рискнули бы краситься малолеточки, собираясь на дискотеку, заказал:

— 90 грамм водки и стакан минералки.

— Не рановато ли, — взглянула она на него своими выкрашенными в дичайший зеленый цвет глазищами, но деньги взяла. Имела ли она в виду ранний возраст клиента или же раннее время, она не пояснила, спросила только: — Может, тебе 100 грамм налить, а минералки поменьше?

Муся отрицательно мотнул головой.

— Правильно. Точность — вежливость королей, — хихикнул бомжеватого вида мужичок, стоявший возле круглого столика в самой глубине забегаловки.

Забегаловка была всего шагов десять, первую ее половину занимал бар, на второй, тесно прижавшись друг к другу, стояло два высоких круглых столика, за одним и расположился мужичок.

— Правильно, отец, — согласился с ним Муся, принял у продавщицы заказ и, махнув Максу и Ване, прошел к мужичку и занял свободный столик.

— Вот у дружбана, — указал он на Ваню, — башка раскалывается, решили его полечить.

— Полечить, дело святое. — Хихикнул мужичок. Лечение — свет, а не лечение — тьма. У меня, корешок, вон, на прошлой неделе не опохмелился и все, Богу душу отдал. — Продолжал словоохотливый мужичок; видно, сам он только недавно опохмелился, лицо его было счастливое, просветленное и расположенное к разговору. — Жена не дала. Вместе пили. А наутро он просыпается, жена за столом сидит, уже опохмеленная, перед ней ополовиненная бутылка; он ее просит, чтоб налила, сил-то дотянуться нет, а она ему: вот тебе, и дулю показала. Он потрясся, потрясся, да так и помер. А налила бы, жил бы сейчас человек, жизни радовался... Ан видишь, от чьих рук смерть принял — от рук собственной жены. И ведь не посадишь ее... Вот такие вот бабы.

Не переставая хихикать, мужичок хитро кивнул в сторону продавщицы.

— Да ты посмотри, сколько им лет, какое им похмеляться, — сурово ответила продавщица. — Им еще соки и молоко пить.

— А это им виднее, что пить. Может, у них на сок аллергия, а молоко — давно доказано — продукт для организма вредный. А водка — это самый чистый продукт. Николай II всегда за обедом рюмку водки выпивал. А шас его святым сделали — канонизировали. Так вот.

— Богохульник ты, — покачала укоризненно головой продавщица. — Э-эх... Я если б узнала, что мой сын, вот так вот, по утрам, по забегаловкам шляется, прибила бы.

Увидев перед собой граненый стакан, вполовину наполненный прозрачной жидкостью, Ваня в отвращении повел лицом, готовый сблевать уже от одного его вида.

— Ты ее не нюхай, — сочувственно посоветовал мужичок, — а дыханье удержи, и, как водичку, только не залпом, а то подавиться можешь. Водка любит, когда ее с любовью внутрь принимают.

— Чему ты ребенка учишь, он вон весь бледный стоит, а ты его учишь. — Вновь покачала головой продавщица.

Ваня, не обращая ни на кого внимания, взял стакан без пререканий и без возражений, водку выпил, к удивлению сердобольной продавщицы и подростков, легко, совсем как «водичку»; тут же Муся протянул ему стакан с минералкой. Опустошив и его, не проронив ни слова, Ваня протиснулся между стеной и Максом и направился к выходу.

— Видно, с опытом человек, в очках, ученый, — умо-заклучил мужичок и вновь хихикнул: — Ну, теперь ему полегчает.

Ваня опьянел сразу же. Когда он оказался на улице, его слегка повело, чувство легкой пришибленности мягко накрыло его голову; поправив очки, он широко осмотрелся и, поймав изучающие взгляды Муси и Макса, остановился на Мусе; легко, как и должно быть, попросил у того сигарету.

— А вот сигареты, извини, нету, — развел Муся руками и, продолжая внимательно наблюдать за Ваней, напомнил: — Пора.

— Пора. — Кивнул ему Ваня.

До школы оставалось только перейти дорогу, а там сотня шагов по школьному двору и все...

— Муся, ты уверен, что все будет нормально? — чуть приотстав от Вани, негромко спросил Макс.

Муся не успел ответить. Обернувшись, Ваня вдруг хлопнул Макса по плечу и, то ли весело, то ли зло, по крайней мере азартно, выпалил:

— Нормально, Макс! *Все* нормально! Сядут все!

Макс остановился; сейчас он струсил — смелый, ничего не боящийся Макс сейчас струсил. С подозрительной опаской он вглядывался в Ваню, пытаясь разобраться, что все это значит, особенно последнее: «сядут все».

— Не менжуй, Макс! — Ваня готов был взлететь или, по крайней мере, сплясать. Подпрыгнув, он хлопнул ладонями по животу и ляжкам, прокричал: — Охо-хо! — И, ткнув Макса пальцем в грудь, заявил: — Тебе бояться нечего.

— Знаешь что, Муся, — повернулся к тому Макс, — неуверен я, что сейчас время к Матрене идти.

— Нет, Макс, именно сейчас время, — снова влез Ваня.

— Вы чего, рехнулись оба? — обращался Макс исключительно к Мусе. — От него водярой несет; и глянь, чего он вытворяет. Вы чего задумали?

— Мы задумали то, что и хотели задумать, — вновь ответил за Мусю Ваня. Такой легкости и такого полного пофигизма, как сейчас, он еще не чувствовал. Ему было на все наплевать, и это «наплевать» так ему нравилось, что ему петь хотелось; он ничего не боялся; он — вот сейчас — мог запросто послать всех и пойти гулять. Но ему самому хотелось идти к Матрене и говорить, говорить ей *все* — пусть знает!

— Я с вами, придурками, никуда не пойду. — Все еще опасливо, но уже с некоторым презрением Макс осмотрел их и, засунув руки в карманы, замер в вызывающей позе.

— А! — пьяно махнул на него Ваня. — Нужен ты нам... у нас все как в считалочке про 10 негритят: «... И их осталось двое...» Пойдем, Муся, покажем им всем *гамовёр*. — Обняв его, Ваня, бесшабашно улыбаясь, зашагал к школе.

— Дебилы, — бросил им вслед Макс и посмотрел на часы: до конца второго урока оставалось не больше 10 минут.

Дождавшись, когда эта парочка скроется в дверях школы, Макс, не торопясь, последовал за ними. Что бы ни было, но что будет дальше было ему интересно.

V

Возле входа в приемную директора Ваня вдруг замялся, веселая уверенность его потускнела, пальцы, едва коснувшись ручки двери, заметно задрожали.

— Ну, что же ты... — Муся не успел договорить. Услышав его голос, Ваня всей пятерней вцепился в ручку и дернул ее на себя с такой силой и азартом, словно за дверью сидел человек с больным зубом, привязанным ниточкой к двери, и только того и ждал, что кто-нибудь войдет вдруг и зуб его вырвет.

Зуб Ваня никому не вырвал, но секретаршу Светочку напугал.

— Ой, — вздрогнула она, — вы чего, ребята, так дергаете, так же и напугать можно.

— Здравствуй, Светочка, — поздоровался Муся.

— Привет, Рома. Ну, ребята, ни пуха вам ни пера, — посочувствовала им Светочка и предупредила: — Перед первым уроком Миша Гоблин с двумя ребятами из 9 «Б» заходил, о вас говорили. Потом Марина Ивановна сказала, чтобы Миша и Никаных ваш зашли к ней после этого урока. Ваш вопрос решать будут. — Говоря все это, Светочка незаметно с интересом поглаживала на Ваню, словно пыталась убедиться, глядя на него: правду о нем говорят или наговаривают? Ваня, одурманенный водкой, ословело блуждал взглядом по приемной; между прочим он осмотрел и Светочку. Светочка заметила это, сконфузилась и невзначай глянула на свое платье.

— Спасибо за информацию, — поблагодарил ее Муся и костяшками пальцев постучал в дверь директорской.

— Входите, — донеслось из кабинета.

Открыв дверь, Муся толкнул замявшегося на пороге Ваню и вошел следом. Проводив их, Светочка полностью отключила приемник, отложила бумаги и, что есть мочи, напрягла слух.

Увидев подростков, Марина Ивановна торопливо затушила сигарету, разметала перед собой ладонью дым и, с прищуром посмотрев, испытующе, сначала на одного, затем на другого, сурово и в то же время устало вымолвила:

— Ну что... явились. Легки на помине.

Муся, с видом раскаявшегося грешника, потупил взор и всем видом своим демонстрировал тихую и безграничную покорность.

Ваня вошел в кабинет как-то бочком, искоса, затравленным зверьком поглядывая на сидевшего за столом директора, но то ли от страха, то ли, наоборот, от нахлынувшей вновь смелости гордо выпятил грудь и с вызовом, нагло уставился прямо Марине Ивановне в глаза; трясущиеся руки свои он завел за спину и крепко, до боли, сцепил их там, отчего точь-в-точь стал похож на коммуниста, допрашиваемого белогвардейцами. Марина Ивановна не могла этого не заметить, и такая вызывающая поза ей явно не понравилась.

— Так, — произнесла она задумчиво, — сейчас подойдут Николай Иванович и Михаил Иванович... Хорошо, что вы подошли вдвоем... — добавила она после паузы. — С Быковым и Абрамовым я вчера пыталась беседовать, и они меня клятвенно убеждали, что ничего не было, что ни в какие карты вы не играли, никто, Иван, тебя не бил, никто тебя не заставлял на Николая Ивановича покушаться, и никто тебя не домогался. Так ли это, Иван?

— Не так, — ответил Ваня резко и дальше повел себя нагло и развязано, будто не директору он все это говорил, а своей старой подружке. И, что интересно, он прекрасно понимал, что одним этим приговор себе подписывает. Но по-другому вести он себя уже не мог.. точно, назло он это делал, и не кому-нибудь, а самому себе.

Он был подобен «маленькому мальчику» из детских вредных советов: «Видите, как я себя веду перед вами! Видите?! И смотрите! И знайте! Что не я в этом виноват, а вы.

Но вы никогда этого не поймете! Разве вы можете понять, почувствовать мою боль?! Разве вы на это способны! А я вам за это (себе же во вред!) еще перцу подбавлю, и пусть мне от этого хуже будет, пусть!.. И знаю я, что ни боли моей, ни того ужаса, в котором я живу, вы не поймете. Потому что не можете понять. Знаю я это, и все равно буду так говорить. Пусть вы посчитаете меня обычным грубияном и наглецом, пусть. Вы слепцы! Вам не увидеть всего того кошмара, который я прячу за этой грубостью и наглостью». Совсем в глубине души Ваня все же надеялся, что, несмотря на его резкость и дерзость, его все же поймут, поймут, чтобы он ни говорил, поймут и... оправдают, пожалеют, посочувствуют, скажут: молодец, Ваня, мы знали, мы ни на грош не сомневались, что все это глупости и ложь. Ты, Ваня, отличный парень, это Юдин подлец, и все подлецы, и всех мы их из школы, к едрене-матрене, повыгоняем... а тебя... тебя... И, не найдя слов, Марина Ивановна сдержит слезы, подойдет к Ване, обнимет его как родного и здесь уже не сдержится и заплачет, и вся школа будет жать Ванину руку и искать его дружбы...

Но Марина Ивановна не имела привычки заглядывать в душу своих учеников, она лишь слышала до безобразия наглый голос, до возмутительности непозволительные слова, и видела его агрессивную позу.

Муся, сперва ошарашенный и даже испуганный, потом успокоился и даже торжествовал. Он до последнего сомневался, что все так замечательно случится... Игра шла на славу.

— Вы спросили меня, так ли это? — воскликнул Ваня. — Отвечу — не так! И отвечу потому, что знать вы должны, что здесь творится. Вот, Рома Юдин — стоит здесь, как ангелочек, друга передо мной корчит. А какой он мне друг, и фамилия его не Юдин, а Иудин. Иуда он, самый настоящий Иуда. Он предал меня. Он заставил меня прийти сюда, и душу свою перед вами рвать; и даже водки налил мне, чтобы душу я рвал перед вами без страха, чтобы язык мой от

водки молот что ни попадя. Вот и буду молотить! Вот и слушайте меня! Или Николай Иванович (или как его еще кличут: Никаныч) — тоже друга из себя передо мной корчил. Говорил: не бойся, Ваня, все хорошо, это они тебя бояться будут, — а сам ласково так меня гладил и целовал. От доброты что ли он меня гладил и целовал? От похоти своей! Да, я играл в карты. Да, проиграл деньги; и расписку я писал, и то, что Никаныча убить, к едрене-матрене, обещался — и это правда. Хотя, что он мне плохого сделал? Только то, что хотел меня в постель к себе затащить... Да, да, не удивляйтесь — в постель к себе затащить... А что здесь удивительного — если к девочкам другие учителя пристают, хотя бы вот Миша (который Гоблин); всем известно, что он турпоходы со старшеклассниками организует исключительно, чтоб их водкой всех перепointь и девчонок за сиськи полапать — а может, и обломится, может и даст! Что, не знали об этом?! Странно, об этом все старшие классы знают, вот хоть и у Ромы Иуды спросите, он не даст соврать, а раз Мише к девочкам приставать можно, почему бы Никанычу к мальчикам не поприставать? Чем он хуже?! У него тоже передок есть, и он тоже на него слаб... И я слаб, а как я могу быть сильным, когда у меня дерьмо на душе, а он со своими утешениями мне чуть ли не в штаны лезет. Про музыку мне говорит, про искусство. И все так чисто, так возвышенно! И говорите вот мне после этого, что гомосексуализм это грязно. У Никаныча в квартире идеальная чистота, и сам он духами пахнет, и говорит все мягко и добро так — заслушаешься, а рядом с Гоблином стоять рядом нельзя: он него потом постоянно воняет — турист... и разговаривает с тобой, словно ты дрянь последняя. Да и как он может говорить нормально, когда он кое-как институт закончил, и его в школу Руслана Семеновна от армии спрятала. Думаете, мы ничего об этом не знаем? Так лучше я с гомосексуалистом Никанычем общаться буду: про Грецию разговаривать с ним буду, про музыку, которой бы не было, если бы не го-

мосексуалисты... И говорит же все правильно и красиво, а сам только и думает, как бы мне в штаны покультурнее да поскорее залезть. Только не такой я, и за деньги я не продаюсь — вранье это! А только хочется, по-настоящему хочется, чтобы человек себя с тобой по-доброму вел. По-настоящему, по-доброму, а не только, чтобы в постель или в кусты затащить. Эта страшная и подлая доброта, такая доброта хуже всякой злобы и ненависти. Я боюсь такой доброты. Но если другой доброты нет, если доброта в нашей жизни расплаты за себя требует? Если, разговаривая с Николаем Ивановичем, я чувствую, как голос его дрожит, и что обнимает он меня и утешает от желания своего, а не от доброты? Но ведь хочется доброты, а где ее взять... и верить начинаешь, что слово это выдумали для дурачков. Нет доброты, и любви нет. Никто сейчас никого не любит, все только *занимаются* любовью, а что такое любовь, не знает никто... — Ваню прервал стук в дверь.

В кабинет вошли Никаныч и Миша.

— Вот, Коля, — забывшись, что здесь ученики, пригласила Марина Ивановна; она до того была ошарашена Ваниной речью, что даже ни разу не перебила его, и при детях обратилась к учителям по имени, чего раньше себе никогда не позволяла. — ...И ты, Миша... Оба послушайте, очень интересно он рассказывает. Продолжай, Ваня.

— А что продолжать! Нечего продолжать! Все — гамовер! — Ваню вдруг сильно и отчетливо затрясло.

— Ненавижу вас всех! — завопил он во всю глотку. — Ненавижу!!!

Слезы брызнули из его глаз. Ничего не видя, ничего не понимая, кинулся он к двери и, рванув ее, выскочил из кабинета.

— Господи! — Марина Ивановна схватилась за сердце. — Держите его, убьет же себя!

Миша первый выскочил за Ваней, за Мишей следом — Никаныч и Муся.

Очутившись в ожившем с переменной коридоре, Ваня тараном пробился сквозь спящих туда-сюда учеников и, растолкав зазевавшихся на лестничной площадке девченок, стремительно помчался вверх по лестнице.

— Держите его! — кричал выскочивший из приемной Миша. — Пацаны, держите его!

После многие удивлялись, откуда в шупленьком Ване взялось столько силы. Его хватали, держали, даже били. Ваня сумел вырваться ото всех. Как лосось на нерест, рвался он упорно вверх по лестнице. Вбежав на последний, четвертый этаж, преследуемый криком и топотом несущихся за ним учеников и учителей, он, ко всеобщему шоку, схватил Бог весть откуда взявшийся в коридоре стул, одиноко стоявший возле окна, размахнулся, выбил им оконное стекло и влез на подоконник.

Его успели схватить за ногу, но, развернувшись, Ваня с размаху вlepил свободной ногой в лицо схватившего его старшеклассника и спиной вывалился из окна. Непонятно было, прыгнул он сам, вывалился, не удержав равновесие, или же его толкнули. Когда он вскочил на подоконник, возле него оказалось человек пять старшеклассников, и после поговаривали, что, когда Ваня ударил одного, другие, в мстительном азарте, сами толкнули Ваню.

Как бы то ни было, коридор замер. Визги, крики, преследовавшие Ваню до самого падения, как только он исчез в окне, исчезли вместе с ним. В оцепенении все замерли, словно в игре «море волнуется раз», даже подросток, сваленный на пол ударом Ваниного ботинка, замер, только оторвав плечи и голову от пола. И так же, как и в игре, по команде, вновь визги и крики содрогнули коридор: теперь в десять раз сильнее и истощнее, взрывной волной разнесшиеся по школе (казалось, визжала вся школа — каждый класс, каждая парта), резонансом прыгая по стенкам и потолку, влетая в стекла и падая на пол, объединясь в один обезумевший от страха визг.

VI

Через минуту все окна школы, выходившие во двор, сотнями испуганных и сгорающих от звериного любопытства глаз смотрели на ничком раскинувшего крестом руки лежащего на асфальте Ваню. Страха ли больше было в этих смотревших сквозь стекла окон глазах или любопытства?... Скорее, любопытства. Да и визг был на самом деле не таким оглушающим, это так на первый взгляд показалось, что визжала вся школа, в действительности все было гораздо скромнее. Большинство так вообще поначалу ничего не поняли, а когда поняли, то и смысла визжать уже не было. Завизжала всего-то пара-тройка девчонок, да пара-тройка преподавательниц, оказавшихся кстати, вскрикнули и за сердце схватились, но тем, кто оказался рядом с этими парами-тройками, и не могло показаться иначе, как то, что визжали не эти пары, тройки, а вся школа.

Впрочем, если бы Ваня не вывалился из окна, многие бы, скорее всего, разочаровались, а некоторые даже обиделись. А как по-другому? Кто был для большинства этот Ваня Мамкин? Большинство вовсе не подозревало о его существовании, большинство даже не знало, что упал именно *этот Ваня Мамкин...*

...Через четверть часа с вахты, из директорской, из учительской звонили, вызывали «скорую», милицию... преподавательница истории позвонила своей племяннице, работавшей в «Новостях» местной телекомпании, чтобы, как говорится, «из первых рук»... Возле Вани постепенно образовалось прочное кольцо. Уже через несколько минут кольцо стало таким плотным и густым, что многие спустившиеся было поближе посмотреть труп, раздосадованные, бежали обратно в школу, чтобы из окна смотреть на все творившееся; многие из тех, кто побежал вниз, а потом обратно вверх, нашли свои места у окон занятыми, к окнам было не подступиться; все окна, смотревшие во двор (Ваня лежал во дворе школы), были отворены,

и давившие друг друга ученики, некоторые, недовольно матерясь, напрягали зрение, только бы поподробнее разглядеть: до мозгов Ваня себе череп раскроил или нет?

— Мозги видишь? Нет? — спрашивали друг у друга ученики.

— Нет, кровища одна.

— А я, кажись, вижу мозги.

— Где?

— Глянь! По ходу, и ребра выскочили.

— Где?!

— А чего он прыгнул-то?

— А черт его знает... По ходу, не до мозгов черепушка раскололась...

— Подойти бы поближе...

— Да, поближе виднее было бы...

Как ни чесалось некоторым крикнуть тем, кто поближе: есть ли мозги или нету, об этом школьники спросить стеснялись. Двое азартных поспорили на 10 рублей: есть мозги или нет? Двое других, услышав это, тоже поспорили, но на «мозги» спорить уже было не интересно, они поспорили, кто вперед приедет, менты или «скорая». К внутренней радости и показушной досаде обоих первым приехало телевидение. Спорщики пожали друг другу руки и решили остаться «при своих».

Из потрепанных «Жигулей», остановившихся при въезде во двор школы, выскочила молоденькая, худенькая, но очень решительная девушка, следом за ней показался молодой парень, вид его был не таким решительным и устремленным. Неторопливо он достал с заднего сиденья видеокамеру, микрофон и, подгоняемый нетерпеливым взглядом своей коллеги, с камерой в одной руке и с микрофоном в другой, неторопливо направился к толпе. При виде журналистов подростки оживились.

Пробравшись сквозь толпу к телу, девушка даже не поморщилась, стойко она перенесла вид окровавленного, лежащего на асфальте подростка.

— Так, мальчики, расступитесь, пропустите, — отодвинула она нескольких подростков и впустила в круг оператора. — Снимай сначала крупный план, кровь, затем меня на фоне трупa, я скажу пару слов, задам вопросы — и затем в школу: учителя, директор, общие планы... Все, работаем.

Действовала она быстро и решительно. Казалось, она готова была сунуть микрофон самому трупу и услышать его мнение по поводу случившегося, его отношение к этому. Выхватывая из круга подростков, она задавала четкие и прямые вопросы: кто выбросился, почему выбросился, не считаете ли вы, что это убийство, и, если убийство, то, на ваш взгляд, могло ли оно быть заказным, и прочее, и прочее.

— Все ясно, — твердо заявила она оператору, торопливо сворачивая микрофон, — теперь в школу.

— Как получилось? Крупный план трупa взял хорошо... кстати, как его имя, надо не забыть спросить у директора... Так, после школы, только адрес нужно узнать, к нему домой, и интервью с родителями, и их мнение о случившемся... Я нормально получилась?... Отлично... — не переставая тараторила девушка, чуть ли не бегом направляясь к главному входу в школу...

Выскочив из директорской в коридор, Муся, также поддавшись общему порыву, побежал за Ваней, бежал он не в первых рядах, и видно, даже не стремился к этому. Только он достиг пролета между третьим и четвертым этажом, как услышал девичьи визги, и, словно поняв все, развернувшись, спотыкаясь, понесся вниз по лестнице, на улицу. Вместе с ним развернулись еще несколько подростков, подгоняемые криками: «прыгнул, прыгнул!». На улицу уже выскочила целая толпа.

Казалось, во двор школы бежало не двадцать человек, а одна упругая, сосредоточенная, тяжело дышавшаяся масса;

спотыкаясь, толкаясь, обгоняя друг друга, как бегуны на дистанции, резко вильнув хвостом из двух-трех человек, она свернула за угол, пронеслась мимо окон столовой, сделала последний разворот во дворе школы и, резко затормозив, стала шагах в десяти от лежащего на асфальте Ваниного тела. Теперь подростки не торопились, осторожно, точно охотники, подбирающиеся к спящему зверю, они обступили тело полуколем — Ванины ноги лежали всего в полуметре от стены школы. Страх и любопытство просматривалось в каждом лице, никто и шага не сделал, чтобы хотя бы проверить — может, жив еще; все только стояли и смотрели, парализованные одним общим чувством. Удивительно то, что уже после, с течением времени, когда тех подростков, кто первым увидел вблизи тело, спрашивали: «Ну, как, какой он был-то, кровь там, ну, это самое — мозги там...» Никто не мог ответить ничего конкретного, словно не в яркий солнечный день они видели тело, а сквозь непроходимый туман. Единственное, что могли вспомнить: «лежал... и крови лужа». Детали не мог вспомнить никто, разве за некоторым исключением. Только уже через несколько дней, когда Ваню показали по трем местным телеканалам, даже те, кто и не видел его воочию, все подробно описывали, совсем уж сгущая краски; доходило до того, что спорили, на сколько частей раскололся череп, и сколько ребер выскочило наружу, все-все подробно описывали и верили, что так оно и было... Но сейчас... сейчас многие и смотрели-то через прищуренные веки; кровь — вот, что первое бросалось в глаза. Ваня упал затылком, и из треснувшего черепа кровь, точно нимб, вытекала не отдельными ручейками, а одним большим полукруглым пятном, это пятно и завораживало взгляды подростков. Муся не был исключением. Молчаливое созерцание длилось до тех пор, пока сквозь толпу, расталкивая остолбеневших подростков, не пролезла школьная докторша и учитель физкультуры Михаил Иванович, тогда только многие очнулись, и шелест негромких голосов прошелся в

толпе. Вдруг Муся вздрогнул. Очки, бывшие на ванином лице, не слетели от удара, даже не сползли и не съехали, а остались там, где и должны были быть. И, то ли показалось Мусе, то ли солнечный луч отразился в их стеклах, может, тень неправильно упала, только Ваня моргнул, и не просто моргнул, а подмигнул, и подмигнул конкретно Мусе, и совсем незаметная, сладкая улыбка тронула Ванины губы, и оттуда, точно зверек из норки, показался кончик языка, показавшись, он тут же спрятался обратно. Легкий озноб тронул Мусину спину, и судорога свела лопатки так, что спина Муси выгнулась полумесяцем. Быстро опомнившись, он оглянулся: видел ли кто его движение, но никто не обратил на него внимания, все взгляды были прикованы к Ване:

— Господи, что же это такое, Господи, — испуганно причитала школьная докторша, не зная, с какого края подступить к Ване.

— Насмерть, — лаконично констатировал Миша.

— А может, все таки... — не договорив, с надеждой посмотрела на него докторша.

Миша лишь отрицательно покачал головой. Он так же, как и подростки, молча смотрел на Ваню, ничего не делая, да, в сущности, и не зная, что делать в такой ситуации. Он даже не разогнал толпу и не рывкнул ни на кого, по своему обыкновению.

Мусе очень хотелось выбраться из толпы и скрыться, он ждал подходящего момента и выбрался из полукруга как раз тогда, когда к школьному двору подъехал «Жигуленок» с тележурналистами.

А что делать дальше? — возник и встал перед Мусей вопрос, требующий незамедлительного разрешения. Муся растерялся: действительно, а что дальше? Игра закончи-

лась, все, гамоввер... Но действительно ли это конец?.. — С такими мыслями он дошел до парадного входа в школу, совсем не обращая внимания на взволнованно бегущих на школьный двор учеников, на ходу кричащих ему:

— Ну, чего там, что видно, телевидение, говорят, приехало?!

«Вот ты и остался один... в живых... последний герой, — мелькнуло в голове, — и чего добился, три миллиона что ли выиграл? Зато остался в живых, прям, как Сергей Одинцов... Кстати, там тоже Ваня был. Правда, у него голова целая осталась; но уверен, сказали бы этому Одинцову голову ему за три миллиона раздробить — раздробил бы, и еще считал бы, что так и должно... Блядская игра, один в один, как наша жизнь, что ни человек, то Иуда... Это котенок во мне говорит, — мысль больно кольнула его, побледнев, он замер, лишь взглядом провожая снующих туда-сюда учеников и учителей. — Все сходится, все правда, — беззвучно произнес он. Образ Снежаны, по-детски надувшей губки и хитро прищурившей глазки, всплыл перед ним. — Но нет, — развеял он его нервно рукой. — Нет. Вы сходите с ума по-своему: вешайтесь, котят спасайте, из окон прыгайте, я — нет. Я еще не до конца рехнулся. Я только до конца игру довел. Я только довел до крайности то, что вы не осмеливались доводить и до половины, да еще трусость свою принимали за благоразумие, и тем утешались, обманывая сами себя, — так кажется, подпольный человек говорил... Так — все так...»

Остановившись, Муся стрельнул сигарету и, не стесняясь, открыто закурил прямо у входа в школу. «Мидзогути сжег Золотой храм, и, сидя на холме, наблюдая, как огонь уничтожает самое прекрасное, впервые закурил сигарету. Ему стало легко и покойно. Он уничтожил прекрасное, сожгя Золотой храм и, тем самым, уничтожил прекрасное в себе, освободил свою душу и себя от прекрасного. Я уничтожил Ваню, курю вот сигарету, на пепелище, но легче ли мне от этого?.. Легче ли, что уничтожил прекрас-

ное в себе?.. — Муся поморщился, — тоже мне, прекрасное нашел, что считать прекрасным... Сравнил Золотой храм с... с латентным гомосексуалистом... А был ли мальчик? — от этой внезапной мысли слабая улыбка тронула его губы, Муся стал внимательно следить за вбегавшими и выбегавшими из школы учениками и учителями, следить так, словно искал он кого-то, словно вот-вот из дверей выскочит Ваня... — С проломленной черепушкой, — подытожил Муся чуть слышно и, бросив в урну окурков, негромко и с каким-то необъяснимым наслаждением запел:

Я на яву вижу то,
 Что другим и не снилось,
 Не являлось под кайфом,
 Не стучалось в стекло.
 И мое сердце остановилось...
 Отдышалось немного... и снова пошло.
 И мое сердце остановилось
 Мое се-рд-це за-мер-ла...

Мусе стало до того легко и... весело, что, широко улынувшись, он, минуя школу, направился напрямик к автобусной остановке, не переставая напевать:

— Мое сердце остановилось... отдышалось немного и снова пошло. И мое сердце... А пойду-ка я к Снежане, про кошечек с ней побеседую... Ха-ха-ха... отдышалось немного и снова пошло... Что теперь с Никанычем и Гоблином будет?.. А-а, какая теперь разница. Все, гамовер.

Давно Муся не чувствовал себя так легко и довольно.

**Татуированные
макароны**

Ясно по крайней мере до наглядности то, что наше юное поколение обречено само отыскивать себе идеалы и высший смысл жизни. Но это-то отъединение их, это-то оставление на собственные силы и ужасно.

Ф.М.Достоевский
«Дневник писателя» 1876 г. декабрь.

По Шмитовскому проезду в сторону метро «Улица 1905 года», прочно засунув руки в карманы кожаной куртки, шел молодой человек, высокий плотный подросток, выглядевший гораздо старше своих шестнадцати лет. Черная его кожаная куртка-косоворотка была распахнута, и с черной толстовки, дико скалясь, смотрела беззубая крашеная морда, и над мордой лихим шрифтом было написано: «Король и Шут». Видно было, что подросток крайне взволнован. Широко шагая, он временами кивал головой в такт своим мыслям и, не в силах держать мысли в себе, негромко восклицал:

— Нужна идея, несомненно, нужна идея. Раиса права, — замолкая, он через какие-то минуты вновь восклицал: — Мы — она права — мы перевернем этот... — он в нетерпении качал головой, — именно мы и никто другой...

Дойдя до трамвайной остановки, дождавшись трамвая, он вошел в тесный салон и, пристроившись возле окна, ткнувшись лбом в холодное запотевшее стекло, бессмысленно уставился в плотный строй машин, в ожидании сигнала нервными рядами стоящих возле зебры пешеходного перехода. До метро трамвай, словно продираясь сквозь тину бесконечных автомобилей, полз, везя в себе молчаливую, угрюмую массу пассажиров. Доползя до метро и вытолкнув большую половину людей, дальше трамвай пошел уже налегке. Сев на свободное сидение, молодой человек вновь уткнулся в окно.

Возле Ваганьковского кладбища пробок никаких не было, но трамвай упорно продолжал стоять; пять минут народ терпел молча, после начали волноваться — что, да как, да почему.

— Джип мешает, — донеслось от первых дверей.

По салону прошелся ропот, но особой нервозности пока не было.

— Да что он, отъехать не может? — возмутился какой-то дед.

— Машина пустая, водителя нету, — ответил ему кто-то.

Водитель трамвая, ничего не объявляя, открыл двери. Самые любопытные вылезли наружу. Перед молодым человеком сидела парочка старичков.

— Дед, глянь, чего там, — и бабулька легонько толкнула деда локотком.

Заняв свое место газетой, дед высунулся из дверей и, вернувшись, равнодушно сказал:

— Гады, вон платная стоянка; денег, наверное, жалко, на путях машину поставил.

— Дружкам приехал поклониться, — ответил ему соседний старичок.

— Теперь нескоро его дождешься.

Молодому человеку и любопытно было посмотреть что там и как, но лень было вставать. Прошло еще десять минут, сзади подъехало еще два трамвая, узнав, в чем дело, водители вновь прибывших трамваев, зло, плюясь, возвращались в свои вагоны.

— Милицию вызвать надо, — возмутилась какая-то дама.

Устав от сидения, молодой человек выбрался на воздух и подошел к джипу. Здоровенный «Форд» стоял параллельно рельсам; проезду он не мешал, но зеркало трамвай бы ему сшиб и краску б поцарапал. Водитель трамвая спокойно сидел на своем месте, курил. Кучка пассажиров толпилась вокруг «Форда», не зная, что делать. Если кто подходил близко, «Форд» угрожающе пищал.

— Сволочь! Что он пишит? — зло рявкнул дед с земляным лицом и приличной бородавкой на распухшем носу.

— Сигнализация, вот и пишит, — объяснила одна очень молодая особа. — А если по нему стукнуть, он и сильнее запишит, — добавила она и в доказательство легонько стукнула ножкой по переднему колесу. Джип разразился невыносимо противным улюлюканьем, но не надолго; затих. Любопытных собиралось все больше.

— Значит, если по нему стукнуть, он, значит, заголосит? — поинтересовался дед с бородавкой, и в глазах его недобро блеснуло. — Так значит? — и дед, размахнувшись, пнул по джипу. «Форд» вновь противно заулюлюкал и завыл на все голоса. — Так значит? — деду было уже лет за семьдесят, опирался он на костыль...

Вдруг с криком:

— Блядина новорусская! — он начал с силой лупить по капоту орущего на все голоса джипа. — Подлюга!.. — дед уже вмятину оставил на капоте; с ожесточением охаживал он костылем машину, каждый удар подкрепляя смачными ругательствами.

Толпа собралась уже приличная, кто хихикал, кто смеялся, кто покрикивал, дескать, так им всем и надо.

— Ты чего, дед! Сдурел? — от кладбища к джипу уже бежал огромный мужчина в черной кожаной куртке.

— А! Значит это твоя шарабина, а ну, убирай ее на хер отсюда! — Переходя на визг, орал дед.

Хозяин, раздвинув руки, остолбеневший, смотрел то на попорченную машину, то на деда.

— Ты чего, дед... зачем?

— А какого хера ее тут поставил, трамваю, людям, прохода не даешь, думаешь, управы на вас нет!

— Ну, не рассчитал я, дед; машину зачем портить, — хозяин был так растерян и ошарашен, что и не знал, что делать.

— Ну, ты, убирай ее, наконец, — зашумела толпа. — Людям ехать надо, полчаса тебя ждем!

Так и не успев прийти в себя, мужчина влез в машину и осторожно выехал на проезжую часть. Вновь загруженный трамвай тронулся своей дорогой.

Молодой человек вышел на своей остановке и неторопливо зашагал в Боткинский проезд. Обогнув длинный, высокий дом, он вошел в настежь распахнутую дверь Клуба юных техников. Время занятий еще не наступило, и подросток невольно удивился, что дверь была не закрыта. Пройдя небольшой темный холл, он завернул за угол и вошел в первую и единственно открытую дверь длинного клубного коридора.

Светлая, шагов в десять, как в длину, так и в ширину комната, с невероятно высоким пятиметровым потолком. Две стены комнаты-мастерской были увешаны картинами. На одной стене в рамах висели строгие академические натюрморты и пейзажи. Напротив, прикрепленные прямо к стене канцелярскими кнопками, детские рисунки.

Возле высокого окна-витрины, спиной ко входу в класс, стоял высокий, длинноволосый мужчина.

— Здравствуйте, Виталий Андреевич, — воскликнул молодой человек.

Вздвогнув от неожиданности, мужчина обернулся. Вытянутое, худое, чуть припухшее лицо; ему было не больше двадцати пяти лет.

— Саша, Черкасов, здравствуй, напугал, — он улыбнулся так, как улыбается человек, застигнутый врасплох — растерянно и по-детски смущенно. Привычно поправив свои длинные, густые, постоянно спадающие на лицо волосы, Виталий Андреевич спросил, слегка мотнув головой, словно приводя себя в чувство:

— Как ты вошел-то сюда?

— Так дверь нараспашку! — отвечал Саша, уже снявший куртку и готовивший себе рабочее место.

— Вот рассеянный, а я думал, что запер, — Виталий Андреевич усмехнулся, — бывает же. — Он вновь чуть тряхнул головой.

— Ну, что так рано, опять с уроков удрал? — спросил он, подходя к Сашиному мольберту.

— Угу, — кивнул тот, чуть ли не с гордостью.

— Я в твои годы тоже с уроков в художественную школу сбегал, даже хотел учиться в специальном художественном интернате. Только в нашем городе не было такого, да и здесь, не знаю, есть ли.

— Не знаю, — пожал плечами и Саша. — Виталий Андреевич! Удивительная вещь, — отстранившись от мольберта, вспомнив о случившемся, воскликнул Саша. — Я сейчас — вот когда в клуб сюда ехал на трамвае — такой случай произошел, и не поверите: джип «Форд» (здоровый такой) встал на пути трамвая. Все из трамвая вышли; водителя в джипе нет. И дед (с большой такой бородавкой) костылем как начал по капоту «Форда» наотмашь. И главное: когда тот, хозяин «Форда», с кладбища прибежал, даже деду ничего не сделал. И все (я видел!), все радовались, когда дед по «Форду» лупил, и одобряли деда и в то же время всем хотелось (это видно было!), всем хотелось, чтобы хозяин джипа деда если не пристрелил, то избил бы уж точно. А он не избил! Но ведь всем хотелось! — Понимаете, в чем вся соль: все одобряли деда, и все хотели, чтобы деда избили — бессмыслица какая-то!

— Бессмыслица, — согласившись, усмехнулся Виталий Андреевич, и добавил, — а не бессмыслица, когда я вчера, в кампании каких-то художников, сидел на какой-то квартире, и один (кажется, хозяин квартиры) зло и очень искренне воскликнул, когда какой-то парень, говоря о Шагале, назвал Шагала евреем: «Я русский, и я ненавижу антисемитов!» Но уже через полчаса, упившись, орал: «Бей жидов, спасай Израиль». Бессмыслица?

— А почему Израиль? — рассмеявшись, воскликнул Саша.

— А он и сам не понял, почему, ляпнул и все. Хотел сказать Россию, а ляпнул Израиль. В этой стране, Саша, все бессмысленно.

— Да-а, — не зная, что ответить, протянул Саша и, видя, что и Виталий Андреевич молчит, вновь отвернувшись к окну, вернулся к своему рисунку, большой, болотного цвета вазе, возле которой лежал апельсин. Внимательно посмотрев на вазу, стоявшую, в двух шагах, на столе, он, точно сравнивая ее со своей нарисованной, пристально стал вглядываться то в одну, то в другую. Наконец, кистью зачерпнув из баночки густой, гуашевой темно-крапلاчной краски, он резко подчеркнул апельсин, отодвинув его тем самым от зеленой вазы. И после, уже не мешкая, сосредоточенно, даже не глядя на палитру, хватал кистью из баночек то одну, то другую краску и отдавал ее листу.

Клуб потихонечку стал оживать. В классе ИЗО появились первые ученики. Подготовив свои рабочие места, они, также как и Саша, устроились возле стола, где стоял натюрморт, и стали рисовать вазу с апельсином. Все это время Виталий Андреевич был возле окна и смотрел на небо, лишь изредка и рассеяно здороваясь с проходившими мимо его класса учителями, детьми, или подходил по просьбе какого-нибудь ученика и отвечал на его вопросы, после вновь возвращаясь к окну.

Серая городская осень. В такую погоду не хотелось делать ничего... Тем более, когда такое серое небо. Ровное, тоскливое ноябрьское небо. Виталий мог часами, не отрываясь смотреть на это осеннее умирающее небо; смотреть и молчать. Со стороны казалось, что он думает об очень важном, даже глобальном, так серьезен и сосредоточен он был... А какие могут быть мысли, когда такое небо? И каждый звук: шепот ли ребенка, капля воды, упавшая на лист бумаги, шелест карандаша, шмыганье носа, — любой, самый ничтожный, самый корявый или даже са-

мый неожиданный, резкий звук (будь то треск или визг станка из кабинета авиамоделизма или с улюлюканьем пронесшегося по коридору мальчишки) — ложился мягко и печально, входя в состояние осеннего тоскливого неба.

— Виталий Андреевич, я уже все, посмотрите у меня.

— И у меня.

— И у меня все, — точно воробьи загалдели дети. Саша даже в нетерпении вскочил с места, он давно хотел показать Виталию Андреевичу, что у него все, он ведь раньше всех начал рисовать эту вазу.

Зная, что сейчас даже самый корявый рисунок или самый красивый все равно сольется с осенним серым тоскливым небом, с настроением печали, ровным отсутствием мысли, Виталий рассеяно ходил от мольберта к мольберту, долго смотря на серые унылые вазы, раскрашенные скучно-зеленой тоскливой краской, и откровенно оранжевые, но вовсе не веселые апельсины, готовый всем поставить «хорошо» («отлично» или «плохо» быть не может, когда такое небо).

— Да, хорошо... хорошо... молодец... хорошо, — повторял он при виде каждого рисунка, — молодец... хорошо. Так, неплохо...хорошо...

Яркое, сочное пятно — ваза не была скучно выкрашена в зеленый, а апельсин — в пошло оранжевый. Цвета жгли глаз, жгли не ядовитостью цвета, а именно сочностью и точностью — они разорвали в клочья серое, печальное осеннее небо. Виталия даже невольно задело это (цвет, дерзость пятен), даже обидело в каком-то смысле.

— Саша, у тебя вполне... да... — Виталий поймал себя на мысли, что завидует. — Саша, — произнес он серьезно, и не в силах оторваться от рисунка, — в который раз удивляюсь — у тебя хорошее чувство цвета. Форма, конечно, страдает, но цвет — я снимаю шляпу. Снял бы, если бы была, — улыбнувшись, поправил он сам себя. Дети дружно захихикали. Зардевшийся, гордый за самого себя, Саша

смотрел на своих одноклассников и на свою работу, теперь совсем ему нравившуюся.

— Ну, все, друзья мои, пора, — Виталий Андреевич посмотрел на часы. Дети, не торопясь, стали убирать за собой свои места. Последним выходил Саша Черкасов.

— До свидания, Виталий Андреевич.

— До свидания, — махнул ему Виталий.

Оставшись один, он запер дверь класса. Прикнутив Сашину работу к стене, долго и внимательно смотрел на нее. После вставил холст в свой мольберт... Но как он ни старался... ваза выходила у него сухо и слишком академично. А если он пытался «дерзить», то получалась мазня. Той чистоты и точности цвет, который он как образец видел перед собой в работе своего ученика, не выходил. Или слишком правильно и академично или... слишком мазня.

— Да-а, — в раздражении протянул Виталий, вытер тщательно кисть и, переодевшись, вышел из клуба.

Полгода Виталий работал в этом клубе, и все полгода наблюдал, как занимается Саша Черкасов. И всякий раз, когда Виталий видел, как рисует этот мальчик, но все пытался понять — как? почему так легко и живо? Да, этот ребенок был одна живая эмоция, порой слишком живая — до экспрессии. Но и Виталий считал себя человеком не сказать чтобы ровным и флегматичным. Но в живописи он был именно такой. И это его раздражало — раздражало, что живопись его была скучна и однообразно правильна.

— Что, завидуешь? — негромко говорил он сам себе, неторопливо шагая в сторону Ленинградского проспекта. — Завидуешь, и сам это знаешь. А вот так, как у этого мальчишки, дерзко и живо не можешь. Да и никогда не мог.

Не зная куда идти, Виталий остановился возле троллейбусной остановки. Перед глазами его все еще стояла нарисованная Сашей ваза, гордо подбоченившаяся ручками, выпятив звонко-болотную блестящую грудь, и возле нее, как раб, преданно лежал услужливо-оранжевый апельсин.

— И ведь, словно, не предметы он рисует, а людей, — вновь с невольной завистью беззвучно произнес Виталий.

«Ну ладно, черт бы с ним с этим Черкасовым, куда идти то думаешь?» — спросил он сам себя, бессмысленно разглядывая проезжающие машины, людей, спешащих куда-то, или ожидающих троллейбус. Идти ему было некуда. Работая в клубе, Виталий и жил в нем вот уже полгода, с тех самых пор, как он приехал в этот город и устроился работать в этот клуб.

— Скука, — негромко произнес он, и вновь перед его глазами возникла гордо подбоченившаяся ваза. — «Полгода уже здесь живешь, — беззвучно говорил он сам себе, разглядывая людей и машины, — а ни друзей у тебя нет, ни денег ты не заработал, чтобы хотя бы квартиру снять. Даже на выставке ни на одной не выставился. Только пьешь, да в истории всякие от скуки влезаешь. А потому, что все устраивает», — лаконично заключил он и усмехнулся.

— Но все равно — скука, — уже без усмешки повторил он и добавил, точно подбадривая себя: — Ты, Виталий Андреевич, бездарный, бестолковый человек. Ты вот сейчас стоишь и смотришь вон на ту женщину, и она, наверняка, думает, что ты ее хочешь, а ты на самом деле хочешь похмелиться. А делать тебе все равно нечего — скука. А тут, может, история какая-нибудь выйдет, она тебе миллион подарит или квартиру подпишет, или опохмелит... Черт возьми, но это же не женщина, это же экспонат, это же ожившая картина Отто Дикса, — невольно прошептал он, наблюдая за ней.

2

На вид ей было чуть больше пятидесяти. И в молодости она, наверно, не блистала красотой, но, несомненно, она была первой кокеткой в своей компании. В этом Виталий даже не сомневался.

Подошел троллейбус, часть ожидающих суетливо, еще завидя троллейбус издалека, вплотную подступила к дороге. Женщина, которую Виталий уже определил в разряд отто-диковских, поднялась со скамейки и, держа в одной руке портфель, другой придерживая длинное до пят черное старомодное пальто с отороченным каракулем воротником, кивнув Виталию на троллейбус, нетвердо ступила на дорогу. Виталий раздумывал недолго, точнее, он и вовсе не раздумывал, появилась возможность влезть в историю, и он, движимый первым порывом, полез в нее.

Он уже стоял возле дверей и помогал женщине войти в салон. Пассажиров оказалось немного, половина сидений пустовала. Опираясь на руку Виталия, она дошла до первого свободного сиденья и медленно, словно оказывая Виталию честь, позволила ему усадить себя на место.

— Присаживайтесь, — наконец указала она ему на сиденье впереди себя.

Сев, Виталий краем глаза окинул салон, пассажиры были заняты собой, но чувство, что все они смотрят на него и порицают его такой необдуманный поступок, не покидало его всю поездку. К тому же женщина говорила довольно громко для доверительной беседы, чем смущала Виталия еще больше. Более того, раздражала, он уже начал жалеть, что полез за ней в троллейбус. «Лучше бы, как всегда, пошлялся, и спать пошел», — раздражаясь все больше, думал он.

— Я вижу, вы очень образованный юноша и очень благородный. Вы мне нравитесь. И я не ошибусь, если предположу, что вы — человек искусства, — у нее был прокуренный, но совсем не грубый голос, чрезмерно манерный и протяжный. — Вы очень помогли мне, — продолжала она. — Вы знаете... ноги, — она слегка тронула своими пальцами его руку, лежавшую на спинке сиденья. Виталий невольно вздрогнул и деликатно высвободил руку. — Редко встретишь сегодня такого молодого, красивого и доброго юношу, — продолжала окучивать его комплимен-

тами женщина. — С удовольствием я отплатила бы вам, угостив вас настоящим турецким кофе... Я знаю, вы не откажите мне. У вас такие красивые руки и такие тонкие пальцы. Вы очень красивый юноша, уверена, девушки от вас без ума.

Виталий был просто уверен, что весь салон, включая водителя, смотрит на него, и всех, включая водителя, сейчас стошнит.

— Нет, нет, что вы, — ответил он даже испуганно.

— Ну, не кокетничайте со мной, вы же так красивы, — и она еще раз коснулась его руки. — А теперь расскажите мне о себе.

От такого напора Виталий не находил себе места, он пытался улыбаться и избегал смотреть в глаза женщине.

— Вы еще и стеснительны — редкое качество. Я буду вам совсем признательна, если вы поможете мне... Этот портфель так тяжел. Знаете ли, книги... Мы выходим.

Виталий помог ей спуститься с подножки.

Спустившись, она взяла Виталия под руку.

— Пойдемте, нам туда, — она указала на букинистический магазин.

Чувствуя ее руку, Виталий выпрямился как от озноба; стыд овладел им — как и в троллейбусе, ему казалось, что все, буквально все, смотрят на него и знают, зачем он идет, вот так, под руку, с этой... женщиной.

Женщина, напротив, чувствовала себя уверенно и за руку держала Виталия не как дама, а как девица, идущая под руку со своим любовником. Ко всему прочему, хоть и обращалась она к Виталию на «вы», представилась ему просто Леной. Называть эту пятидесятилетнюю «Леной» у Виталия язык не поворачивался, и ограничивался он нейтральным «вы».

Сколько времени таскался он с ней по букинистическим магазинам, находящимся в центре города, Виталий и счет потерял. Ему хотелось пить, есть, курить, в конце кон-

цов. Сигареты у него давно кончились, так как Лена своих сигарет не имела, а Виталиевы курила с удовольствием.

Заходя в магазин, Лена открывала свой портфель и предлагала продавцам лежавшие в нем книги. Виталий уже видеть их не мог: два толстенных словаря, русско-польский и русско-венгерский, два тома карельских народных сказок и роман Дюма «Три мушкетера», издания 1950 года. Из всех книг продавцов интересовал лишь Дюма, но цена, которую они предлагали, Лену не устраивала.

Поначалу Виталий даже старался забавлять себя тем, что он вот так вот, уже не первый час, таскается по букинистическим магазинам под руку с престарелой, но желавшей такой не казаться женщиной, говорившей о том, какой Виталий умный, красивый, внимательный и между делом намекающей, что и она еще хоть куда.

Но потом ему все это порядком надоело. Он устал. Замерз. И думал только об одном — как бы поделикатнее попрощаться и уйти. «И чего я с ней таскаюсь?» — улыбаясь ее болтовне думал он и, чтобы окончательно не опуститься в своих же глазах, нашел себе оправдание — первое: все равно пока делать нечего; второе — второе было самым замечательным; сейчас ему все сильнее хотелось есть, даже больше, жрать. Благодаря второму оправданию, он даже поверил, что идет с *ней* исключительно из любопытства... даже нет — из чувства сострадания, он помогает пожилой женщине нести портфель, и почему бы ей не отплатить ему добром — не пригласить его на чашку кофе, тем более, что она уже это сама предлагала. И он произнес:

— А пойдемте к вам. Вы же говорите, что живете здесь недалеко.

Лена странно посмотрела на него.

— Вы знаете, у меня дома не прибрано, я живу одна с сыном, — чуть слышно и даже скромно призналась она.

Виталий отвел взгляд в сторону. «Она еще и ломается», — думал он, все больше нервничая и раздражаясь. Он чув-

ствовал себя оскорбленным. Если бы эта старуха знала, каких моральных сил стоило ему идти с ней и слушать ее, причем он четко осознавал: распрощайся он и уйди, и раздражение уйдет, и нервы успокоятся. «Она еще и ломается, эта старая вешалка, еще и ломается, точно девочка-малолеточка, это уже слишком! Зачем я ей это ляпнул?... Лучше вежливо раскланяться и не унижать себя до... *такого...*»

— Давайте посидим вот на этой лавочке, — перебила его мысли Лена, указав на лавочку, скрытую в густой тени старого сиреневого куста.

Они сели на лавочку. Недалеко, шагах в пяти, на противоположной лавочке сидела молодая пара: девушка нежно прижималась к парню, тот гладил ее руку и с наслаждением целовал ее ладонь.

— Влюбленные... как это трогательно, — чуть слышно промолвила Лена и вдруг, прильнув к Виталию, положила голову на его плечо.

Виталий замер. И, замерев, смотрел на Лену так, как смотрит человек, возле плеча которого зависла оса.

— Вы когда-нибудь любили? — прошептала она, вдруг пальцы ее коснулись его щеки. — Когда-то и у меня была такая же нежная кожа, хотя я и теперь выгляжу неплохо и фигура у меня идеальная: грудь — 90, талия — 60 и бедра 90.

«Я сейчас, наверное, сблую», — подумал он, отведя взгляд к небу.

— Я вам нравлюсь, Виталий? — спросила она чуть дрожащим голосом.

«Опаньки!» — чуть не произнес он вслух.

— Я чувствую, как бьется ваше сердце, вы волнуетесь...

«За кого она меня принимает?..»

— Дайте мне вашу руку... Ты любишь меня, — страстно и уверенно прошептала Лена. — Любишь, — неслышно повторила она, одними губами, и сильнее прижала его руку к своей груди.

Убрав руку, Виталий откинулся на спинку лавочки.

Не облегчение почувствовал он, нет, но что-то такое наплевательское и близкое к депрессивному равнодушию; единственное, ладонь вспотела и болезненно зудела, так что хотелось засунуть ее под холодную воду и оттереть с мылом.

«Я или сумасшедший, или извращенец... — твердо решил он, — а скорее, и то и другое». «И ладно, был бы пьяный, но ведь трезв, трезв!» — резанула страшная мысль.

Лена, прильнув к нему, нежно заглядывала в его глаза. Слышно было, какого труда стоило ей сдерживать свое дыхание.

«Действую по принципу: все в жизни надо попробовать, — продолжал издеваться над собой Виталий. — И она ведь уверена, что она мне нравится. Она, похоже, действительно верит, что она мне нравится. И я нисколько не отрицаю этого, я сейчас веду себя именно так, что позволяю ей в это верить, верить в то, что она мне нравится... я заболел... похоже, я рехнулся. Для чего все это я делаю? Какая у меня цель? Переспать с ней?! Я что, хочу ее?! — от одной этой мысли его невольно передернуло. — Я не хочу этого! Тогда зачем?!...»

— Зачем мы встретились, Виталий? — нарушила молчание Лена. — Зачем, спрашиваю я себя. Мне кажется, я люблю вас, Виталий. Я поняла это еще тогда, когда увидела вас возле троллейбусной остановки, вы так тогда смотрели на меня, столько любви и страсти было в ваших глазах... Вы так на меня смотрели, что...

«Если я сейчас не уйду, я действительно ее... и не от того, что хочу, а... Черт возьми, что со мной происходит?.. Я должен встать, извиниться и уйти, иначе... Нет, я обязан встать и уйти.»

Но как он ни убеждал себя, — встать и уйти у него не получалось. Почему? — вряд ли бы он и сам себе смог бы внятно ответить на это. Он даже боялся признаться, что

он действительно желает... Нет! Конечно, не ее, а вообще, а ее нет, никогда... Просто скучно. Просто... И сразу в его памяти возникли стулья, на которых он спал вот уже полгода. Просто хочется тепла. Тепла. И так ему стало себя жалко, что...

— Пойдем ко мне, — вдруг предложила она.

— Конечно! — мгновенно согласился он.

От Клуба юных техников до самого своего дома Саша Черкасов шел пешком. Все мысли его были поглощены его рисунком. Он сделал отличную работу, которая понравилась Виталию Андреевичу. Он, Александр Черкасов, — художник. Очень был доволен собой в эти минуты Саша Черкасов. Он не заметил, как дошел до дома.

Наскоро пообедав, он позвонил своему другу Жене Телегину:

— Женек, здорово, как она, жизнь? Ну, чего делать думаешь, какие планы? Ну, и отлично! Короче, минут через двадцать, во дворе... ну все, до встречи.

Через двадцать минут Черкасов и Телегин стояли на детской площадке возле качелей, курили. Женя, невысокого роста, до болезненного худощавый, курил медленно, почти не затягиваясь. Черкасов уже докурил до фильтра, когда Женя не выкурил еще и половины.

— Слушай, — бросив окурок, произнес Черкасов, — мыслей все равно никаких нет, пошли, что ли, ко мне, в компьютер поиграем.

— А родители твои? — спросил Женя.

— Отчим на работе, а матушка в магазин ушла, — отвечал Черкасов. — Ей книга какая-то понадобилась. Подружка ее разрекламировала ей какую-то невозможную книгу о здоровье. Матушка же моя помешана на всякой этой ла-

буде о здоровой пище, гороскопах, диетах, оздоровительной гимнастике, — усмехнувшись, пояснил он.

— Всегда удивлялся этим женщинам, — продолжал Черкасов, когда они уже шли к подъезду его дома. — Они и в Бога верят, и тут же суеверны, и обязательно они переживают за свою карму и непременно на них влияют звезды. Матушка моя из дома не выйдет, если по гороскопу для ее знака зодиака день неблагоприятный. И следом, в воскресенье, идет в церковь, и все посты соблюдает. Словом, такой у этих женщин ералаш... А по мне, если верить, то во что-нибудь одно — или в Бога или в реинкарнацию, а так, черт знает что получается, правильно говорю? — заключил он, уже входя в свой подъезд.

— А ты во что веришь? — ничего не ответив на вопрос Черкасова, спросил его Женя.

— В самого себя, — быстро поднимаясь по лестнице, не оборачиваясь, отвечал Черкасов. — Я материалист, и более того, атеист. Ницше сказал: «Пусть гибнут слабые и уродливые — первая заповедь *нашего* человеколюбия. Надо еще помогать им гибнуть. Что вреднее любого порока? — Сострадать слабым и калекам — христианство...»

— Самое простое сказать: Бога нет, — не найдя, что ответить на это высказывание, произнес Женя.

— А если его на самом деле нет? — говорил Черкасов, уже стоя возле двери своей квартиры, вставляя ключ в замок.

— Заходи, — пригласил он Женю и, войдя следом, продолжил свою мысль: — Со мной случай недавно был: я после уроков с Никитой из одиннадцатого «Б» схлестнулся, помнишь, конечно, месяц назад примерно. Мы тогда после уроков с пацанами во дворе курили, и я с Никитой чего-то не поделил и, как полагается, отошел с ним поговорить за угол. Я долго разговаривать с ним не стал, я вообще не стал с ним разговаривать, схватил его за шкирдон и головой о стену пару раз, и к пацанам вернулся. Все,

типа: что — разобрались? Где Никита-то? Я, неизвестно к чему, соврал, что удрал он (сам не знаю, зачем это ляпнул), а я ведь помню, когда я его о стену головой приложил, он сразу обмяк и по стеночке на землю сполз. Стоим мы с пацанами, курим, а Никита-то не выходит, а уже минут пять прошло, а то и все десять. У меня сразу мысль: убил. И ты знаешь, страшно стало. Не выдержал я — и за угол. Смотрю, Никита стоит и рукой за голову держится. Крови не было, просто хорошо я его приложил. Я его увидел и воскликнул, невольно воскликнул, радостно воскликнул: «Живой!» И знаешь, что он мне на это сказал? «Что, испугался, что посадят?» Я его тогда чуть не убил, он ведь правду сказал: *я испугался, что меня посадят*. Только и всего. Если бы я знал, что мне это сойдет с рук, я бы и вовсе не ходил проверять — жив он или нет. Я к чему все это: боялся бы я Бога... Словом, любой, кто был бы на моем месте, если бы и испугался, то ни в коем случае не Бога, не какого-то там небесного наказания и Страшного суда, а испугался бы, вот как я, — что посадят, или мести. Вот и все. Тюрьма есть — ее боятся. А Бога никто не боится, смерти боятся, но не Бога. Потому что какой смысл бояться того, чего нет.

— Не убедительно, — только и ответил Женя.

— Ну, и плевать.

Подобрав с пола валявшиеся под ногами несколько листов с рисунками и пнув ногой под кровать грязный носок, Черкасов рукой сделал знак Жене, приглашая его войти в свою комнату.

Комната, в которой жил Саша Черкасов, была небольшая: у стены, сразу у входа, стояла кровать со скомканной постелью, рядом, на стуле, небрежно висели брюки и рубашка. На полу, на подоконнике вразброс лежали листы изрисованной бумаги. На письменном столе стоял монитор и клавиатура. Все же остальное пространство стола было заставлено банками и баночками с масляной и гуа-

шевой красками и стаканами, из которых торчали кисти и карандаши. И все в таком беспорядке и неразберихе...

Пока Черкасов включал компьютер, Женя от нечего делать разглядывал висевшие на стенах плакаты рок-групп, рисунки и картины Саши Черкасова. Над кроватью висела большая репродукция византийской иконы «Спас Вседержитель», где через весь лик Христа, от руки, черной гуашевой краской было написано: *NO FUTURE!*

— А говоришь, в Бога не веришь, — улыбнувшись, заметил Женя.

— А, ты об этом, — не оборачиваясь, ответил Черкасов, — так ты главное читай: No future — нет будущего.

— В Бога не веруешь, а Христос над кроватью висит, — явно желая поддразнить Черкасова, произнес Женя.

— Это не Христос, это АнтиХристос — это, во-первых, а во-вторых... Я вот знаешь, о чем думал, — совсем забыв о компьютере, отойдя к окну, продолжал Черкасов, — сейчас, как нам Раиса говорила, нам опять Бога пытаются подсунуть. Памятник этому Христу Спасителю на месте бассейна возвели.

— Почему памятник? — не понял Женя.

— А разве эту халтуру храмом можно назвать? Это памятник, к тому же и Ркацетелли к нему руку приложил. (Женя усмехнулся.) И полная гармония: по одну сторону реки памятник Петру Великому, по другую — Христу Спасителю. И к обоим этот черножопый любимчик Лужка свою руку приложил (Лужок же наш просто млеет от этих горцев, не Москва, а какой-то Чуркистан). Но я не об этом. Я о том, что весь разврат, происходящий между нами, имеет божественное начало — разврат божественен. (Если вообще после этого Бог есть). Тебе ни разу не приходило в голову, с чего бы это Ему вдруг понадобилось брать в матери Христа женщину несвободную?

— Так Мария была девственницей, — не менее серьезно, увлеченный возникшим разговором, заметил Женя.

— Правильно, — охотно согласился Черкасов, — в этом-то вся и сладость, два в одном — и несвободная и девственница. Да о таком счастье мечтает каждый уважающий себя развратник. Ведь согласишься, нет ничего слаще, чем отыметь чужую жену: во-первых, — не дав Жене возразить, воскликнул Черкасов, — в очередной раз докажешь, что ты Дон Жуан, раз смог соблазнить замужнюю, да еще и невинную, а во-вторых, если и залетит — на здоровье, это уже проблема ее мужа. Не уйдет же женушка от своего любимого муженька из-за какой-то там случайной связи. А ведь отец, в понимании многих, не тот, кто зачал, а тот, кто воспитал — все здесь очень хитро и очень просто: ведь ребеночек-то ни в чем не виноват.

Здесь Женю даже покорило. Слишком уж сладенько изрек Черкасов последнюю сентенцию.

— А случись так, что переспишь ты с девушкой свободной, тем более девственницей, и забеременеет она от тебя — хлопот не оберешься. Ведь еще и жениться придется, или деньги на аборт искать...

— При чем тут божественное? — вырвалось у Жени.

— Как говорил друг Бендер другу Корейко: все нормальные люди произошли от обезьяны, а вы — от коровы, туго думаете, товарищ, — усмехнулся Черкасов и вдруг, впиав в Женю свой острый взгляд, жестко выдал: — Что, до Рождества Христова, в Палестине с молодыми свободными девственницами проблемы были?!

— Так зачатие было непорочное, — упрямо не сдавался Женя.

Черкасов снисходительно посмотрел на своего друга:

— Женя, говори что угодно. Факт есть факт: порочно, не порочно, но отымел Он женщину не свободную. Цель, согласен, была святая — Спасителя нам явить; но средства... Я, может быть, тоже, к примеру, жену своего соседа имею в исключительно святых целях: сосед алкаш, ну кто от него может родиться, — а я, может, постараюсь, и еще одного

нового Гоголя миру подарю... но это к слову. Главное — заповедь им же данная им же и нарушена первым. Это какой он после этого нам пример подает... Да, кстати, ты эту десятую заповедь помнишь? Сам порядок — «не возжелай» — в ней восхитителен. На первом месте: не возжелай дома ближнего своего; далее: имущества; затем: вола; далее: осла — и лишь после осла, на са-амом последнем месте: не возжелай жены ближнего своего. Красиво, согласишься!..

А история с голубем — просто блеск. Нашли, бляди, птичку по образу и подобию своему: единственная тварь, которая, как и мы, люди, убивает себе подобных, просто так — не ради еды, голуби мясо не жрут, не в сезон брачных игр, не ради самосохранения, а так: они просто убивают более слабого — точь-в-точь, как люди, а то, не дай Бог, этот слабый лишнюю крошку склюет — вот это по-нашенски, это по-человечески — замочить всех, остаться одному возле кормушки и жрать, жрать, жрать! Все мне, все одному! И именно эта «божья птичка» возвестила о пришествии Христа; и именно эту «птичку» сделали птицей мира.

Я удивляюсь, как это *миротворцы* американцы не догадались, когда бомбили Югославию, присобачить на свои самолеты эмблему с этой птичкой мира — получился бы абсолютный библейский парафраз: F-16 с бомбами, — как голубь с пальмовой ветвью, — хрясть, трах, на хуй всех — возвестил... И следом, в белом венчике из роз — хау а ю — Иисус Христос.

— Откуда столько злобы в тебе? — вырвалось у Жени.

— Не злоба это, Женя, — жизненный опыт, причем не только мой. Моя цель определена — я художник. А это занятие не из легких. Мало того, что все искусство от лукавого, — Черкасов хитро усмехнулся, — живопись — особенное искусство. Ни что другое так не смертно, и ни что другое так душу не забирает... каждой картине часть себя отдаешь. Может и не хватить... души-то.

— От лукавого, — странно повторил Женя.

— От лукавого. Конечная цель-то — сделать работу великую, чтобы человек влюбился в нее, а, следовательно, все мысли к ней привязал, а о другом забыл... и о Боге тоже... Ладно, Женек, не парься, давай играть. Что наша жизнь — игра! Главное — все люди сволочи.

— И ты?

— И я, — не задумываясь, ответил Черкасов. — Я сейчас тебе пару примеров приведу, и ты, надеюсь, все поймешь.

Черкасов достал из ящика стола пепельницу, сигареты и закурил.

— А запах? — осторожно спросил Женя.

— Женек, мы с тобой взрослые перцы, не парься, закуривай. Хуже всего, Женек, это неизвестность и ощущение тоскливого одиночества. Ты совершаешь поступок, в котором боишься признаться даже себе. Забившись в угол, ты изнемогаешь от стыда и страха в полной уверенности, что то, что совершил ты — неестественно, и кроме тебя никто другой на такое не способен (ты сейчас все поймешь, к чему я клоню). Это как с тринадцатилетним подростком, заподозренном в рукоблудии. В тринадцать лет это делают все.

— Я нет, — твердо произнес Женя.

— Я помню, ты уже говорил это, когда мы все на уборку моркови ездили, но остальные-то, помнишь, все признались. Но до признания все просто-таки клялись: «Я? Да ни за что!» Обвинение в этом равнозначно смертельному оскорблению... И дело не только в этой мастурбации, хрен бы с ней. У каждого есть своя тайна, гадкая, ненавистная ему тайна, которой он боится больше смерти.

Страх, вранье, измена, трусость, подлость — все живут с этим, живут и боятся, что это выплывет наружу, выплывет, как всеми забытый утопленник, как нежелательный свидетель. И тогда ведь закидают камнями, как последнюю блядь...

А тебе и нечего сказать в ответ. Тебе же невдомек, что твоя тайна — это и его тайна, эта тайна каждого второго, каждого третьего. Такая тайна есть у каждого — как аппендикс, который каждый мечтает вырезать. Вот признайся ты в классе: ну, скажем... что ты педераст. (Лицо Жени изменилось.) Я к примеру, — увидев это, подчеркнул Черкасов, — тебя же заклюют и клевать будут от того сильнее, что сами они грешны. И с каждым брошенным в тебя камнем ты все более будешь верить, что твой поступок, твое желание — это только твой поступок, только твое желание. А все они, те, которые кидают в тебя камни — чисты и непорочны. И ты настолько уверуешь в свою порочность, что она закроет тебе глаза, ты возненавидишь себя больше, чем они, и ты уже сам будешь готов выхватить у них камень и разmozжить себе голову. Потому что мастурбировать, спать со старухой, любить мальчиков или мечтать о родной сестре может только грязный, порочный человек, и тебе даже не придет в голову, что наша директор тайно заходит в мужскую уборную и мастурбирует на фотографию Леонардо ди Каприо.

— Ты это серьезно?

— Да я это так, к примеру. Главное, у каждого есть своя тайна.

Женя усмехнулся.

— Подожди! — В крайнем возбуждении воскликнул Черкасов. — Я сейчас тебе реальный пример дам. Настоящий пример. Как-то после уроков, буквально неделю назад, сразу после урока литературы, он как раз последним был, мы на нем еще «Идиота» Достоевского проходили, я тогда предложил сыграть в пети же. (Женя кивнул в знак того, что помнил это.) Все отказались, все, кроме нашей Анечки Кирилловой.

— И что, она тоже мастурбирует?

— Да подожди ты хохмить, я серьезно, — в раздражении осадил Женю Черкасов. — Не знаю, чего она согласилась, она, наверное, и сама не знает. Только после того,

что она мне рассказала... Короче. — Черкасов глубоко вздохнул, выдохнул. С минуту выдержал паузу, закурил и, уже успокоившись, продолжал: — Анечка не из бедной и вполне, что называется, интеллигентной семьи. У нее есть младший брат. На три года нас младше. Ты, может, видел его, но это не столь важно. Ей было десять лет, ему, соответственно, семь. Анечка наша, оказывается, очень любит красную икру, по крайней мере, тогда любила. Красную икру любил и ее брат. Случилась вся эта история, когда их родители то ли в театр, то ли еще куда ушли, это не важно. Важно, что Анечка с братом остались одни и могли безбоязненно залезть в холодильник и налупиться этой икрой по самые уши. Как она говорила, икрой этой у них чуть ли не весь холодильник был забит. Но родители почему-то не очень позволяли им этой икрой лакомиться. А тут — такой случай. Ты думаешь, Анечка, как старшая сестра, достала икру и стала ею брата потчевать? Ничего подобного. Она вовсе брата к холодильнику не подпускала. Он, бедолага, пытается банку из холодильника достать, а она его в шею, и совсем из кухни выгнала. Выгнать-то выгнала, но дверь в кухню не запирается... Ладно, я к главному подхожу! — видя сосредоточенное Женино лицо, вновь воскликнул Черкасов. — Отрезала она себе ломоть батона, достала из холодильника банку, вытряхнула из банки всю икру на ломоть. А брат тоже в холодильник, за другой банкой лезет. Ох, как Анечку это взбесило! И давай она его от холодильника отпихивать. И пока отпихивала и выгоняла, — бутерброд выронила! — сам хлеб в руке остался, а икра шмякнулась на пол. И вот, что главное! — Черкасов аж кулаком в нетерпении потряс. — Братик ее кинулся икру эту с пола хватать и в рот запихивать — как животное. С пола. Жадно. Торопливо. И Анечка — в ярости — в родительскую комнату, схватила отцовский ремень и — в кухню, и братика наотмашь. Ремнем. По спине. А он и не замечал будто! — он икру торопился доест.

Все порочны. Вот, что главное. Даже те, которые внешне самые наипорядочные. И ты, знаешь, я теперь для нашей Анечки злейший враг. Потому что тайну ее знаю, знаю, что и она, как и все, как и я, несовершенна. Мы же больше всего боимся показаться в глазах других н е с о в е р ш е н н ы м и. Только беленькими, только чистенькими, и, не дай Бог, где какая помарочка. Слухи ведь, смешки за спиной, сплетни. Мнение чужое — это же для нас превыше всякого там Бога. А я вот не боюсь показаться черненьким, и в этом моя сила.

Черкасов замолчал. Внимательно смотрел он на Женю. Смотрел и ждал.

— Знаешь, Саша, что в тебе пугает, — серьезно произнес Женя, — не то, что ты узнаешь тайну, а то, что ты ее не хранишь. То, что с легкостью рассказываешь ее всем подряд. Ладно, я пойду, уроки надо делать.

— Ты чего, Женек, обиделся, что ли?

— Нет, правда, надо уроки делать.

— Ну, как знаешь, — отмахнулся от него Черкасов.

Виталий и Лена шли молча. Войдя во двор, Лена указала на узкое окно пятого этажа, пятиэтажного дома дореволюционной постройки.

— Свет горит, Женя дома. Виталий, вы не стесняйтесь, Женя хороший мальчик, вы с ним подружитесь, ему только шестнадцать лет, — прибавила она, точно хотела успокоить Виталия. — Он мой поздний, долгожданный ребенок, мне был сорок один год, когда я родила его, — почему-то загадочно пояснила она, — очень хрупкий, нежный и очень добрый мальчик; вы подружитесь с ним, — повторила она даже одухотворенно.

На пятый этаж Лена взошла довольно легко, в отличие от Виталия. Неуверенно преодолевал он долгие, бесконеч-

ные ступени, так, словно вот, еще одна и все — ни шагу больше. До самой последней ступени он верил, что эта ступень последняя, дальше ни шагу.

— Вот, это моя квартира, — мягко, без одышки произнесла Лена и нажала на кнопку звонка.

— Кто там, — через некоторое время донесся мальчишеский голосок.

— Женя, это я. Открывай, со мной гость.

Дверь открылась. Войдя следом за Леной, Виталий заметил лишь спину, и то на мгновение, скрывшегося в большой комнате мальчика.

Войдя, Виталий увидел довольно бедную и не ухоженную двухкомнатную квартиру. Сняв пальто, Лена прошла на кухню. Виталий, как был в кожаной куртке, следом, уверяя себя, что он на одну всего лишь минутку, и сел на табурет возле окна.

— К сожалению, кофе закончился, но я могу угостить тебя чаем, — на «ты» предложила Лена.

Виталий равнодушно кивнул и стал рассеянно рассматривать кухню. Кухня окончательно убедила его в нищете этой женщины. Облезлое, давно требующее покраски окно, грязная, с желтым налетом мойка, грязный, затертый паркетный пол, и нищета — нищета во всем.

Лена поставила на плиту чайник, она стояла к Виталию спиной, говорила тихо и, словно, сама себе:

— Когда-то я жила совсем иначе, у меня была большая квартира на Патриарших прудах, у меня было все... а потом муж... он страшно бил меня, он выбил мне все зубы... он обокрал меня, оставил без средств к существованию, он хватал меня за волосы и бил головой о стену...

«Началось, — думал Виталий, с отвращением наблюдая за Леной, — сейчас будет страшная история про мужа-извращенца, про размен квартиры, про поломанную судьбу».

Все время, пока закипал чайник, она не отходила от плиты, с тихим, застенчивым ожиданием поглядывая на Виталия.

В каждом ее жесте, в каждом движении чувствовалось покорное согласие, покорное женское согласие со всем, что бы ни сказал сейчас ее молодой гость. Все в ней говорило: ну, вот я вся перед тобой, бери меня, люби, спасай, защищай, ты мужчина, я твоя женщина, ты покори меня, теперь ты мой и хозяин, и покровитель.

Виталий отвернулся к окну. «Послушай, для чего тебе все это надо, зачем ты лезешь в эту грязь? — спрашивал он себя, бесцельно рассматривая окна соседнего дома. — Чего ты, вообще, сюда приперся? Хочешь узнать, чем все кончится? А вдруг что интересное случится? Ничего уже не случится; и так все уже случилось».

Лена поставила перед ним чашку, заварочный чайник, негромко произнесла:

— Я пойду, переоденусь, — и вышла из кухни.

«Вот тебе и история, — рассеянно рассматривая кухню, продолжал размышлять Виталий. — И что она себе возомнила... да и я хорош. Увидеть, как она ко мне приставать будет... — он криво, даже болезненно ухмыльнулся... — рубль ставлю, она еще будет добиваться, чтобы я к ней приставал... Вот тебе и жизнь: выбитые зубы и нищета... и желание любви...»

Отхлебнув чаю, он тут же отставил чашку. Чай оказался второй, а то и третьей заварки.

Вошла Лена. Теперь она была в розовеньком, вполне чистеньком халатике чуть выше колен.

Виталий посмотрел на нее спокойно, уже ни чему не удивляясь.

Лена улыбнулась и почти шепотом похвалилась:

— Это мой самый любимый халатик, я надела его специально для тебя. И еще на мне очень красивые трусики — все это для тебя...

— А тот парень, с которым у вас роман, где он? — стараясь не смотреть на нее, даже как-то грубо выпалил Виталий.

— Ты ревнуешь! — наивно произнесла Лена, тон Виталия она, вероятно, приняла как всплеск ревности. — Прощу тебя, Виталий, не ревнуй, это было тогда, когда я еще училась в МАИ. Я была моложе тебя, глупа и неопытна.

— А покажите мне Ван Гога, вы говорили, у вас есть альбом с его картинами, — резко спросил Виталий, лишь бы не слышать еще одну «трогательную» историю.

— Да, конечно... Виталий, угости меня сигаретой... у меня кончились сигареты...

— У меня тоже, — пожал плечами Виталий.

— Женя!

Через некоторое время в кухне появился Женя, маленький, худенький, наверняка болезненный, подросток.

— Женя, это Виталий, мой друг... Женя, у тебя есть сигареты? — тон ее теперь был совсем не ласковый, таким тоном обычно говорят люди, желающие при других показать свое превосходство; типичный тон не имеющей власти матери, но желающей ее показать, тем более перед своим кавалером.

— Нет, кончились, — спокойно ответил Женя, даже слишком спокойно для шестнадцатилетнего подростка, у которого мать спрашивает сигареты.

— Пойди и купи... — строго произнесла Лена и, обернувшись к Виталию, почти заискивающе попросила: — Виталий, извини, у нас временные трудности... выдели ему денег, он сходит, купит нам сигарет.

— У меня нет денег, — ответил Виталий с той же извиняющейся улыбкой, которая только что проявилась на губах Лены, и которую Виталий так ненавидел, особенно в себе. — Нет денег, — уже жестко повторил он.

Повернувшись к сыну, Лена посмотрела на него строго и категорично заявила:

— Женя, у нас гость. К нам пришел гость, мой друг, а у нас нет сигарет. Сходи на улицу и стрельни сигарет.

Сцена была ужасно отвратительной, сжав зубы, Виталий с напряжением ждал, когда Женя спокойно пошлет ее куда подальше. Виталию очень хотелось, чтобы Женя послал ее, и послал обязательно далеко и надолго, чтобы сейчас, вот прямо сейчас, Женя посмотрел на нее долго и прерзительно и произнес что-нибудь такое... такое...

— Хорошо, я сейчас схожу, — Женя вышел из кухни.

Довольная собой, Лена повернулась к своему гостю, всем своим видом говоря: «Ну что, видите, как у меня все строго».

Через несколько минут Женя вышел из квартиры. Закрыв за ним дверь, Лена, как и тогда, на троллейбусной остановке, кивнула своему кавалеру и скрылась в спальне.

«Вот тебе и развязочка» — поднявшись, Виталий направился следом.

Освещенная слабым светом из коридора, посреди спальни, медленно снимая халатик, стояла Лена.

— Иди ко мне, любимый, — произнесла она чуть слышно.

Глаза Виталия превратились в две маленькие щелки.словно маленький капризный мальчик, решивший, что он сделает это, и сделает не иначе как непременно назло, и только самому себе, он подошел к Лене.

Как неуверенный в себе самоубийца, быстро выпивающий стакан яда — зло, резко — так, что не сделай он сейчас, потом уже не сможет — губами вляпался он в ее губы. Широко раскрытыми глазами смотрел он на ее тело — видеть все! Глаза не закрывать! — унижать себя, так унижать до конца! Смотреть! Глаза не закрывать! — настоящее безумие охватило его... хотя внешне все выглядело вполне прозаично, буря творилась внутри, внешне... что было внешне — об этом даже скучно рассказывать.

Натянув приспущенные до колен джинсы, заправив рубашку, он сел на пол, облокотившись спиной о стену.

Возбуждение спало. Тихое, вязкое отвращение к самому себе медленно заполняло его тело. Слабо, почти безжизненно убрал он с лица волосы, почесал нос и отвернулся к окну.

Теперь смотреть на нее он уже бы не смог даже за деньги.

Лена с наслаждением закуталась в простыню.

— Виталий, иди ко мне, обними меня... ласковый мой, — почти пропела она.

— Я пойду, — тяжело поднявшись, произнес он.

— Не уходи, останься, мне так с тобой хорошо, я люблю тебя.

— Мне надо идти.

— Виталечка, останься...

Дверь открылась. Вошел Женя.

— Вот, — он протянул Виталию несколько разномастных сигарет.

Вернувшись в спальню, Виталий положил сигареты на кровать.

— Поцелуй меня, у тебя такие вкусные губы, — прошептала Лена.

Не желая того, Виталий поморщился и повел плечами, словно коснулся чего-то гадкого и противного.

— Пока, — произнес он и торопливо вышел из спальни, а затем из квартиры.

З

Этим утром Женя проснулся как обычно, в семь сорок, из двух колонок музыкального центра приятный женский голос предупредил: «Вы слушаете «Наше радио», сто один и семь. Наша музыка». И следом, сначала тихо заговорчески, но с каждым аккордом все настырнее и громче и, наконец, в дикой визжащей истерике зашептало, заревело,

завизжало: «*Рамамбахарамамбарум, Рамамбахарамамбарум, Рамамбахарамамбарум!!!*». Потянувшись, Женя спрыгнул с дивана и, подпевая и пританцовывая: *Рамамбахарамамбарум угу-у-угу, рамамбахарамамбарум угу-у-гу*, — вошел в ванную. Внимательно осмотрев в зеркале свое бледное, худое лицо, ощупав пальцами щеки, маленький, чуть курносый носик, лоб, закрытый косой челкой русых волос, Женя обнаружил возле правого виска несколько вылезших за ночь белых прыщиков; выдавив их и смазав ранки одеколоном, он тщательно вымыл лицо мылом, почистил зубы и, еще раз осмотрев себя, вернулся в свою комнату.

— Женя, сделай потише! — крикнула из спальни мать.

Показав закрытой двери кулак с жестко выскочившим средним пальцем, он, вернувшись в свою комнату, все же убавил звук и, убрав в диван постель и сложив диван, стал собираться в школу. Вскоре в комнате появилась Лена, на ней был все тот же розовенький халатик, чуть выше колен; в комнату она вошла легко, на ходу завязывая пояс; подойдя к окну, она широким жестом распахнула шторы, сладко потянулась и, глядя в окно, произнесла:

— Женя, я влюблена, — выдержав паузу и словно ожидая эффекта после сказанных ею слов, она отвернулась от окна и посмотрела на сына, озабоченно складывавшего в пакет учебники и тетради.

— Это так прекрасно, это такое чувство, — совсем не замечая намеренно озабоченного вида своего сына, продолжала она, — ведь правда он хорош, этот Виталий, ведь правда? (Женя не отвечал.) Он такой скромница. А какие у него губы, ты не представляешь! Я засыпала и видела его; проснулась с мыслью о нем. Как ты думаешь, он вернется?

Женя, будто и не слыша, уже в который раз доставал из пакета учебник английского языка, клал его на стол, но, передумав, засовывал обратно в пакет.

— Ну, чего же ты молчишь, ответь мне.

— Мне надо собираться, мама, — в упор рассматривая вновь вытащенный из пакета учебник, напряженно ответил Женя.

— Да, кстати, Женя, в который раз тебе говорю, — с деловой предупреждающей ноткой возвысила голос Лена, — ну, сколько можно: мама — это так не современно. Ты уже мальчик взрослый, а я у тебя еще вполне молодая и интересная женщина; ты меня еще бабушкой назови. «Мама» — когда ты совсем малютка, а тебе как-никак скоро шестнадцать, ты взрослый юноша. В цивилизованной Европе так и принято: взрослые дети, чтобы не ставить своих мам в неловкое положение, на людях, особенно в компании молодых интересных мужчин, называют своих мам по имени. Тем более, мы живем в современном столичном мире. И ты, надеюсь, не против, чтобы твоя мама всегда чувствовала себя молодой — ведь правда? Ну, чего ты молчишь?

— Хорошо... Лена, — мрачно, с расстановкой ответил Женя, в который уж раз засовывая ненавистный учебник в пакет.

— Ты издеваешься?! — вдруг воскликнула Лена. — Нет, ты издеваешься надо мной. Ты форменный отец. Ты все делаешь мне назло! Ты слышал свой тон? Ты сейчас специально таким тоном назвал меня Леной и назвал, чтобы обидеть. Ты прекрасно слышал: *на людях* не называть меня мамой, но не когда мы вдвоем, а ты назвал меня Леной именно сейчас, когда мы вдвоем, да еще таким тоном... И оставь в покое этот учебник! — она подошла к сыну и вырвала из его руки учебник английского языка. — Ты все делаешь мне назло! — уже кричала она, потрясая злополучным учебником. — Твой отец мучил меня, теперь ты меня будешь мучить?! Да?! — слезы навернулись на ее глазах. — Ты даже фамилию взял его, — учебник с грохотом опустился на стол, Лена аж

сама вздрогнула и на мгновение остолбенела от резкого, взорвавшего воздух удара.

Не медля, взяв учебник и засунув его в пакет, Женя поднялся из-за стола и направился к выходу из комнаты. Лена, все еще оглушенная, резко сделала шаг следом, преградив сыну дорогу.

— Назло мне, исключительно назло мне — эту жуткую фамилию Телегин. Ты — Марченко, мой мальчик, понимаешь, Марченко, а не Телегин! Твой отец бросил нас, он бил меня, он выбил мне все зубы! А ты взял его фамилию! Ты хуже, чем он, он всю жизнь мешал моему счастью, теперь ты, да? В кои-то веки я нашла свое счастье. Виталий художник, а не какой-нибудь там...

— Мне нужно идти, — не глядя на мать, Женя вышел из комнаты.

— Ты как твой отец, — Лена рванулась следом, — скоро и ты меня бить начнешь, ну, говори, нач...ой...но...га-а, — замерев, она схватилась ладонью за левое колено, другой рукой удержавшись за плечо сына.

— Пойдем, тебе необходимо лечь, — произнес Женя и, обняв мать за талию, тут же брезгливо отдернул руку; придерживая теперь ее за спину, он отвел Лену в спальню.

— Ложись, — уложив ее, он немедленно вышел из квартиры, провожаемый охами и стонами скорчившейся на постели матери.

Всякий раз, когда мать заводила скандалы, а последнее время они становились все чаще, Жене стоило больших трудов сдержаться и не высказать все, что он о ней думает.

— Дура, выжившая из ума дура, — как он хотел сказать ей это прямо в лицо, объяснить ей, что она смешна: в свои пятьдесят шесть все еще прикидываться милой, капризной девочкой. — Лена, именно Лена, — зло шептал Женя, быстро спускаясь по ступеням подъездной лестницы, — какая же ты...мать, ты Лена. Мало тебя отец... Хотя и он

мразь... Теперь бы и тебя не стало... Ненавижу. Когда же ты сдохнешь...

Выскочив на улицу, он остановился и тяжело опустился на скамейку возле входа в подъезд. Утро было изгажено, изгажено безвозвратно.

Ненависть сменилась тоской, и паническое чувство одиночества овладело им.

Отец.

Женя вдруг жестко сжал челюсти.

— Всех вас ненавижу, — процедил он сквозь зубы.

Отец окончательно ушел из семьи два года назад, ушел, как он сам сказал, как настоящий мужик: в несколько дней, в большой себе минус, он разменял квартиру на Патриарших прудах на две двухкомнатные, одну отдал жене и сыну, в другую ушел сам. Предлог к уходу оказался самым обыкновенным: он застал жену в спальне с каким-то, как он рассказывал, длинноволосым уродом. Лена отделалась легко: выбитыми зубами и сотрясением мозга; длинноволосый урод просто куда-то исчез. Из больницы Лена сразу переехала в новую квартиру.

«Если бы не сын, убил бы», — коротко сказал отец, и больше его не видели.

С уходом отца жизнь резко изменилась. Новый район, новая квартира, новая школа; и нищета. Порой в доме не было куска хлеба. Лена занималась, как она не без гордости говорила, сетевым маркетингом, что, впрочем, больше приносило ей убытков, чем прибыли.

И так нелюдимый, оказавшись в новой, чужой школе, Женя окончательно ушел в себя. Как бы все сложилось дальше — не известно, если бы в жизнь его не ворвался Саша Черкасов. Сначала Женя просто испугался его: шум-

ный он был и навязчивый, но искренний и, что более того, откровенный подросток. Казалось, для него не было ничего запретного и тайного.

Как-то, это случилось в колхозе, пацаны вечером сидели в своем бараке и обсуждали девчонок. Тема самая популярная и лидером в подобных разговорах был Юрка Моисеев, мальчишка отчаянный, физически развитый и уже слывший героем-любовником (он — уже за год — встречался со второй девчонкой, и обе были из старших классов). Юрка уже знал, что такое женское тело, и охотно делился своими знаниями с ровесниками.

— А ты что слушаешь? — крикнул один из мальчишек Жене. — Тебе еще писю драть; тебе о таком рано слушать.

— Я не друю, — обиделся Женя.

— Драчишь, драчишь, — усмехнулся мальчишка.

— А ты разве нет? — вдруг спокойно спросил его Черкасов.

— Чего? — опешив и не зная, принять это как оскорбление или как шутку, но заранее готовый обидеться, воскликнул мальчишка.

— Ты разве не драчишь? — спокойно повторил свой вопрос Черкасов.

— Ты чего?! Ты за кого меня принимаешь, я что, онанист по-твоему?

— При чем здесь онанист, — Черкасов говорил спокойно и рассудительно; все затихли, — в нашем возрасте большинство подростков занимаются мастурбацией, это даже полезно...

— И что, ты тоже? — усмехнулся мальчишка; усмехнулись и остальные, ожидая, что на это ответит Черкасов.

— Да, — не дрогнув, произнес Черкасов.

Все остолбенели.

— А что в этом такого, — продолжал он, — женщину, как Юрка, я позволить себе не могу, а воздержание вред-

но — я читал об этом — зачем мне вредить своему здоровью. Застой спермы — штука опасная.

Все в изумлении смотрели на Черкасова, не зная, смеяться над ним или руки ему после этого не подавать, или...

— Кстати, Санек прав, — нарушил тишину Юрка, — я тоже где-то про это слышал и сам, когда девчонки нет, а приспичит, тоже мастурбирую, тем более... это и для здоровья полезно.

Несколько минут все буквально приходили в себя. Юрка! Юрка признался в этом!..

— В общем, я тоже... пару раз пробовал, чисто для здоровья, — вдруг признался тот самый мальчишка, который еще недавно называл Женю *онанистом*.

Вскоре уже весь класс признался, что они это тоже... пару раз... ради здоровья. Все, кроме Жени, он упорно утверждал, что он никогда.

— Да ладно, все признались, чего ты-то ломаешься, — давили на него, но Жене не в чем было признаваться.

К слову, Юрка Моисеев не первый раз выручал так Сашу Черкасова. Юрка был уверен, что Санек просто издевается над всеми такими приступами откровения — ради смеха. Ко всему прочему (а для Юрки это было куда важнее всех откровений и сентиментальностей), Черкасов мог один, несмотря на то, что ему ребра переломают, влезть в драку с несколькими пацанами. А Юрка уважал отчаянную смелость. Вообще, он считал Черкасова хитрецом и авантюристом, всегда и во всем руководствующимся верным расчетом. А то, что порой Черкасов перегибал палку и настраивал против себя весь класс — почему бы и нет? — значит, на то у Санька были свои цели.

К слову, с Черкасовым, если кто и общался по душам — были Женя и Юрка. Опять же, «по душам» — фраза не совсем точная: Юрка, по своему характеру, ни с кем по душам не общался, в Черкасове он видел лишь

достойного собеседника, и только. В общем-то, и дружба Жени и Черкасова не выходила дальше разговоров. Вообще, с Черкасовым можно было только разговаривать, иметь с ним какие-либо дела мог лишь тот, кто видел его впервые. Позволяя себе говорить и делать все, что ему хочется, Черкасов не придавал словам ровным счетом ничего. «Единственный мой принцип, — любил повторять он, — это отсутствие всех принципов». Но как ни странно, даже те, кто уже обжигались, имея с ним какие-либо дела, все равно попадались на его удочку. Черкасов мог быть доверчиво обаятельным и имел абсолютный талант убеждать людей — в этом и крылась разгадка его странной удачливости — выпутываться из самых тупиковых ситуаций. Как флюгер, он мгновенно менял свои взгляды и решения, при этом не теряя своей убедительной искренности. Этого мальчишки понять не могли — в каждом, самом бредовом поступке или слове Саши Черкасова они старались разглядеть тайный смысл. Но как раз никакого смысла во всем этом и не было. И, пожалуй, единственный, кто это даже не понял, а почувствовал — был Женя.

— Знаешь, Саня, ты настоящий везунчик, — сказал он как-то Черкасову, — у тебя хорошо развита интуиция, а все считают, что ты математик.

— А я художник, Женек, — словно открывая страшную тайну, загадочно улыбнувшись, ответил ему Черкасов. — Женек, ты мой лучший друг, только ты меня понимаешь.

То, что Женек — лучший друг, Черкасов решил сам. Как-то, после случая в колхозе, он привязался к нему. А Женю поразила эта открытость. В конце концов, он действительно поверил, что они друзья. Но если говорить серьезно, вся Женина покладистость была не от доброты душевной, а от обычной слабости — Женя не мог отказать, не мог сказать нет.

Женя уже выходил из двора, когда его окликнули:

— Женек!

Женя остановился. Не торопясь, вальяжной походкой, широко улыбаясь крепким рядом белых зубов, шел к нему Саша Черкасов. Черная его кожаная куртка-косоворотка была распахнута, и с черной толстовки, дико скалясь, смотрела беззубая крашенная морда, и под мордой было написано: «Король и Шут».

— А я как раз к тебе, — подойдя, Черкасов крепко пожал протянутую ему руку и, не дав Жене ответить, с ходу спросил: — Слушай, у тебя сегодня вечером хата свободна?

Жене сначала даже повеселевший при виде Саши, только тот заговорил о «хате», сразу насторожился.

— Ты прикинь, — не дав возразить, Черкасов обнял Женю и с нарастающим возбуждением заговорил, пронзительно заглядывая Жене прямо в глаза: — Сегодня есть отличный шанс, Женек!

Я вот, только что, с девчонками познакомился — супер, а не девчонки, там такие — Дженифер Лопес отдыхает. Причем сами подошли: типа, извините, не будет ли у вас сигаретки... Короче, я с ними стрелку на сегодня, на шесть часов вечера забил. Женек! — в порыве он крепко обнял Женю. — Я отвечаю, все будет о'кей!

Растерянно улыбнувшись, Женя только и нашелся, что пожать плечами.

— Вот и отлично! — Черкасов радостно сжал кулаки и потряс ими. — Я к тому же такую вещь придумал, — говорил он, когда они уже шли к школе, — смотри, — он отвернул край куртки и показал Жене пришитый вместительный карман, — у нас сегодня будет и вино, и конфеты. Не найдя слов выразить нахлынувшие эмоции, он напористо пропел: — Н-ноу фьюче, н-ноу фьюче фо ю-ю... Женек, ты мой лучший друг, только ты меня понимаешь, — и вновь

крепко обняв Женю, он зашагал, пританцовывая и напевая: — Н-ноу фьюче, н-ноу фьюче фо ю-ю...

В этом был весь Саша Черкасов — нетерпеливый, суетной, взбалмошный, завораживающий своей суетой и в то же время отталкивающий. Черкасов был вне себя от захлестнувшей его решимости, но все это могло резко рухнуть, как ливень в октябре, и смыть все солнечное, задорное, возбуждающее, сменив беспробудной сырой тоской, Женя это прекрасно знал: через полчаса, и это очень даже может быть, Черкасов мог обо всем забыть — это был поистине человек настроения. Привыкнуть к этому было невозможно, Черкасова можно было или принимать или нет. Женя принимал. Слишком искренен был в эти минуты крайнего возбуждения Саша Черкасов. Уже в ногу шагая с ним, Женя тоже напористо подпевал, напрочь забыв, что сегодня было дурное утро:

— Н-ноу фьюче, н-ноу фьюче фо ю-ю...

На большой перемене, когда все пацаны, разбившись на компании, курили на спортивной площадке или обедали в столовой, Женя, не найдя Черкасова, зашел в ближайший, давно полюбившийся ему двор, где он садился на одинокую скамейку в самом центре двора, сколоченную между двумя старыми кленами, курил и смотрел на небо ни о чем не думая. В этот день небо было ровное, белесое и от того очень грустное. Забравшись на спинку скамейки, Женя привычно осмотрел двор и уже собирался закурить, как внимание его привлекла знакомая черная кожаная куртка — возле подъезда одного из домов, наплевав на сырость, прямо на затоптанной мокрой деревянной лавочке, понуро свесив голову, одиноко сидел Саша Черкасов. Удивившись, Женя подошел к нему:

— Саш, ты чего? — тронул он его ладонью за плечо. Устало, подняв голову, Черкасов ословело посмотрел на Женю. — Ты чего на грязном-то сидишь?

Голос Черкасова зазвучал печально, даже раздавлено:

— Еще дом взорвали, представляешь? Я мимо охранника нашего проходил, он радио слушал, опять люди погибли. — В замешательстве, не зная, как на это реагировать, Женя смотрел на Сашу. — Когда же все это кончится... А мы все о бабах... — удивительно, но говорил он это абсолютно серьезно, и сомнения не было, что он притворяется или шутит, Черкасов был серьезен как никогда. — Люди, сволочи, убивают друг друга, ненавидят, делят что-то, а зачем? За что? Вот и мой отчим — сволочь, ненавижу его, быдло. Год назад это случилось, а все равно, нет-нет, да и вспомню, а, вспомнив... ненавижу. Я бы ему многое простил, но такое... Это ведь все равно, что убить человека, что дом взорвать. — Женя, ничего из всего сказанного не понимая, молча стоял и ждал, когда Саша скажет главное — что случилось. — Он, считай, что меня убил. Ведь убить картину, написанную художником, все равно, что убить самого художника. Это, как Вуду. Знаешь, что такое Вуду?

— Знаю, — кивнул Женя.

— Я неделю после чувствовал во всем своем теле боль, точно в меня гвозди вколачивали. Ему, видите ли, срочно стояк в туалете забить надо было. Трубы у нас в туалете поменяли, и их закрыть надо было. Так, отчим мой взял из моей комнаты одну из моих картин, на оргалите написанную, и к стояку ее и присобачил. Она точь-в-точь по размеру подошла. И присобачил лицевой стороной, а на картине мой автопортрет был, и он меня, получается, по лицу, сверху, еще белой эмалью покрасил. Мало того, что гвоздями, еще и эмалью сверху покрасил.

Причем, делал он это не со зла, не для того, чтобы меня обидеть, а от души, потому что картинка моя по размеру

подходила, и, видите ли, картины мои в беспорядке валяются — как хлам. Он, видите ли, и подумал, что мой автопортрет мне не нужен, что мой автопортрет — хлам, которым можно стояк в туалете закрыть и эмалью закрасить. И что главное. Он не понял, что он совершил! Он мне искренне сказал: «Не горюй, чего ты горюешь, ты себе еще напишешь». Нет, ты представляешь, нет, ты вдумайся. Ты себе еще напишешь! А когда я ему открытым текстом высказал все, что думаю о нем и об этой ситуации, так ведь он обиделся и, обидевшись, огрызнулся: «Подписывать надо «руками не трогать»». Ты понимаешь, Женя, подписывать! Ты только вдумайся! — Саша вдруг очень разгорячился, покраснел от возбуждения и, точно вспомнив о чем-то, тихо и даже тревожно произнес. — Я как-то с ним схлестнулся, так мать на колени упала, запричитала: «Родные мои, я вас обоих люблю, не надо, не рвите мне душу...» Я вот сижу и думаю, а вдруг и наш дом взорвали... А если там моя мама будет, — Черкасов надолго замолчал. Молчал и Женя, пораженный всей этой историей с картиной. — Все мамы замечательные, а все отчимы сволочи — аксиома, — он тяжело вздохнул, посмотрел на Женю, нескрываемая боль читалась в его глубоких густо-карих глазах. — Вот твоя мама наверняка тоже замечательная женщина. Ты с отчимом живешь?

— Нет, — чуть слышно ответил Женя, и вдруг какая-то странная, горькая улыбка показалась на его лице. — Замечательная? — эхом повторил он, и сам не заметил, как выложил Черкасову все — *все* — что наболело у него, все ему рассказал: и что мать его старая, выжившая из ума шлюха, и что отец жестокая сволочь, похуже Сашиного отчима, чего только Женя не наговорил, все, что носил в глубинах своей памяти, все сейчас вспомнил и рассказывал точно на исповеди; не помнил как сам сел на эту грязную мокрую лавочку, часто курил, глубоко и нервно затягиваясь, и говорил: — Ненавижу ее. Всякий раз, когда она уходит из

дома, так думаю, хоть бы кто убил ее по дороге, и не вернулась бы она — как отец — исчезла бы навсегда из моей жизни, словно и не было ее. — Женя замолчал.

Замолчал внезапно и обмяк, точно с последним словом все силы, которые были в нем, все вышли из него, вместе с этим последним словом. Веки его прикрылись, голова опустилась на грудь... тяжело вздохнув, он поднял голову, запрокинул ее и с каким-то странным облегчением смотрел теперь на ровное белесое и от того очень грустное небо.

— Вот это круто, — с восхищением произнес Черкасов — А я и не подозревал даже, я-то думал... А я все думаю, — словно найдя, наконец, мучавшую его долгое время разгадку, с абсолютно бестактной, неимоверно широкой улыбкой протянул Черкасов, — я все думал, чего она у тебя все под девочку косит... а оно вон в чем дело... нет, ну, конечно, вставные зубы и парик, а я и ... я смотрю ... даже и незаметно, что зубы у нее вставные. Ну, у тебя отец и мастак!

Черкасов восхищался!

Ошалело Женя смотрел на улыбающееся и от того ужасно противное лицо Черкасова... и что-то больно кольнуло его в правом виске, — зачем? Зачем он все это сейчас наговорил? Зачем?!!! В жизни *никогда, никому* Женя не открывался *и до такой степени* — и тут вдруг ... Откровенный страх исказил его бледное худое лицо.

И Черкасов, как ни в чем не бывало, весело, даже озорно посмотрел на Женю, ни намека не осталось в его лице, и главное в глазах, той тоски и безнадеги, с которой нашел его Женя.

Поднявшись, отряхнувшись, Черкасов посмотрел на часы.

— О, брат, да мы с тобой, за твоей историей, целых два урока пропустили! — и сказал он это до безобразного цинично. У Жени дыхание перехватило, тягучая, густая боль заполнила глотку, не давая и самому маленькому вздоху проникнуть в легкие.

— Слушай, Женек, все равно в школу возвращаться смысла уже нет. Короче, — хлопнул он Женю по плечу, — сейчас мы с тобой идем за вином, а в шесть ... девчонки, — даже пропел он, — девчонки, короткие юбочки, юбки по колено, у перехода метрополитена — станции метро «Беговая», в центре зала, а я хороший мальчик и у меня родители на даче... Не паникуй, Женек, не поверишь, но это правда — ты мой настоящий друг, только ты меня понимаешь, — и, обняв ошалевшего до предела Женю, Черкасов зашагал из двора. Бессмысленно, не видя ничего перед глазами — сплошная сырая пелена — обнимаемый Черкасовым, шел Женя, и в голове его лишь нервно стучало: Н-ноу фьюче, н-ноу фьюче фо ю-ю...

Цель, куда Черкасов вел Женю, находилась всего лишь на противоположной стороне того двора, откуда они только что вышли.

— Ты не представляешь, как это просто. — В новом возбуждении шептал Черкасов, чуть ли не в самое ухо Жени. — Главное быть естественным, словно ты у себя на кухне. Стой здесь, — сказав, он оставил Женю возле главного входа и вошел в двери супермаркета.

Женя не выдержал и одной минуты. Оглядевшись так, словно он сейчас кинется воровать вино, он, не помня себя, движимый каким-то первым порывом, торопливо вошел следом. Не заметив Черкасова, он сдал свой пакет в камеру хранения, не задерживаясь, прошел через турникет и быстро зашагал по огромному торговому залу с длинными рядами стеллажей, заставленных всевозможным товаром. Покупателей было достаточно. Черкасова он не видел. И вдруг Жене стало как-то не по себе: весь товар был вот — на виду — бери, хватай... Нет, Женя не собирался забивать карманы шоколадом, жвачкой, фруктами... Он в ужасе вспомнил, что в кармане его брюк лежала упаковка жевательной резинки — точно такая же продавалась и здесь, вот она, лежала на стеллажах, в коробках... Вокруг — видеока-

меры. Охранник, крепкий молодой парень в голубой форменной рубашке, с рацией в руке. Женя косо глянул на него. Черт возьми, а ведь могут подумать, что он украл эту жвачку, разве докажешь им, что он ее покупал черт знает когда... Женя окончательно перепугался. Охранник посмотрел на него. И ведь с подозрением посмотрел, в этом Женя не сомневался. Круто развернувшись к охраннику спиной, он неторопливо, как самый обыкновенный покупатель, зашагал обратно. Убираться отсюда к чертовой матери.

— Здесь выхода нет, — остановил его другой охранник, стоявший возле турникета.

— Так я ведь ничего не покупал, — голос предательски дрожал, взгляд все время косил в сторону.

— Выход через кассу, — указал Жене охранник.

Ага, через кассу, с жевательной резинкой в кармане! Чтобы его там с ней сцапали! От резинки нужно избавиться, немедленно. Но как это сделать, когда кругом сплошные охранники, и смотрят, наблюдают, за каждым его шагом наблюдают, точно он вор какой-то... Да в придачу видеокамеры... Скинуть жвачку на пол... Сделаешь это, как же, когда столько глаз, внимательных, подозрительных глаз смотрят, смотрят и ждут. Тревога до краев заполнила его тело, вот она уже стала проступать сквозь кожу, неприятно холодя спину... Чертова жвачка. Озираясь, бродил Женя мимо стеллажей, руки его то и дело трогали карман, где покоилась эта проклятушая упаковка с десятью подушками жевательной резинки, он даже не мог вспомнить, что за жвачку он с собой таскал: «Стиморол», «Дирол», «Орбит»?

А взгляды охранников становились все подозрительнее и подозрительнее, вот уже один пристроился в хвост к Жене, ни на шаг не выпуская его из своего поля зрения. Женя окончательно струсил. Он и о Черкасове забыл... резинка — вот, что сейчас беспокоило его, обычная жевательная резинка...

— Извините, молодой человек...

— А! — вздрогнув, выдохнул Женя.

— У вас какие-то проблемы? — слишком вежливо поинтересовался охранник.

— Нет-нет, что вы, я так, смотрю... — И предательски, в нервном тике, заморгало левое веко. Получалось, что Женя подмигивал охраннику, — от этой мысли у Жени внутри все так и опустилось, и он в страхе сглотнул.

— Вам помочь, вы что-нибудь ищите? — продолжал охранник, пристально всматриваясь в бледное, без единой кровинки, лицо Жени.

— Нет, нет, я... я так... смотрю, — совладав, наконец, с голосом произнес он.

— Позвольте я вас провожу до кассы...

Вот. Началось. Все — попался.

— Я бы еще немножко посмотрел, — кривая, полная униженной услужливости улыбка.

— Все-таки давайте я вас провожу, — настойчиво предложил охранник, окончательно убедившись, что имеет дело с обыкновенным наркоманом, и самое лучшее — это вывести его от греха подальше.

— Я ничего не воровал, — вдруг живо сообщил Женя. — Я эту жвачку купил в другом магазине. — Тут же он извлек из кармана засаленную, ни на что не похожую упаковку «Дирола», при этом, не забыв в подтверждение своих слов вывернуть все имеющиеся у него карманы.

— Я понимаю, — примиряюще улыбнулся охранник. — Пойдемте, — тронул он Женю за локоть.

— Но за что?!

— Андрей, что там? — появился второй охранник. Первый сделал знак рукой — все в порядке.

Проведя Женю через кассу, он довел его до выхода.

— Счастливо, — махнул он ему рукой.

Не задерживаясь, Женя мигом очутился на улице.

— Ну, ты артист.

Черкасов. Он стоял, прислонившись спиной к стене дома.

— Ты просто профессионал какой-то, — говорил он весело, обняв за плечи еще не пришедшего в себя Женю. — С тобой можно в паре работать. Ты выглядел, как абсолютный псих, который так и шныряет, где бы чего урвать. Все охранники только за тобой и следили. Молодец! — Черкасов в знак благодарности похлопал его по спине.

Они вошли во двор. Сев на лавочку, Черкасов распахнул кожаную куртку и, из того самого, специально пришитого для этого случая кармана, извлек бутылку вина. Удивление появилось на лице Жени, удивление и... восхищение.

— Все-таки удалось, — быстро оглянувшись по сторонам, произнес Женя чуть слышно.

— Все только начинается. — Черкасов открутил крышку одной из бутылок. — Я чувствую, все только начинается, — сделав глоток, он протянул бутылку Жене. — Сегодня особенный день, — заключил он, закулив сигарету. — На — для успокоения души. Да держи же ты, — насильно всунул он бутылку в Женину руку, пей, я тебе говорю, — и неожиданно, совсем по-отечески взглянув на Женю, произнес: — На тебе ж лица нет, а это красное вино, гемоглобин, красные тельца, для крови полезно, пей же, я тебе говорю, — заключил он, совсем уже по-родственному. Запрокинув бутылку, Женя сделал несколько глотков и сразу щеки его зарделись, и неожиданно приятное тепло, мягко пройдя гортань, легло в желудке. Вино, к удивлению Жени, на вкус оказалось сладковато-терпким и довольно вкусным; не удержавшись, он сделал еще один глоток; признаться, он впервые пил спиртное, и это ему понравилось. За какие-то мгновения множество образов пронеслось у него в голове и удивился он: то, что превращало его отца и друзей отца в невыносимо противных, бестолково занудных людей, оказалось очень приятным на вкус, успокаи-

вающим и меняющим мир к лучшему напитком. Вздыхнув, он густо выдохнул, так, будто все дурное вышло с этим густым, очищающим выдохом. Обернувшись к Черкасову, Женя долго посмотрел на него — как ребенок — немигающим, познающим взглядом. Черкасов даже смутился и сказал:

— Ну, что я говорил.

Женя не ответил. Отрешившись от всего мира, он откинулся на спинку лавочки и, подняв голову, больше ничего не слыша и не замечая, устремился в небо — в ровное белесое... Но теперь совсем не грустное небо, а даже спокойное и умиротворенное. И Жене стало от этого хорошо. Он не заметил, как веки его опустились, и он уснул.

Проснулся он от звуков далекого и очень знакомого голоса, мягко внушающего ему:

— Я пришел к тебе с приветом, рассказать, что солнце встало...

— А, — очнувшись, Женя нашел, что сидит он на той же лавочке, рядом сидел Черкасов и уже не далеким и не мягким, а совсем даже в самое Женино ухо, с хитрым, как показалось Жене, каким-то дребезжанием продолжал:

— Командовать парадом буду я.

Сморщившись, Женя отстранился и, поднявшись с лавочки, произнес:

— Ладно, я пойду.

— Давно пора, — невозмутимо согласился Черкасов и, постучав указательным пальцем по циферблату своих наручных часов, заметил:

— Время-то, без двадцати четыре, как раз успеем дойти, — и, поднявшись и кивнув в сторону метро, изрек, — пора!

— Ты не понял, я домой, — с тихой решимостью пояснил Женя.

Черкасов тяготил его, единственное, чего хотел Женя — избавиться от этого неприятного ему теперь человека. От-

вратительное чувство стыда за свою недавнюю откровенность с мучительной настойчивостью гнало Женю подальше от этих нахальных, все теперь знающих глаз, знающих и пытливо царапающих Женю своим навязчивым вниманием. Не протянув Черкасову руки, Женя взял лежащий на лавочке пакет и услышал:

— Жаль, — произнес Черкасов, — а я-то думал ты мне друг. Если ты из-за... — он на секунду замялся, — если ты из-за того разговора, ну — из-за своей матери, — Женя зло и в тоже время с мольбой посмотрел на Черкасова, — ты это зря. Я не знаю, почему ты решил, что я хотел тебя обидеть... Знаешь, Женек, — и вновь глаза наполнились густой черно-фиолетовой печалью, от чего взгляд его сделался пронзительно звонким, словно кусочком звездного неба. Жуткое одиночество увидел Женя в этих глазах; смутившись, он отвел свой взгляд в сторону; не желая того, Женя ощутил себя почему-то виноватым, но в чем?..

— Ты был моим единственным другом, — мягкий, глубокий, успокаивающий своим печальным баритоном голос, — я почему-то верил тебе, а после рассказанной тобою истории я почувствовал странную близость к тебе — родство. Мне показалось, ты еще более одинок, чем я; знай, что бы ни случилось, ты мой лучший друг, — и Жене показалось, что в Сашиных глазах блеснули слезы. Резко отвернувшись, Черкасов скоро зашагал прочь во дворы.

— Саша, — опомнившись, Женя кинулся следом, и тени прежней ненависти к этому странному человеку не осталось. Саша — настоящий человек, а я его обидел! — Саша, — догнав его, Женя торопливо заговорил, — Саша, ты чего, я даже вовсе... — он путался, сбивался, — я же и не это; перестань. Мы же друзья. — Последнее он выговорил четко и почему-то радостно. — Мы же друзья, — повторил он, крепко, обеими руками держа за плечи сникшего Черкасова и с наивной, требующей прощения радостью заглядывал тому в глаза.

Черкасов улыбнулся:

— Женек!

Они крепко обнялись.

— Слушай, — вспомнив, воскликнул Черкасов, — нас же девчонки ждут! Вперед!

Битый час проторчали они в метро.

— Кинули, — в который раз уже зло плевался Черкасов, — кинули ... Ну, чего теперь? А ну их, — в досаде, опустив руку, он кивнул Жене и направился к выходу. — И что теперь? — глядя куда-то в сторону, точно спрашивая у самого себя, произнес Черкасов.

5

Давно стемнело. Они сидели у Жени дома. Вдвоем. Блекло светил розовым светом торшер, мягко освещая Черкасова в кресле, от безделья перелистывающего страницы «Плейбоя». Женя, прислонившись к ковру, висевшему над диваном, наблюдал за Черкасовым.

— Мать скоро придет? — просто так, без цели спросил Черкасов.

— Думаю, что нет. Она сейчас в своем клубе, на какой-то выставке, какого-то художника. Может и вообще ночевать не придет.

— А женский клуб — это, наверное, круто, — задумчиво говорил Черкасов, с жадностью рассматривая какую-то обнаженную девушку, стоявшую на берегу моря в очень заманчивой позе. — Представляю, они пьют, веселятся, мужской стриптиз; мне, конечно, лучше женский. Но у них же женский клуб. Прикольно было бы понаблюдать, как бесится толпа прикольных чухих.

Женя криво усмехнулся, он вдруг представил, как его мать, пьяная, прыгает возле сцены, где раздевается этакий брутальный молодой длинноволосый тарзан, тянет к нему

свои узловатые пальцы, стараясь коснуться его крепких ягодич, и уже остается совсем чуть-чуть, ее пальцы уже близки, уже готовы коснуться, как вдруг она охает, ойкает и хватается за больное свое колено.

— Представляю, — усмехнувшись, согласился Женя, — только вряд ли там будет стриптиз, выставка же... хотя, может, и будет.

— Точно будет, — живо подхватил Черкасов, — и стриптиз будет, и оргия.

— Оргия, — Женя снова представил мать, скорчившуюся от боли возле сцены, и усмехнулся, — хорошо бы.

— Ты про оргию? Да, оргия это круто. — Черкасов все больше распалялся, уже сам не замечая, как пальцами гладит гляцевую бумагу с изображением обнаженной у моря. — Я бы хотел попасть на оргию: много пива, вина, женщин, и все хотят меня, все тянут ко мне свои руки, чтобы сорвать с меня одежды, срывают и ... — у Черкасова аж дыхание перехватило, как он представил, что будет, когда они сорвут с него одежды. — А у тебя когда-нибудь была женщина? — на выдохе спросил Черкасов.

— Нет, — равнодушно ответил Женя.

— Блин, у меня тоже, — досадливо признался Черкасов, — я даже и тела женского близко не видел, только вот, — он ткнул пальцем в страницу. — Каждый раз представляю себе, как это будет, и всегда, знаешь, с нашей милой Верой Сергеевной по физре. Вот настоящая красавица! Я ее обнимаю... ее кожа, мягкая, бархатистая, пахнущая...

... — Потом и матами, — язвительно усмехнулся Женя.

— Нет, — вовсе не обращая внимания на Женин тон, продолжал Черкасов, — пахнущая хвоей! Не знаю, но мне кажется, что ее тело пахнет хвоей. Я люблю запах хвои. Я после уроков провожаю ее домой, она воспитывает меня, внушает, как надо вести себя на уроке, я слушаю, киваю, а потом мы незаметно... даже не заметили как, очутились

возле дверей ее квартиры. Ее мужа нет дома. Я не знаю, замужем ли она, но мне очень хочется, чтобы была, чтобы в этот вечер ее муж... ну, скажем, был в командировке... нет, лучше в бане, командировка слишком банально, и я совращаю ее... она отпирается, говорит: «Нет Саша, не надо», — а у самой грудь поднимается все выше и выше, дыхание учащается, она вся трепещет от желания согрешить со мной, и...

— А зачем, — перебил его Женя, и тон его был, при этом, до странного наивным.

— Как зачем! — в порыве воскликнул Черкасов. — Обладать развратной женщиной — пошло. Она должна быть невинной в своих чувствах, только тогда будет настоящая страсть, только тогда она будет страдать...

— Но зачем...

— А в этом и есть высшая степень наслаждения — осознание ею своего греха, тогда она будет вся в моей власти. Развратная женщина лишена глубоких чувств, для нее секс — всего лишь животное удовлетворение своей похоти, она не способна подарить мне себя всю — наоборот, она забирает все, что ей нужно у меня, а потом даже не вспомнит, как меня зовут.

— Ты говоришь так, словно у тебя уже была куча женщин, — завороченный мягким баритоном Черкасова, с придыханием произнес Женя.

— Да! У меня были сотни женщин, вот здесь, — Черкасов ткнул указательным пальцем в свой висок, — и я знаю, когда все случится по-настоящему, она будет восхищаться мною. Женщиной нужно о б л а д а т ь; все другое хуже, чем мастурбация. Шлюхи — удел черни, которым важно лишь у д о в л е т в о р е н и е — как голод, — он замолчал.

— Обладать, — произнес он спустя некоторое время, произнес, как эхо, как отголосок давно владевшей им мечты. — Она стыдливо прячет взгляд, руки ее не находят себе места, она стыдится своей наготы, стыдится содеянно-

го — как она могла! — согрешить, но назад пути нет — она моя; после она будет ненавидеть меня, ненавидеть за свою слабость, будет стараться забыть, но я всегда буду вставать перед ее глазами, когда она будет ложиться в постель со своим мужем, и всякий раз, когда его губы будут касаться ее губ, она будет чувствовать солено-горький вкус незабываемой, сводящей ее с ума измены — со мной. А-ах, — его аж передернуло от удовольствия при этой мысли.

— Ты опасный человек, — то ли шутя, то ли всерьез заметил Женя.

— Я всегда ощущал в себе Вронского, — не без гордости, довольно произнес Черкасов. — Только знаешь, — теперь тон его был больше озадаченным, — всегда думал, ведь я парень-то не худенький, а она-то, совсем куколка ведь, наверное, ей тяжело будет, когда я лягу на нее.

— Не знаю, — пожал плечами Женя.

— А я бы хотел узнать, и очень хотел бы ощутить женское тело, лежащее на мне, наверное, это чертовски приятно, когда на тебе лежит другое тело. Как ты думаешь?

— Наверное, приятно, — глядя куда-то в сторону, ответил Женя. Слушая Сашу Черкасова, его тихий, взволнованный баритон, Женя почувствовал странное желание ощутить на себе тяжесть тела его — Саши тела. Чуть слышно, изменившимся голосом Женя произнес: — А покажи мне этот журнал.

И Черкасов не протянул Жене журнал, а сам, вместе с журналом, перешел на диван...

— Теперь у нас есть настоящая тайна, — потянувшись всем телом, чуть слышно произнес Черкасов, — теперь мы с тобой больше, чем друзья; а ты знаешь, мне это даже понравилось; только еще сильнее женщину захотелось.

Женя не ответил. Он не сказал бы, что ему это было противно, но... какой-то необъяснимый стыд испытывал он в эту минуту — как Вера Сергеевна, — выскочила па-

ническая мысль и следом один за другим, путаясь, закружились, сменяя друг друга, куча образов, от которых Жене хотелось сгинуть от охватившего его стыда. Возник неизвестный муж Веры Сергеевны, возвращающийся из бани... И мать! Она ведь сейчас может вернуться... А Саша довольно потягивался, лежа на диване, и никакого стыда в его лице Женя не увидел, лишь *удовлетворение* — ему лишь сильнее захотелось женщину, — странно, но именно эта мысль более всего мучила Женю... она его... оскорбляла — да, его оскорбляла эта мысль. Женя вдруг поймал себя на том, что он ... ревнует.

— А с женщиной, думаешь, было бы лучше, — с тихой дрожью в голосе спросил он, не замечая, как руки его стыдливо закутывают его нагое тело в покрывало.

— Конечно, — не задумываясь, ответил Черкасов, — уверен, с женщиной лучше; у женщины грудь, талия, и у женщины есть... — повернувшись на живот, Черкасов хитро подмигнул и игриво шлепнул Женю ладошкой.

Волна ненависти нахлынула откуда-то снизу и комом встала у Жени в глотке; сдерживая себя, чтобы не заплакать, он торопливо поднялся с дивана и, собирая разбросанную по полу одежду, еще торопливее оделся, открыл ящик стола, где россыпью лежали несколько разномастных сигарет, на черный день, взял одну и — что случилось впервые — закурил здесь же, в комнате. Он ненавидел сейчас Черкасова... Неожиданная злая мысль пришла ему в голову, сев на край дивана, он внимательно посмотрел на Сашу, все еще нагим лежащего на диване, и неожиданно произнес:

— Саша, мы же с тобой друзья — так?

— Так, — почувствовав подвох, Черкасов поднялся с дивана и, подобрав с пола джинсы, стал торопливо одеваться.

— Переспи с моей матерью. Ради меня. Ради нашей дружбы.

— Вот так Женя, вот так тихоня, — в каком-то возбужденном удивлении повторял Черкасов, быстро шагая в сторону Ваганьковского кладбища. — «С матерью моей пере-спи». Ну, блин, Женя, ну.. Женя. — Не выдержав, он рас-смеялся — на минуту представив себя в постели с Жениной матерью...

— Ну уж нет! — вновь смех разобрал его. — Ну, Женек, ну.. блин, — все повторял он, не в силах прервать свое ди-кое, громкое гоготанье.

Он остановился возле трамвайной остановки.

«Куда я, собственно, ехать собрался? — вопрос возник сам собой. — Черт возьми, ведь в клуб иду — по привычке, точно на автопилоте», — он немало удивился этому факту. Намерения идти в клуб у него не было. Выйдя от Жени, он, как само собой разумеющееся, направился в сторону клуба.

— Бывает же, — удивился он вслух. — А почему бы и нет? — следом решил он. — Вон, и трамвай подходит. — Окончательно утвердившись в своем намерении, он вошел в трамвай, сел на свободное место и, ткнувшись лбом в холодное стекло, бессмысленно уставился в огни вечерне-го города.

Уже переехав мост, он, точно очнувшись, подумал: «Вре-мя-то... Там ведь сейчас никого нет. А, ладно, — мысленно отмахнулся он, — прогуляюсь, а там...» — И, вновь вспо-мнив о Жене, широко оскалившись, прошептал: — Ну, Женя, ну тихоня...

Без всякой надежды дошел он до двери клуба «Юных техников». Он и прошел бы дальше, дошел бы до следую-щей трамвайной остановки, сел бы в трамвай и поехал бы обратно домой — как он и собирался сделать — если бы не заметил в окне кабинета рисования тоненькую, чуть замет-ную полоску света между краем окна и шторой.

— О, как! — с минуту он, не зная, позвонить или нет, стоял и смотрел на эту тоненькую бледно-розовую полоску, исходившую, наверняка, от настольной лампы.

И такое любопытство Сашу разобрало...

«Скажу... что рисунок свой пришел забрать. Матери моей... она очень захотела его увидеть. Нет... Шел мимо. Да, скажу правду: шел мимо, увидел свет...» — более не мешкая, он уверенно подошел к железной двери и вдавил кнопку звонка.

Дверь не открыли и после повторного звонка. Более того, полоска света исчезла.

«Или с женщиной или... с женщиной», — мгновенно решил Черкасов. И так его это раззадорило, что, не удержавшись, он постучал костяшками пальцев в окно, стучал долго, настойчиво.

Пожалуй, не пей он сегодня вина, не будь его голова вскружена последними событиями этого дня, он вряд ли позволил себе такую наглость, как стучать поздно вечером в окно кабинета рисования, когда его лично там никто не ждал, и явно видеть его там никто не хотел, — но это-то и разжигало больше всего.

Видеть его, значит, не хотят. Скрываются. Свет гасят. Шифруются, прикидываются, что нет никого, но это еще...

— Виталий Андреевич, — громко и со слышимым раздражением, до которого Саша уже успел довести себя, произнес он, вновь постучав в окно.

Тут же штора отдернулась, из полумрака кабинета показалось испуганное лицо учителя рисования. Увидев его, Саша, как ни в чем не бывало, улыбнувшись, сделал ему ручкой.

Через минуту дверь клуба открылась.

— Тебе чего? — быстро запустив Черкасова внутрь и сразу закрыв за ним дверь, почти шепотом спросил Виталий Андреевич.

— Да так, — не найдя, что ответить, пожал плечами Саша. — А что шепотом-то? — спросил он в свою очередь.

Этот вопрос поставил Виталия в тупик. С минуту, не понимая, смотрел он на своего ученика.

— Тебе чего, ты что так поздно здесь делаешь? — наконец произнес он.

Лицо Саши Черкасова вдруг изменилось, и он, вторя своему учителю, так же тревожно и торопливо заговорил:

— Виталий Андреевич, мне необходимо серьезно с вами поговорить, очень важный разговор, — он и сам толком не знал, к чему он все это начал. Единственное, что ему сейчас хотелось, поскорее заглянуть в класс рисования и увидеть там что-нибудь такое... такое! Словом, он готов был нести сейчас самую что ни на есть чушь, лишь бы заглянуть в класс.

— Что случилось-то? — тон Виталия теперь стал откровенно испуганным. «Узнали, что я здесь живу!» — высочила самая страшная, давно уже донимавшая его мысль. — Говори! — нервным шепотом выпалил Виталий.

— Пойдемте, — Черкасов кивнул в сторону класса. Он не верил, что Виталий Андреевич первым пригласит пройти в класс его, Сашу Черкасова. Странно поглядывая на учителя, Саша вошел в класс и ...никого там не увидел. Единственное, что могло показаться необычным — пять стульев, выстроенных в ряд у окна и застеленных старым пальто.

— Ну и? — сев на табурет, Виталий предложил сесть и Саше.

— Понимаете... Понимаете, — Саша запнулся. Он совершенно теперь не знал, что ему говорить. Виталий Андреевич (и это очевидно), был в классе один (стулья вот только...), больше никого не было.

Некоторое время, собираясь с мыслями, смотрел он на эти застеленные пальто стулья, лихорадочно придумывая, что бы ему такое сказать. Прошло уже минуты две. Дальше тянуть было некуда.

— Виталий Андреевич, — произнес он с расстановкой; и сам не ожидая от себя, вдруг выдал: — У меня есть друг,

Женя, и у него есть мать, и он попросил меня ради нашей дружбы, чтобы я с ней переспал, вот.

Прозвучало это до того нелепо и абсурдно, что и сам Черкасов немало удивился, услышав произнесенные им же слова.

— Ну... и что? — после довольно долгой паузы, спросил Виталий Андреевич.

— Ничего, — пожал плечами Саша и, вновь глянув на стулья, попросил: — Можно я закурю?

— Кури, — кивнул Виталий.

— А вы так поздно... работаете, да? — закурив, лишь бы не молчать, спросил Черкасов, как замороженный глядя на эти стулья.

— Да, — кивнул Виталий, пристально вглядываясь в Черкасова и ожидая, что еще скажет этот столь неожиданным появившийся молодой человек.

В полной тишине выкурив сигарету, Черкасов вдруг поднялся и произнес:

— Ну, я пойду.

Виталий вздрогнул. Поднявшись вслед за Сашей, он, стараясь заглянуть ему прямо в глаза, произнес, сдерживая возрастающую дрожь в голосе, и оттого медленно и даже внушительно:

— Саша, скажи правду, ты чего приходил, что случилось? — и, точно все поняв, взгляд его врезался в эти чертовы стулья, которые он подготовил себе для сна, и которые так пристально привлекали сейчас Сашу.

— Ничего. На самом деле, я просто шел мимо, увидел свет, удивился, что в клубе кто-то есть и постучал. Вот и все, — честно признался он.

Нечего и говорить, что Виталий ни слову не поверил. Он вдруг, именно сейчас, абсолютно уверился, что Черкасов пришел проверять его; его подослали...директор — он знает, что Виталий не снимает никакую квартиру, а живет здесь же, в клубе. Это проверка, это...

— Подожди, я сейчас тоже уже собирался уходить, — засуетился Виталий. — Я тут засиделся, рисовал — работал, как ты правильно заметил («Чертовы стулья, — мотнув головой, — вытряхнуть эти мысли!» — Виталий улыбнулся криво, противно, он сам это почувствовал), а сейчас вот, домой, — добавил он и неожиданно хихикнул. — Я живу здесь недалеко, — резко чеканил он, — за мостом, за Ваганьковским, у женщины...

— А на какой улице?! — живо подхватил Саша. — Я же тоже в том районе живу.

— На улице? — Виталий замер. — Улица... — перед глазами его возник Ленин дом, — улица, — повторил он, мысленно вспоминая табличку с номером дома и названием улицы. — Конечно! — воскликнул он и, не задумываясь, выложил Черкасову улицу и номер дома, где жила Лена.

— О! Так я рядом живу! И друг у меня (ну, который Женя) в этом же доме живет. А вы в какой квартире?

«Попался», — медленно проплыло это слово в голове у Виталия Андреевича. Тяжело выдохнув, он вдруг спокойно и долго посмотрел на Черкасова и даже с какой-то тупой тоской произнес:

— Саша, ну чего тебе от меня надо. Я же хороший учитель, ведь правда? Ну скажи, ведь правда?

— Конечно, — охотно согласился Черкасов.

— Ну да, никакой квартиры я не снимаю и ни у какой женщины не живу. А живу здесь, в клубе, ну и что, но ведь я хороший учитель, ведь правда?

— Правда, — все еще не понимая, уже осторожно согласился Саша и, не к месту широко улыбнувшись, воскликнул: — а зачем на...говорили-то?! Вы что, подумали... а-ха-ха!

— В общем-то, да, — усмехнулся и Виталий. — Ты что, правда, шел мимо и *просто* зашел? — тон Виталия не был на редкость наивен.

— Шел мимо и *просто* зашел, — повторил Саша, сделав ударение на том же слове, что и Виталий Андреевич.

— От, блин, — Виталий даже рукой махнул. Густо выдохнув, он вдруг громко и долго засмеялся, даже на стул упал от этого нервного, накрывшего его смеха. Отдышавшись, уже с облегчением и в то же время серьезно он посмотрел на Сашу.

— Саша, я, конечно, мнительный балбес. Саша, я тебя прошу, пусть это останется между нами. Водевиль какой-то! — не выдержав, весело выпалил он. — Ну что, договорились? — и он протянул Саше руку.

— Договорились! — и Черкасов с жаром пожал протянутую ему ладонь учителя рисования.

— Будем друзьями, Александр Черкасов?

— Будем, Виталий Андреевич!

Вскоре они покинули Клуб и зашагали к трамвайной остановке.

— Ну что, до завтра. — Виталий вновь протянул свою руку Черкасову.

Довольный собой, Саша с удовольствием пожал ее:

— А вы куда?

— Погуляю часок-другой, да обратно в клуб, спать.

— Вон мой трамвай, — и в каком-то радостном возбуждении, широко размахивая руками, Саша побежал к подходившему к остановке трамваю.

Эту ночь Виталию в клубе ночевать не пришлось. Дойдя до метро и доехав до станции «Войковская», он так, наобум, зашел в гости к своему бывшему однокурснику Сене Ривкину. Дружбы особой между ними никогда не было. Но,

когда Сеня входил в запой, в такие дни он частенько заходил к Виталию в клуб, и непременно в те минуты, когда в клубе находился директор.

«Виталий! Здесь не кабак, а детское учебное заведение!» — громыхал директор. — «Борис Борисович, вы же видите», — оправдывался Виталий. «Смотри у меня, — заключал директор, — в последний раз». Таких «последних разов» было уже не менее пяти. «Пусть только попробует уволить, — зло секретничал Виталий с Иванычем моделистом, — кто тогда будет здесь работать за такие копейки? Да и вообще, я виноват, что этот ко мне пьяный заваливается?» — «Ну, ты уж все равно, — соглашаясь, все же замечал Иваныч, — он и просто так уволить может. Ты же его характер знаешь. И скажи ты этому своему Сене, чтобы в таком виде не заходил, в конце концов, в чем-то Борисыч и прав, здесь же дети. Ну, вечером, ну, после уроков, но чтобы посреди дня!» Виталий на это лишь пожимал плечами. С пьяным Сеней разговаривать было бесполезно. Впрочем, с трезвым тем более. Если пьяный он тащил Виталия к себе домой и часами мог доказывать, что он гениальный художник, а остальные все сволочи — все, абсолютно все, то в трезвом состоянии он Виталия и на порог не пускал. «Виталий, извини, я работаю, у меня дела. И прежде, чем заходить, всегда звони, телефон для этого и придуман», — так неизменно заявлял Сеня, когда был трезв.

В этот вечер Сеня оказался почти невменяемым.

— Витальчик! — открыв дверь и увидев Виталия, он буквально бросился ему на шею. — Витальчик, как я рад тебя видеть! Ты единственный художник в этом говенном городе! Заходи! — Небольшого роста, в рваном трико, постоянно почесывающий свою смоляную взъерошенную бороду, и с какой-то неуловимой кошачей ухмылкой в чернячих глазах. — Витальчик, дорогой, проходи, да не разуйся ты, плюнь ты на все, вот так, — Сеня плюнул на пол, — вот так. Проходи!

По правде, Виталий завидовал Сене. Пьянствуя целый месяц, после Сеня в какие-то три-четыре дня делал две-три картины в духе Пиросмани и, что всегда поражало Виталия, выгодно продавал их. Тем и жил. Но, несмотря на это, жизнью своей Сеня доволен не был.

— Все сволочи! — стуча кулаком по столу, рычал Ривкин. — Мы художники: только ты, Витальчик, и я, все остальные — сволочи. И эти сволочи смеют обвинять меня в халяве и пьянстве. Дожили — в России художником стало быть *неприлично*. Нужно быть бизнесменом, нужно *работать*. А живопись, это так. Рисовать у нас, как и петь, каждый таксист умеет.

— Тебе-то что до этого? — удивлялся Виталий. — Картины ты свои продавать умеешь...

— В том-то и дело, что умею — именно *умею*! Приходится надевать белую рубашку и, как последний торгаш, извиваться перед этими толстосумами, унижаться перед этими денежными мешками, лстить им, убеждая купить их мою картину. А некоторые меня за это и ненавидят. Ну, конечно, они ведь работают, а я тяп-ляп — и штука баксов! Они все быдло! Я умею что-то делать, понимаешь, Витальчик. Я творец. А работают пусть рабы. Работают те, кто ничего делать не умеет. И мне не стыдно, мне смешно, когда какой-нибудь недоумок тычет в меня пальцем и обвиняет в безделье и халяве. Мне смешно! Этот недоумок считает себя выше и, заметь, достойнее меня, лишь потому, что он работает и зарабатывает деньги! Он встает к 8:00 на работу, в 17:00 возвращается домой, ужинает, смотрит телевизор, спит с женой. По субботам ходит к любовнице, по воскресеньям пить пиво с друзьями; раз в месяц приносит домой зарплату — скучно. Но его слабенький ум не может понять, что то, что делает он, могут делать и другие — он заменим, он обычный кирпич в общей кладке, он раб, стоящий на конвейере... Он даже не может понять, что если все станут на конвейер, конвейер этот заглохнет.

Чтобы конвейер этот работал, ему нужны жертвы, и эти жертвы мы, творцы. Мы подобны весеннему ветерку, звездному небу, легкой ряби на зеркале пруда, пению птицы, шелесту листвы — тому, без чего нет жизни и то, что постоянно упрекают в бесполезности. Нашими творениями нельзя насытить брюхо, ими не укроешься от холода — они как воздух, который нельзя пощупать, который замечаешь только тогда, когда его нет, когда ты задыхаешься, и только тогда понимаешь, что он — главное. Но дай тебе его снова, и вновь ты о нем забудешь.

— То есть? — не понял Виталий.

— Вот и то есть. Ты часто задумываешься, почему встает солнце, откуда берется дождь, почему распускается цветок или почему падают листья? Ты идешь по улице, тебе паршиво и вдруг ни с того, ни с сего тебе стало хорошо — ты увидел растущий на обочине одуванчик, и тебе стало хорошо. Возможно, ты даже и не придашь значения тому, что в изменении твоего настроения повинен какой-то маленький желтенький одуванчик, тебе нет до него дела, у тебя семья, работа, тебе незачем задумываться о каком-то там одуванчике, ты даже можешь не понять, что настроение твое изменилось именно потому, что на миг, на долю секунды твой глаз заметил этот ничтожный одуванчик... теперь понимаешь, о чем я? Искусство незримо влияет на нас, оно независимо от нашей воли может изменить наше настроение, оно владеет нашими чувствами — хотим мы этого или нет. Оно может свести с ума, даже убить, или наоборот, дать жизнь. И мы, творцы, мы единственные, которые понимают это, понимают не разумом, а нутром — мы можем владеть настроением людей, а значит и их судьбами. Мы выше их, мы важнее их, без нас они подохнут от тоски.

— А мы без них с голоду, — заметил Виталий, шумно закусывая только что выпитую стопку водки куском одесской колбасы.

— Физиология, Виталий, гораздо проще психологии. — Ривкин разлил оставшуюся водку в стопки и, не чокаясь и не закусывая, немедленно выпил. — Человек, как животное, может всю жизнь жрать одни коренья и пить воду и прожить сто лет. Но лиши его способности видеть и слышать прекрасное, и он загнется от тоскливого ужаса раньше положенного ему срока, будь он хоть владельцем мясомолочного комбината... Так что не мы без них с голоду подохнем, а они без нас от тоски... Но они, свиньи, как и положено, этого не понимают. И если что-нибудь случится, революция — черт бы ее побрал — то пойдут за нами. Мы — высшие люди — возглавим эту толпу. Пошли за водкой.

— Сеня, — Виталий пристально посмотрел на Ривкина, — художник не может быть злым, он слишком понимает эту жизнь и этих людей, чтобы злиться на нее и на них.

— Кто на ком стоял — выражайтесь яснее — на кого нее и на кого них?

— На людей. А ты злой и за тобой никто не пойдет. И если и вправду что-нибудь *случится*, то пойдут не за нами, а мы за каким-нибудь себе на уме уродом, пойдём как миленькие, и других за собой потащим. Пошли за водкой, тоже мне, Сеня Воробьянинов, предводитель каманчей.

6

Времени было около полудня, и удивительно, что клуб был пуст. Ни директора, ни Иваныча, моделиста, пока не было, и этот факт казался Виталию странным и в то же время радовал. Виталия все сильнее и сильнее клонило в сон. Эту ночь он не спал вовсе. От Сени он ушел в семь утра, когда Сеня лег спать. Самое лучшее сейчас было поспать или просто покемарить, сидя за столом — что Виталию было не в новинку, но, как ни странно, сейчас он бо-

ролся со своей сонливостью: несколько раз он ходил в туалет, засовывал голову под струю холодной воды и, доведя себя до ледяного жжения, до боли в висках, вырывал голову из-под струи, выжимал волосы и возвращался в мастерскую — это помогало, но совсем на чуть-чуть.

У стены стоял, метр на полтора, давно проклеенный лист орголита. Виталий уже не первый день собирался распилить его на более маленькие форматы, но то времени не было, то забывал он про него, и вот сейчас, стоя посреди мастерской, внимательно вглядывался в этот лист. Размер был совсем не его, редко он брался за такой по размеру лист, но сейчас, стоя посреди мастерской, Виталий неотрывно смотрел на него... Уверенно подойдя, он взял лист и вставил в мольберт. Что он собирался делать, точно он не знал, но сонливость его при виде этого листа сразу же исчезла. Быстро переодевшись, Виталий положил на стул палитру, и все цвета, которые у него были, здоровенными лепешками (Виталий не скупился на краску, выдавливал целыми тубиками) легли по всему периметру палитры. Убрав в хвост волосы, взяв в руки кисть и тряпку, он вдруг, не раздумывая, зачерпнул кистью шматок самой ядовитой голубой ФЦ и мазнул его на лист. Прочертя небольшую линию, кисть увязла в густой, уже старой краске.

— Счас мы тебя разбавим... — сквозь зубы процедил Виталий и, набрав кистью разбавителя, с силой стал размазывать краску по всей поверхности; сколько продолжалась эта истерика, Виталий не помнил, очнулся он от боли в руке (слишком напряженно и крепко она сжимала кисть). Привычно вытерев кисть, он отошел как можно дальше от листа. Резкие, рваные линии, врезающиеся в пятна, ничего конкретного. Виталий попытался как-то это оживить, преобразить... ничего не вышло: лишь еще больше хаоса и бессмыслицы — больная, похмельная желто-синяя мазня. С отвращением смотрел он на свое творение. Собрался уже засунуть его с глаз долой, но помешали.

— Виталий Андреевич, здравствуйте, — широко улыбаясь, в класс вошел Саша Черкасов. Виталий не успел еще ответить, а тот уже, повесив на крючок свою кожаную куртку с косым воротом, стоял у Виталия за спиной и с ходу, только взглянув на картину, как-то уж слишком восхитился и влет дал ей название:

— «Татуированные макароны».

— В смысле? — не понимаяще обернулся к нему Виталий.

— Классная картина, мне нравится. А это — название для нее: «Татуированные макароны», дарю, — совсем развязано ответил Черкасов.

— Почему татуированные? — озадаченно усмехнулся Виталий. Услышав лестное слово из уст своего ученика, Виталий даже по-другому посмотрел на то, что еще недавно хотел засунуть за шкаф. И линии казались ему не такими уже рваными и чем-то действительно напоминающие макароны, он уже прикидывал, как придать им более или менее похожий вид. — Да, Черкасов, — усмешка растянулась в благосклонную улыбку, если ты придумаешь, так придумаешь.

— Виталий Андреевич, все оправдано! — продолжал Черкасов, при этом голос его звучал совсем уж подобострастно, и даже услужливо. — Картина у вас вышла бессмысленная? Бессмысленная! Ни черта непонятная. И название соответствующее — бессмысленное и непонятное. Но это и главное! Ведь в наше время чем непонятнее и бессмысленнее, тем актуальнее и продажнее. — Благосклонная улыбка исчезла с лица Виталия, он пристально посмотрел на Черкасова, Черкасов продолжал с еще большим вдохновением: — Ведь если ничего нет, должно быть хотя бы название, вслушайтесь: «Заводной апельсин», «Голубое сало», «Татуированные макароны» — ведь звучит! Если вещь выходит бездарная, ее необходимо спасать — ей нужно дать оригинальное, сбивающее с толку своим

бессмыслием название — и все! — полный Мумий Тролль! Точно ртуть алоэ!

Черкасов, придав своему лицу до приторности шутовское выражение, глупо уставившись, смотрел на своего учителя. Теперь не было и сомнения, что этот подросток просто издевается. Виталий смутился, достал картину из мольберта и суетливо засунул ее, как и намеревался, за шкаф, в мыслях кляня себя за доверчивость. Не смотря на Черкасова, стараясь скрыть нахлынувшее и отчетливо читавшееся в его лице смущение, он официальным, учительским тоном произнес:

— Так, Александр, готовьте свое рабочее место и приступайте к работе. Натюрморт, вот он, — и, более не медля, вышел из класса, провожаемый ехидно довольным взглядом Саши Черкасова.

В это утро Черкасов был особенно весел и приветлив. Он вышел из дома за целых тридцать минут до начала уроков, что уже было из ряда вон. Появившись в школе, он здоровался со всеми подряд, даже с охранником, которого открыто презирал, поздоровался и сказал ему не обычное «Здрасьте», а «Здравствуйте, многоуважаемый Андрей Викторович», и отвесил церемонный поклон, чем почему-то крайне разозлил охранника. Стоит заметить, что как только Андрей Викторович устроился работать в эту школу, а случилось это всего лишь в сентябре этого года, он имел неосторожность как-то гордо заявить разговарившему его Черкасову, что он ни какой-нибудь там, а подполковник в отставке, боевой офицер, воевавший в Афганистане; и действительно, при одном взгляде на этого довольно плотного, осанистого и высокого мужчину, с маленьким низким лбом и гордо оттопыренными ушами, мысли другой не

возникало, что перед вами настоящий подполковник. Учеников, особенно старшеклассников, часто злил этот принципиальный служака. Вместо того, чтобы целыми днями, как все остальные охранники, сидеть за столом, возле главного входа, и читать детективы, он слишком безупречно выполнял свою службу: на каждой перемене он заходил в мужской туалет и именно тогда, когда пацаны только закуривали, и громогласно заикаясь (он на свою беду страдал заиканием), командовал: «А ну в-вон, из общественной уборной. К-курить запрещается!» В досаде, бычкую только что прикуренные сигареты, пацаны выходили из уборной. В одно из таких его появлений Черкасов демонстративно бросил сигарету в унитаз и, вкрадчиво смотря прямо Андрею Викторовичу в глаза, произнес:

— Наши пацаны там, в Чечне гибнут, а ты, тыловая крыса, здесь облюбовал себе тепленькое местечко.

— Д-д-да я! — опомнившись, взревел Андрей Викторович.

— Чт-т-то т-т-ты, — так же заикаясь, парировал Черкасов, когда взбешенный бывший боевой офицер, в порыве, схватил его за рукав свитера, намереваясь выкинуть этого... из уборной, а может и даже...

— Работу хочешь потерять? А то будут тебе вместо Афгана н-н-нары, — засунув руки в карманы брюк, быком уперся Черкасов, смотря прямо в глаза побагровевшему, но крайне растерявшемуся охраннику: вокруг стояло с десятков подростков, и не просто подростков, а свидетелей...

Убрав руку:

— Т-ты у меня ещ-ще... — не договорив, он с достоинством оправил свою форму и под общее хихиканье вышел из уборной. Спустя четверть часа Черкасов объяснялся в кабинете у директора. Понуру, опустив взгляд, выслушивал он громы и молнии Виктории Борисовны, директора школы. Выслушав и что-то промямлив в свое оправдание, он, тихо извинившись перед стоящим здесь же подполковником в отставке, сказал волшебную фразу: «Я больше так

не буду». А спустя пять минут, только они оба покинули кабинет, Черкасов странно улыбнулся и, как ни в чем не бывало, вновь бессовестно смотря охраннику в глаза, усмехнулся, заикаясь: «К-как служба б-браток?!», только по плечу не похлопал.

«П-подонок» — негромко ответил офицер и, держа осанку, зашагал на свой пост.

...Первым уроком была история. В ожидании учителя ученики столпились в коридоре; кому не хватило места на подоконнике, стояли возле окон и, разбившись на компании, трепались, от безделья коротая время.

Женя, как обычно уединившись, стоял в углу возле лестничного пролета и смотрел в окно, созерцая хмурое, готовое разразиться дождем небо. Мысли его неизменно возвращали во вчерашний вечер, как Женя ни забивал их песнями; мысли настырно заглушали мелодию, причиняя Жене немало страданий. «Это все вино, — мысленно оправдывал он самого себя, — это все вино». Причем, что более его тяготило, чем сами воспоминания, так это то, что он, к своему, как он уже понял, несчастью, по-настоящему испытывал к Саше чувства; для него все вчерашнее было не просто так. До утра пролежал он без сна в своей постели и единственное, к чему он пришел, это сразу же, только увидев Сашу в школе, объяснить с ним, что ничего не было, что все случившееся останется их тайной; они, конечно, как и прежде будут друзьями — но и только. И... не надо Жене, чтобы Саша приставал к его матери, Жене ничего не надо... даже больше, он видеть этого Черкасова не хочет... Он не хочет... чтобы им... кто-то «обладал». Это слово колом врезалось в его голову; он не хочет, как Вера Сергеевна, ему это противно, он обычный человек... Словом, Женя окончательно запутался и измучил себя всеми этими противоречиями. Все, о чем он мечтал, — остаться одному. Пусть мать творит, что ей вздумается, лишь бы Саша оставил его, Женю, в покое...

Таким и застал его вошедший в коридор Черкасов.

— Здорово, Женек! — прогремел он на весь коридор.

Женя не знал, куда ему деться. И так маленький, он, казалось, стал еще меньше ростом. Он постарался улыбнуться, вышло не очень — криво и болезненно. Подойдя, Черкасов, даже интимно, поинтересовался:

— Ну, что сегодня вечером делать будем?

Женины лоб, скулы и щеки враз покрылись розовыми пятнами стыда; кривя рот в застывшей улыбке, он будто онемел.

— Все будет о'кей, Женек, — интимно продолжал Черкасов. — Я свое обещание выполняю, я уже все придумал, мамашу твою оприходую, а с тебя за это — полминьета. Хе, даже в рифму, — довольный собой хмыкнул Черкасов и тут же отошел к позвавшему его Юре Моисееву.

В ужасе, уже не побледнев, а помертвев, проводил Женя вальяжно удаляющегося Черкасова и бессмысленно смотрел, как тот, подойдя к компании пацанов, во главе с Юрой Моисеевым, о чем-то весело заговорил с ними.

«А вдруг... обо мне», — ударила внезапная мысль, и Жене показалось, что Черкасов в разговоре несколько раз кивнул в его, Женину, сторону. — Ему же ничего не стоит, у него же нет ничего святого... «Единственный мой принцип — это отсутствие всех принципов», — вспомнил он любимую Черкасовскую фразу, — я ему этого не прошу — шептал он одними губами, не в силах удержать мысли в голове, — не прошу я ему этого...

— Здравствуйте, — громогласно прозвучало, покрывая стоящий в коридоре гул. Ученики, как один, обратили свои лица к двери кабинета истории. Женщина с суровым лицом, в сером брючном костюме, низкорослая и с зычным, выработанным за тридцать лет работы в школе, голосом, никак не вяжущимся с ее ростом, стояла с классным журналом 10 «А» под мышкой возле двери кабинета истории. — Заходите, — открыв двери, она

первая ступила в кабинет. Как раз прозвенел звонок к уроку.

Соблюдая все приличествующие тому формальности, учитель пригласила класс садиться.

— Ну, что ж, — провозгласила она с неизменной своей суровостью, — зачнем, — это, пожалуй, была ее единственная шутка, которую она неизменно произносила в начале любого урока, вот уже лет двадцать пять. Звали учителя Раиса Максимовна. Уроки свои Раиса Максимовна вела так: после слова «зачнем» (на которое уже никто никак не реагировал) она, не открывая журнала и не отмечая отсутствующих, сразу заявляла: — История — это наука, и ее надо знать. И живем мы так безобразно лишь потому, что они, — она указывала пальцем в потолок, — эту науку не изучали. Я же хочу, чтобы вы прожили свою жизнь достойно, и потому историю вы знать обязаны, — произнеся такую речь, Раиса Максимовна «зачинала» урок.

Вела она его в такой форме: какая бы тема ни звучала, все сводилось к одному: *дерьмократы* все сволочи, и живем мы не в Древней Греции, а в Великой России, а Великая Россия есть лишь тогда, когда в ней правит полная и безграничная диктатура — и не важно: Ивана IV, Петра I, Иосифа Сталина или даже, *черт бы его побрал*, пролетариата — в противном случае, будущего у России нет. Рассказывая, она порой уходила в такие детали и подробности, что класс начинал хихикать. Ее горячей руки не избегало ничто: ни наука, ни политика, ни культура. Но начинала она всегда с глобального — что расцвет культуры и науки достигал своего верха лишь тогда, когда эту науку и культуру держали в жестком кулаке, особенно культуру, душа ее диктатурой и соответственно подчиняя себе все слабое и бездарное, заставляя выживать лишь гениальному и великому, так как творческого человека надо неизбежно *морить*, заставляя его бороться и противостоять диктатуре, ибо лишь в борьбе, в противостоянии этой диктатуре, со-

дается поистине гениальное. Творцу необходима Идея, — любила она повторять, — без идеи он не творец, а всего лишь человечиска, червь, мешанин. Творец открывается в борьбе. Отняли у народа Бога, подсунили ему коммунизм, столкнули лоб в лоб две идеи — и хорошо, вся шелуха в стороны — и, пожалуйста, — подъем и в культуре, и соответственно в науке. Семьдесят лет морили народ коммунизмом, и было поэтам, с чем бороться; поэты вдохновляли интеллигенцию и ученых, и шел прогресс. А сейчас — коммунистические идеи низвергли. Бога обратно подсовывают, а известно — в одну воду дважды не войдешь; и живете вы в самое страшное время — время без идеи, а это есть пир во время чумы. У вас даже вдохновителей нет. О чем поют сегодняшние ваши *поэты*? Сплошное поголовное *рамамбахарамбарум*, и посмотрите на них, не люди, а какие-то татуированные макароны; все бессмысленно и от того бездарно.

Иногда она вовсе переходила на личности. Какие идейные, гениальные в своей доходчивости и простоте фильмы снимали в свое время и Данелия, и Рязанов, и Михалков, а что теперь? Отняли у них возможность бороться, и все фильмы их стали идейно-мундирными, как соцреалистические плакаты, потому что голая плакатная идея — есть та самая шелуха. Бороться не с чем, а без борьбы творец мертв, вот они и ссучились, все от тоски, как голубые эмигранты, и тоскуют *о березках*, забыв, что живут в России, цирюльники лубочные. Срам! Михалков называет *президента* (!) ваше превосходительство — а это уже похлеще голубой эмиграции и березок! А когда этого богоносца мальчишки лимоновцы яйцами закидали, он же бросился их ногами топтать. А вас же, мальчишек, вас же не обманешь, вас прокисшими идеями не купишь, вам, что богоносцы со своими дохлыми березками, что ГТО — вас этим не проймешь. А вам, как вонючий рыбий жир, суют этот нарочитый двуглавый патриотизм. Вот и ищите новую

идею, ищите, не вечно же вы будете жить в этой бессмысленной эпохе татуированных макарон и заводных апельсинов.

Все эти подробности и декламации порой до колик веселили класс. Пропускать урок истории считалось глупостью, на него шли, как на шоу. Тем более, что Раиса Максимовна, делая скидку, что живет это молодое поколение в безобразное время, двоек не ставила, а большего ученикам и не надо было.

Хотя некоторым, а Черкасову особенно, такие призывы Раисы Максимовны к поиску новой идеи очень даже нравились.

— А ведь правда, — как-то признался Черкасов, когда компания пацанов курила в мужском туалете, — Раиса права: нужна идея.

— Че ты гонишь, Санек, какая еще идея, — лениво произнес один из пацанов.

— Новая, — задумчиво ответил Черкасов.

— Возьми топор, заруби старуху и успокойся, — лениво продолжал тот же пацан, — вот и будет тебе новая — хорошо забытая старая — идея; и не парься. Какая там еще *идея*? — он усмехнулся. — У Раисы с головой проблемы и климакс, вот она и парит нас.

Но Черкасова мысли об *идее* не оставляли. Эти мысли ему льстили: «создать идею!» — это тебе не шуточки. Но вся загвоздка заключалась в том, что *придумать* эту идею у него никак не получалось, а вступать в какую-либо партию — это его не прельщало. Ему хотелось своего — свою собственную идею. Свою партию. Но опять же, партию чего? Подобные честолюбивые метания давно, сколько Саша себя помнил, еще совсем ребенком беспокоили его.

Маленький Саша легко увлекал сверстников своей сообразительностью и дерзостью, но, обладая талантом организатора, Черкасов полностью был лишен таланта руко-

водить — став лидером, дальше он совершенно не знал, что ему делать с этим лидерством. Единственное, он напоминал всем и всегда, что он лидер. Собрав возле себя компанию, он никуда никого не вел, ему, казалось, было достаточно, что он *возглавил*, стал над всеми, утвердил свое я, и теперь, что называется, мог спокойно почить на лаврах. Детям это быстро надоедало, и от него быстро все отворачивались. Для Саши это всегда было страшным испытанием; он не мог понять — почему? Он пытался вернуть свое лидерство, но над ним уже только смеялись и гнали от себя. И тогда он становился способным на любые, самые бездумные поступки. Он *должен* был вновь обратить на себя внимание, любой ценой; цена эта была всегда одна — скандал. Раз хорошего и умного его не любили, он становился плохим и дурным: если во время своего «лидерства» он в порыве великодушия отдавал все, что у него было — вплоть до последней любимой игрушки, то теперь он все это забирал назад — и не от того, что эта игрушка была ему нужна, а только бы на него вновь обратили внимание. Единственное, что было нужно Саше Черкасову в этой жизни — быть в центре внимания, в очередной раз утвердиться: он — Александр Черкасов. Замечательно было то, что и в хорошем и плохом поступке он никогда не скрывал своей причастности к своему поступку. Когда его хвалили, он, пятилетний мальчик, гордо заявлял: «Да я же Александр Черкасов»; и когда его ругали, он так же гордо, но уже с долей непонимания заявлял: «Да, но я же Александр Черкасов». Детей это раздражало, взрослых веселило, а всех вместе (и детей, и взрослых) повергало в полное непонимание: как так — как такой хороший, умный мальчик, знающий много стихов, любящий рисовать цветы и животных, мог в порыве обиды подло, исподтишка ударить, оскорбить, унижить. И здесь в высшей степени недоумевали, как ребенок, который избил девочку, который самыми бранными словами обругал взрослого человека за то, что тот сделал ему

справедливое замечание, который матерными словами исписал стены подъезда и который был способен еще и не на такие ужасы; как такой мальчик может любить поэзию, природу, живопись и, вообще, по своему развитию на несколько лет опережать своих сверстников. С возрастом это свойство всегда и везде показывать свое я лишь обострилось.

«Нужна идея, нужно показать всем — Я, Александр Черкасов», — эта мысль доводила его, порой, до крайнего раздражения. «Может, правда кого-нибудь зарубить *за идею!*» — часто зло, в мыслях, восклицал он, проснувшись среди ночи, и первая мысль сразу возникала у него об отчине. «Нет — бытовуха», — осаждал он сам себя и, зарывшись в подушки, старался заснуть. И все, о чем бы он ни думал, все оказывалось или обычной уголовщиной с националистическим уклоном в духе скинхедов, или же... не исламский же он террорист, в конце концов!... *Но что-то надо было придумать!!!*

После урока истории, вновь загоревшись мыслью об идее, Черкасов, забывший о Жене, забывший обо всем на свете, вышел из школы, решив, что на сегодня уроков достаточно (так, впрочем, случалось почти после каждого урока истории), и, глядя себе под ноги, крепко засунув руки в карманы, неторопливо вышел на Шмитовский проезд к трамвайной остановке. Постояв некоторое время и видя, что с такими автомобильными пробками он и к вечеру в клуб не доберется, Черкасов, перейдя дорогу, вернулся во дворы, решив дойти пешком до Ваганьковского, а там уже можно и на трамвае.

Шагая по неширокой улочке, Черкасов остановился возле длинного шестиэтажного дома. Дом тянулся шагов

на двести, обходить его Черкасов поленился и решил срезать через двор.

На детской площадке, в песочнице, играли две маленькие девочки и мальчик, лет четырех. Три бабушки сидели рядышком на лавочке и с умилением поглядывали на детишек. Мальчик в наглую занял лучшее место в песочнице, где песок был почище и не так загажен кошками, и, ковыряя песок кидался им, стараясь угодить им в девчонку, в лицо, но чтобы бабушка не заметила. Он метался с ведерком и лопаткой по песочнице, пресекая любые попытки девочек занять удобное для игры место.

— Вадик, ну не будь ты таким единоличником, — с умилением глядя на его шалости, окликала его бабушка, — дай и девочкам поиграть.

Две другие бабушки, к интересу Черкасова, почему-то не возмущались, не ругались, будто это и не их внушек притесняли, а чьих-то других; а сами девочки, что Черкасова совсем удивило (с любопытством стоял он шагах в пяти от песочницы и наблюдал за таким откровенным и безнаказанным Вадиковым свинством), спокойно, не хныча, не жалуясь, наконец, собрали свои формочки и ведерочки, выбрались из песочницы и, уже за ее пределами, повернувшись к Вадиду спиной, сели на корточки и, довольствуясь старым грязным песком, продолжили свою игру.

— Ну что же ты, Вадик, — оглянувшись на соседок, внушительно произнесла бабушка, — Кристиночка и Алиночка в гости к тебе приехали, а ты так себя ведешь, нельзя так, они все-таки твои сестренки двоюродные, ты с ними дружить должен.

Вадик, выбравшись из песочницы, подошел к сестренкам и, уже не раздумывая и не стесняясь, лупанул обеих лопаткой по затылкам. Девочки закричали. Вадик, довольный, стоял рядом и не мигая, смотрел на перепуганную свою бабушку, спешащую на помощь Кристиночке и Алиночке. Две другие старушки оживленно зашушукались.

Черкасов двинулся дальше. Раза два он оглянулся: Вадик все так же стоял и, с довольным видом слушал свою бабушку. Обернувшись еще раз, Черкасов увидел, что все трое вновь сидели в песочнице и играли, уже под прямым бабушкиным присмотром; бабушка даже, кряхтя, помогала девочкам накладывать песочек в формочки, краем глаза следя за Вадиком.

Пройдя двор, Черкасов обогнул дом и остановился. Дальше прохода не оказалось: сразу от стены дома тянулся железный забор шагов в пять, другим концом упиравшийся в плотный ряд гаражей; получался шагов в десять загон, где по левую руку тянулись гаражи, а по правую — дом. Ни лазейки, ничего даже напоминающего лазейку: гаражи и ровные прутья забора, за которым был детский садик, с качелями и беседкой. «А ведь был проход, — досадливо подумал Черкасов, — заварили, сволочи». Оставалось одно — идти обратно и обходить дом по улице. Решив сперва перекурить, Черкасов достал сигареты. Место было не самым приятным, оглянувшись, он брезгливо отвел взгляд к небу, щебень возле гаражей был загажен так, словно цель заходивших сюда была одна — засрать все до предела. «Все — еще затяжка и иду обратно», — он затянулся, выпустил дым и, уже бросая сигарету, услышал:

— Извините, что беспокою вас.

Черкасов обернулся. Женщина, лет сорока, маленькая, запуганная, в старомодной фетровой шляпке, смотрела заискивающе на Черкасова.

— Здесь есть, где пройти? — спросила она улыбаясь.

— Нет, — улыбнулся и Черкасов, — видите — забор.

Женщина внимательно посмотрела на забор и, совсем заискивающе улыбнувшись, попросила:

— Вы не могли бы меня отсюда вывести. Понимаете, там моя дочь, — женщина указала в сторону двора, я не хочу, чтобы она меня видела. Вы понимаете?

Не зная, что ответить, Черкасов лишь пожал плечами в знак полного непонимания.

— Помогите мне. Вам это будет не трудно. Вы ведь на машине. Просто вывезите меня со двора, а там, на улице, я уже сама.

Черкасов, наконец, понял, чего хотела от него женщина, ему даже польстило, что та решила, что у него есть автомобиль. Он развел руками и произнес сожалеюще:

— У меня нет машины. Я здесь просто гулял.

— Что же мне делать, — женщина закусил губу.

— А случилось то что? — участливо спросил Черкасов.

— Дочь моя живет здесь со своим мужем. Она считает, что я за ней слежу. Но я ведь мать...

— Вы следите за своей дочерью?

— Я не знаю, — женщина растеряно повела плечами и поправила шляпку, — у нее просто такой ужасный муж, я так за нее боюсь. А она на меня за это ругается... Как же мне отсюда выйти?..

— Через двор.

— Через двор... Она стоит там. Она увидит меня и решит, что я опять за ней слежу, — женщина в отчаянии скривила лицо, — ругаться будет... — и, словно найдя выход, она возбужденно выдохнула: — Молодой человек, посадите меня, я через забор перелезу, а там уже сама, там я уже сама выберусь, — она подошла к забору и стала примерять, где ей удобнее поставить ногу. Она была невысокого роста, в строгом сером пальто. Приноравливая куда бы поставить ногу, она топталась возле забора, хваталась за него руками, пытаясь зацепить ногу то за стену гаража, то за забор. — Помогите же мне, — просила женщина, не глядя на Черкасова.

Черкасов только представил, как он посадит ее, та испачкает ему куртку и джинсы (суется, женщина порядочно вытопталась в дерьме), затем, она перекинет ногу через забор и обязательно ударит Черкасова по голове и застря-

нет на заборе, и наверняка поранится об острые пики, венчавшие прутья забора; и даже если и перелезет, то, прыгнув, непременно или ногу вывихнет, или... еще чего похуже — Черкасов только представил это, и его невольно передернуло.

— Я не могу вам помочь. Извините, — повернувшись, он, не медля более, вышел во двор. Возле первого к гаражам подъезда курила стройная девушка, с очень красивыми, до плеч, каштановыми волосами. Черкасов прошел было мимо, но вдруг вернулся к девушке и тихо произнес:

— Зря вы так с мамой, — озадачив девушку, он сразу же направился к выходу из злополучного двора.

— Чего ему надо было, — спросил у девушки вышедший из подъезда сурового вида мужчина, кивнув вслед уходящему подростку.

— Дурак какой-то, про мать мою что-то сказал, — пожала плечами девушка.

— Слышь, ты, стоять!

Услышав это, Черкасов, не оборачиваясь, побежал, лишь краем глаза заметив, как молодая мама тащила домой упирающегося и лупившего ее с остервенением лопаткой по руке маленького Вадика.

Обежав дом и нырнув в соседний двор, Черкасов сбавил темп; тяжело дыша, изредка оглядываясь, он вышел на соседнюю улицу и скоро зашагал к трамвайной линии.

— И никакой идеи, — весело бормотал он, — следит и все, хе-хе, а этот детина, хе-хе. Ну, ничего, я вам еще всем покажу, я разорву ваш сумасшедший, бессмысленный мир. А этот, — он вспомнил маленького Вадика, — вот он будущий отец семейства, ну ничего, — бормотал он в неожиданно нахлынувшем радостном возбуждении, — все к этому и идет, пора все менять. Все эти... скинхеды, все это цветочки, с этого все только начинается... — Будет идея, обязательно будет!

Весь урок истории Женя видел перед собой только черный, коротко стриженный затылок Саши Черкасова, хотя Женя сидел за последней партой, а Черкасов, по своему обыкновению, на первой — на уроке истории он садился всегда за первый стол, прямо напротив стола Раисы Максимовны, внимательно и порой с восхищением внимая каждому слову. Когда прозвенел звонок, Женя тревожно ждал, что Саша поднимется из-за стола, подойдет к нему со своей ухмылочкой и... Женя сразу и не поверил. Да, Саша поднялся из-за стола, но даже не взглянул в Женину сторону, а сразу напрямиком направился к выходу. Ни на перемене, ни, что удивительно, на следующем уроке Женя не видел его. Женя не знал, что и думать. Вдруг его осенило: «Он же пошел ко мне домой! Он же сказал мне, что он *придумал*. Он же...» Женя ясно представил себе Сашу... с Леной в постели; Сашу Черкасова в постели, с его, Жениной, матерью. Эта картина вогнала Женю в жуткое состояние раскаяния и даже ненависти — к самому себе: как он мог! как он посмел!! как у него вообще язык повернулся!!! — попросить о *таком*. После второго урока Женя выскочил из школы и бегом устремился к себе домой. Подгоняемый растущим, все наполняющимся деталями, образом — пожалуй, в эти минуты силой своего воображения, он видел все яснее, чем если бы увидел все это воочию. То ли от напряженного бега, то ли от нахлынувшего раскаяния слезы выступили у него на глазах.

Так не должно быть, это мерзко. Он торопился, нужно помешать им. Зачем? Он не знал, он чувствовал, что так нельзя, Саше необходимо помешать, нельзя, что бы этот человек касался его, Жениной, матери. Пусть, пусть какой-нибудь Виталий, пусть хоть сотня Виталиев. Но только не Саша.

С этими мыслями он ворвался в свою квартиру; спотыкаясь, обессилев от бега, он проскочил в спальню мате-

ри... сразу же в свою комнату.. на кухню. Даже в ванную заглянул. Но, к своему удивлению (даже разочарованию), не нашел там Саши, да и матери дома не оказалось. И здесь Женя окончательно растерялся; что-то беззвучно бормоча, добрал до своего дивана, рухнул на него, не в силах даже стоять, и от бессилия что-то понимать, заплакал тихо и занудно.

В это утро Лена проснулась в наизамечательнейшем настроении. Мало того, что она побывала в Клубе, встрети-лась там со своими старыми знакомыми, так еще хозяйка Клуба, ее давняя и добрая подруга, сама предложила Лене денег (как Лена ни отказывалась, ни отпиралась) и довезла ее на своей машине до самого подъезда, где жила Лена. Ко всему прочему, Лена увидела картины какого-то художника, который так интересно рассказывал о своей живописи и о живописи вообще, что Лене захотелось непременно увидеть Виталия. Тем более Виталий сказал, где работает.

Жени уже не было дома. И спустя два часа, свежая и счастливая, она покинула квартиру. Настроение все же подпортило больное колено, давшее о себе знать при выходе из подъезда (забывшись, Лена слишком резво позволила себе спускаться по лестнице), но, решив не обращать внимание на такие мелочи, чуть припадая на ногу, она, стараясь держать осанку, неторопливо направилась к троллейбусной остановке. О, эта троллейбусная остановка! Вновь ощутив свежесть, нахлынувшую при воспоминании о той, первой встрече, взбиралась она на подножку подошедшего троллейбуса, мечтая увидеть *Виталия*... С этим светлым чувством она и появилась в дверях Клуба юных техников.

Спросив у какой-то девочки, задумчиво жующей у открытых дверей клуба, где находится кружок рисования, и

получив в ответ не менее задумчивое: «Там», и кивок, указывающий в глубину коридора, Лена ступила в коридор. Из-за угла, громко гогоча, выскочило двое мальчишек.

— Извините, — буркнул один из них, чуть не сбивший Лену с ног.

— А где я могу увидеть, — она уже хотела сказать: «Виталия», но вспомнила, что отчества она не знает, и потому ограничилась нейтральным, — ... учителя рисования.

— А, первая дверь направо, — махнул рукой мальчишка и, обойдя Лену, выскочил на улицу, второй тут же следом.

Войдя в указанную дверь, Лена вежливо спросила у какого-то молодого человека, сидевшего за планшетом спиной к двери и что-то рисовавшего:

— Извините, а Виталия я могу увидеть?

— Андреевича, что ли?!

— Саша? — краска смущения выступила сквозь пудру, когда молодой человек обернулся и она увидела, что за планшетом сидел Саша Черкасов.

В сущности, ничего сверхъестественного не было, что одноклассник ее сына сидел за мольбертом и рисовал... но... но Лена все равно смутилась. Неожиданно как-то... Да в придачу и взгляд у этого Саши был такой, задиристо-нахальный...

— Да, вы проходите, он здесь, я сейчас его позову, — с какой-то, как показалось Лене, чрезмерной для такого обычного случая услужливостью воскликнул этот Саша и, бросив на Лену (вновь смутивший ее и вновь вогнавший в краску) странный и многозначительный взгляд, вышел из класса с неприятно режущим слух, каким-то шутовским криком:

— Виталий Андреевич! К вам пришли.

Лене очень не понравился этот громкий шутовской выкрик, и сразу она почувствовала себя неловко и даже подумала, что может и зря сюда вообще пришла. Настрое-

ние ее испортилось. Желания говорить с Виталием как не бывало. Чтобы отвлечься, она окинула взглядом висевшие на стенах класса картины и вдруг решила, что разговор начнет непременно с того, что пришла она сюда лишь за тем, чтобы записать в кружок рисования своего сына. «И надо же, какой-то мальчишка может испортить настроение», — раздраженно подумала она и вновь, чтобы отвлечься, переключилась на висевшие картины.

Виталий сидел в кабинете авиамоделизма и молча, тяготимый похмельем, курил, изредка перекидываясь общими фразами с Игорем Ивановичем, руководителем авиамодельного кружка, когда в коридоре прогремело козлиное: «Виталий Андреевич...» Что-то издевательски насмешливое почувствовал Виталий в этом протяжном крике, и, следуя известному чувству, он сразу же и довольно суетливо (на что Игорь Иванович усмехнулся и заметил: «О, как ты, зазноба твоя пришла?») вышел навстречу Черкасову.

— Виталий Андреевич, — крайне интимно, с невероятно загадочным выражением в лице, Черкасов, как тайный агент тайному агенту, конфиденциально доложил: — Виталий Андреевич, у вас в кабинете сидит Лена, *та самая* — «та самая» он произнес с тем же откровенным шутовством, видно было, каких усилий стоило этому мальчишке не рассмеяться; красный от натуги, плотно сжав губы, стоял он, уже не в силах прикидываться серьезным.

Виталия это известие вовсе не веселило. Стараясь выглядеть представительным, он вошел в свой класс, и вот здесь Черкасова прорвало, Виталий аж вздрогнул, до того внезапным и мощным было это гоготанье, как эхом пробежавшее по Виталиевой спине неприятными мурашка-

ми; машинально поведя плечами, Виталий сразу же закрыл за собой дверь.

Хотя он уже прекрасно понимал, кто ждет его в классе, все равно, увидя Лену, он невольно покраснел. — Здравствуйте, — и голос, как Виталий ни крепился, дрогнул.

Лена попыталась улыбнуться, что, впрочем, у нее вышло некрасиво, она сама это почувствовала и тут же, с видимой досадой, вернула своему лицу прежнее недовольное выражение. Видно было, что эта встреча им обоим крайне неприятна, и оба, не зная, что говорить дальше, как по команде, отвели взгляды на висевшие картины. Сколько бы продлилось это бессмысленное созерцание неизвестно, но в дверь, предварительно постучав, вошел Саша Черкасов; входя, он выпустил последний успокаивающийся выдох и вошел в класс с невыносимо покорным в своем выражении лицом, что выглядело в сотни раз более издевательски, если бы он ворвался с прежним гоготаньем. Этим напускная и, что несомненно, шутовская покорность и вывела Виталия из себя.

— Черкасов, выйди вон, — неожиданно резко произнес он.

Крайнее удивление отразилось на лице Саши Черкасова, весь вид его словно говорил: «За что? Что я такого сделал, что вы позволяете себе такой тон?» Виталий и сам понял свою оплошность, смутился еще сильнее и промямлил:

— Саша, извини, выйди пожалуйста, ко мне пришли...

— Да что уж там, — неожиданно развязано перебил его Черкасов, — не стесняйтесь, здесь все свои.

Виталий и Лена оторопели.

— Все и так знают, — не давая им опомниться, продолжал он в том же духе. Ну, и что здесь такого, наоборот — совет да любовь, хотя нехорошо, конечно — на глазах у сына, у только формирующейся личности, конечно, это вы зря; такие ошибки не позволительны, к тому же Виталий Андреевич учит...

— Ты... Да ка...!!! — Черкасов даже на мгновение испугался, до того страшным было в эту минуту лицо Виталия, глаза его налились, и волна злобы выхлестнулась из них, пробрав Черкасова до самой глубины, ему даже почудилось, что Виталий Андреевич бросится на него (непроизвольно руки Виталия чуть дрогнули, будто готовые придушить этого... мальчишку). Отшатнувшись, и Черкасов сделал движение руками, готовый защищаться.

— Пошел вон, — отдышавшись, проскрежетал Виталий Андреевич.

— Я-то пойду, — с отголоском страха и оттого угрожающе, негромко и, торопясь в словах отвечал Саша, — но что будет потом, — трусливая, подлая нотка звучала в каждом произносимом им слове, и чем дальше он говорил, тем плотнее и увереннее становился его голос, а лицо Виталия Андреевича бледнее и беспомощнее, — я то пойду, а вот что будет с вами. Я уже не говорю о теперешнем вашем состоянии: от вас же разит за километр, а вы как-никак на уроке; думаю директору клуба этот факт не понравится, а наоборот... А если он узнает, что вы и ночуете в клубе, — теперь, на лице Виталия отразился страх, — да-да, а он узнает, можете не сомневаться, многоуважаемый Виталий Андреевич. Интересно, завтра тогда кто будет вести уроки? А где будете ночевать вы? Вы же не москвич, а так, залетный. А если еще и в милиции появится заявление, что вы пытались применить физическую расправу в отношении несовершеннолетнего — как, а?! А вы, — Черкасов в азарте набросился на Лену, — вы, как вы себя поведете, если в школе завтра все узнают о том, что Женина мама, оказывается, приводит в дом всяких подозрительных личностей и при сыне вступает с ними в порочную связь, а? Или вы до того уже обессовестились, что вам будет наплевать на то, что на вашего Женю все будут коситься и указывать пальцем, дескать, мать-то у него...

Лена поднялась, и хлесткая пощечина влетела в левую Сашину щеку.

— А вот теперь точно... точно всем вам достанется, — развернувшись, Черкасов схватился за ручку двери.

— Саша, стой, — Виталий перехватил его руку. — Саша, подожди, — взгляд Виталия выражал полную самоуничижающую истерику, — давай поговорим.

— Подонок, — с достоинством произнесла Лена.

— Ну, зачем тебе это, — продолжал Виталий, крепко удерживая Сашину руку, — зачем, тебе же от этого ничего нет, ты же хороший ученик, ты же знаешь, мы же с тобой всегда были друзьями...

— Да отпусти ты этого подонка, — уже неприязненно сказала Лена.

— Подождите, — раздраженно осек ее Виталий, — зачем, какая цель, я не могу понять, — бормотал он в самое лицо Черкасова.

— Ф-фу, — вырвав руку, сморщив в отвращении лицо, Черкасов безбоязненно отошел вглубь класса. И вдруг что-то случилось с ним: он побледнел, только щеки залились розовым колючем румянцем, и глаза замерли. — Зачем?! — неожиданно живо воскликнул он. — Какая цель? Да никакой! Все мои поступки и слова бессмысленны, как и это бессмысленное время! Идея! Вот она! — восхищенно воскликнул он. — Вот она идея! **Б Е С С М Ы С Л Е Н Н О С Т Ь** во всем! Я дитя своего времени. Идея *бессмысленности*. Я вас всех уничтожу, — в порыве он потряс кулаками, — во имя идеи, — сказав это, он выскочил из класса, рукой сорвав с крючка свою куртку и на ходу надевая ее. Он уже бежал по улице, возбужденно шепча: — Вот она, вот она идея — бессмысленность во всем. Партия «Татуированных макарон». Бессмысленными поступками раздавить бессмысленный мир... — дикой радостью внезапного открытия светилось его лицо, и сотни маленьких бесенят радостно отражались в блестящих, очумевших от счастья глазах.

— Саша! Подожди, — не соображая, Виталий выскочил следом.

— Провинциал, — негромко, в спину ему сказала Лена и, заключив высокомерно: — нет, он не художник, — вышла в коридор.

А в коридоре, собранный шумом, казалось, толпился весь клуб. Дети с любопытством и в тоже время с опаской заглядывали в полуоткрытую дверь класса рисования, когда Виталий с надрывом и довольно громко говорил: «Тебе-то зачем это...». Потом неразборчиво; дети напрягали слух, но заглянуть в класс не решались; и возглас: «Идея!» Переглядываясь, дети многозначительно кивали на дверь. Из своего кабинета вышел Игорь Иванович; увидев толпу, с наигранной строгостью произнес:

— Что это у вас здесь за собрание?

— Во имя идеи!.. — дверь класса рисования распахнулась, и какой-то высокий мальчишка, натягивая на ходу кожаную куртку, вырвался в коридор.

— Саша! Подожди.

— Виталий Андреевич, — удивленный окрик Игоря Ивановича.

Чуть не сбив какого-то мальчишку, буркнув «извини», Виталий, выскочив в коридор, круто завернул за угол и врезался в невысокого бородатого мужчину в сером классическом костюме. Не заметив его, Виталий плечом врезался ему в грудь.

— Ты че-во, — ошарашено выдохнул мужчина, от удара отпрянув к стене.

— Борис... Борисович? — в удивлении Виталий замер, увидев перед собой директора клуба. (Черкасов как раз, громко хлопнув дверью, вырвался на улицу).

— Счас я... — что-то еще бормоча, Виталий стал, неизвестно зачем, поправлять сбившийся на бок костюм Бориса Борисовича.

— Да ты что, пьян? — ощутив противнейший запах перегара, в растерянном возмущении, чуть слышно, воскликнул директор.

— Я? Нет, вы что, — отшатнувшись от директора, всплеснул руками Виталий. Было это ни столько комично, сколько нелепо, хотя детей эта сцена развеселила, и несколько «хи-хи» выскочило из столпившейся в коридоре компании. Оправившись, Борис Борисович, взяв себя в руки, произнес в сторону толпившихся в тесном коридоре учеников:

— А вы что, разве у вас нет занятий? Игорь Иванович, — позвал он, — займите детей.

— Так, пацаны, — в мгновенном оживлении скомандовал Игорь Иванович, — все в сад, в смысле, в класс. А вы, барышни, — говорил он девочкам, — прошу в кабинет, я что, зря вам открыл класс мягкой игрушки? Быстренько, быстренько, — подгонял он с неохотой расходившихся учеников.

— Виталий, я тебя предупреждал, что у нас детский клуб, а не кабак?..

Заметив, что в коридоре находится еще и посторонняя женщина и внимательно наблюдает за происходящим, Борис Борисович вторично оправил костюм и, изобразив на своем лице улыбку в адрес женщины, крайне вежливо сказал Виталию:

— Сейчас мне ключи от клуба, а завтра...

Прервала его трель телефонного аппарата из открытого директорского кабинета. Недоговорив, зайдя в кабинет, Борис Борисович снял трубку.

— Да... кого? Виталия? — кивнув Виталию, он сунул ему трубку и в случившуюся паузу подошел к стоявшей все это время в коридоре женщине.

— Вы, извините, по какому вопросу? — учтиво обратился он к ней.

— Меня зовут Елена Николаевна, — с неменьшей учтивостью отвечала Лена. — Я, в сущности, зашла поинте-

ресоваться, как можно записать моего сына в кружок рисования, но, как я вижу...

— Ну, что вы, — уверил ее директор, — это всего лишь маленькое недоразумение, пройдемте... — он хотел сказать: «в мой кабинет», — но, увидев Виталия, поправился: — пойдемте в класс рисования.

Лена в ответ изобразила наиучтивейшую улыбку и даже позволила Борису Борисовичу проводить себя под руку.

Взяв трубку, Виталий услышал:

— Ну что, живой? — узнав голос Ривкина, Виталий болезненно сморщился.

— Чего там у тебя за бардак? — пьяно отозвалось из трубки.

— Сеня, тут у меня... говори, пожалуйста, покороче, что у тебя?

— Он еще спрашивает. Пьяный я, — лаконично признался Ривкин, — к тебе иду.

— Сеня, у меня и так проблемы, здесь директор, — не зная, как отвязаться, суетливо и чуть слышно говорил Виталий, то и дело оглядываясь в коридор.

— Черт с ним, тебе сам Ривкин звонит.

— Сеня, — тон Виталия сделался раздраженно плаксивым, — я сейчас не могу, у меня уроки.

— Да плевать, — погромело из трубки так, что Виталий невольно отдернул трубку и закрыл ее ладонью, сквозь ладонь глухо несло: — занимаешься какой-то, прости меня, херней. Тебе звонит величайший художник мира, а ты мне про какие-то уроки. Да и поздно, я уже в двери вхожу.

— К-как в двери?! — чуть не вскричал Виталий. Не успел он повесить трубку, в двери клуба ввалился Сеня Ривкин.

— Витальчик, — пьяный фальцет его прорезал воздух. Из-за угла тут же показался Игорь Иванович.

— Здравству-уй-те, — неожиданно икнув, Ривкин попытался изобразить на своем лице приятное выражение, вышло криво и препротивно.

— Убирай его, — в мгновение оценив ситуацию, командовал Виталию Игорь Иванович, красноречиво косясь на дверь класса рисования. Немедля схватив Ривкина за рукав, Виталий выволок его на улицу.

— Ты очумел! Меня же уволят.

— Да плевать! — возмущался Ривкин, когда Виталий вел его подальше от клуба. — Ты хоть понимаешь, с каким ты человеком рядом идешь?

— Что тебе надо? — взорвался Виталий.

— О! Чего это ты, — весело глянул Сеня на Виталия. — Ты хоть понимаешь, с каким ты человеком рядом идешь?

— Пошел ты знаешь куда! Дерьмо ты, а не человек.

— Во куда тебя понесло. Виталий, ты нездоров?

— Сам ты больной. Бездарность! — Виталий взорвался. — Говно ты, а не великий!

Сеня побледнел, кулаки его сжались, он уже собирался объясниться с Виталием от души.

— Здравствуйте, уважаемые, что шумим?

За руганью никто не заметил, как к ним подошли два сержанта милиции.

— Ваши документы, пожалуйста, — попросил один из них и добавил: — да вы, господа, пьяные. Вызывай машину, — обратился он к своему напарнику.

Ривкин тут же онемел, и добродушная улыбка появилась на его губах: мол, все нормально, все в порядке, никто не шумел и все абсолютно трезвые. Виталий, указав на Ривкина, отрекомендовал его как одного из известнейших художников России. Сеня не стал этого отрицать, он даже пригласил милиционеров к себе в мастерскую.

— Все это хорошо, — согласился один из милиционеров, — но документы ваши покажите.

— Ну, зачем мы вам нужны? — совсем обречено спросил Ривкин.

— Работа, господин художник, ничего не попишешь, — развел рукам милиционер. И вдруг крикнул: — Семен, дуй за ним. Вот сученок волосатый!

Только показался патрульный УАЗик, Виталий вдруг сорвался с места и побежал.

...Его давно уже не преследовали. Медленно шел он дворами — куда? Он и сам не знал.

«Как будто ничего и никого не было, — думал Виталий, — ничего и никого. Два дня бури и вновь затишье... словно сон», — и так ему стало тоскливо от всего этого, что, остановившись, он задрал голову и зло прошипел, сверля взглядом небо:

— Радость, где ты? Ты вообще существуешь?

И только сейчас Виталий обратил внимание, что на нем заляпанные масляной краской штаны и рубашка с коротким рукавом, и к тому же, с дырой с левой стороны, под мышкой. Заметив все это, он сразу почувствовал неловкость и... холод. Все еще оглядываясь, он заторопился к клубу.

Когда он вошел в Клуб юных техников, ни директора, ни Лены там уже не было. Провожаемый любопытными детскими взглядами, машинально тронув дверь своего класса и ничуть не удивившись, что она заперта, Виталий прошел в кабинет авиамоделизма.

— Вернулся, герой, — с сожалеющей иронией смотрел на него Игорь Иванович, и сразу протянул ключи от класса рисования.

— На, иди переоденься и занеси мне ключи. А как ты хотел? — отвечал он, смотря в растерянное лицо Виталия. — Ты знаешь, я против тебя ничего не имею, но лишние проблемы с нашим наистрожайшим Борисом Борисовичем мне, сам понимаешь. Да ты не горюй — обнадеживающе потрепал он Виталия за плечо. — Ты же его знаешь — поорет, воздух посотрясает и остынет. Завтра к

одиннадцати подходи, он сказал, что будет тебя ждать. Ты ему не противоречь, соглашайся со всем, и кайся, он это любит. Образуется, — вновь уверил он Виталия. Виталий лишь обречено отмахнулся.

Через пятнадцать минут он вернул ключи Игорю Ивановичу и вышел из клуба. Где ему сегодня ночевать, он не знал.

7

Черкасов, уже порядком успокоившись, шел к Жене. Ему не терпелось поделиться с кем-то своим открытием, и к тому же: «Мне нужны соратники», — радостно размышлял он. — «Ничего-ничего, Женек, прорвемся. У меня уже есть план; за мамашу свою можешь не беспокоиться. Главное — есть идея».

Пожалуй, если бы Жени не оказалось дома или случись еще что-нибудь, что заставило бы Сашу остыть и спокойно дожить до следующего утра... пожалуй, ничего бы большего и особенного не произошло. Саша был той внезапно и яростно увлекающейся натурой, что не сделай он сию минуту, завтра — что вернее всего — все то, о чем сегодня с такой горячностью он мечтал и считал, что ничего важнее в жизни и быть не может — стало бы для него *ничем*. Но сейчас, в пылу, одержимый своим открытием, он обязательно должен был *что-то* сделать, в подтверждение своей, родившейся в пылу идеи.

И Женя оказался дома.

Открыв дверь, Женя на секунду остолбенел. Что он только не думал, лежа в слезах на диване. И увидев Сашу, он даже обрадовался, но где-то, в глубине души — блеснувшая в его глазах радость мгновенно сменилась тревогой при виде ошалевших, затягивающих своей карей глубиной глаз.

— Что, не ждал? — с нахлынувшим с новой силой возбуждением, при виде Жени, заговорчески спросил Черкасов и, значительно подмигнув, прошел в квартиру, заставив Женю посторониться.

— Где моя мама? — в спину, тихо и, к удивлению, твердо спросил в ответ Женя.

— В клубе, с тем самым Виталием, он, оказывается, у меня рисунок преподает, но с ними мы после разберемся, — отмахнулся Черкасов. Для него, сейчас, в эти минуты, ни Лена, ни Виталий Андреевич не имели равным счетом никакого интереса; он и забыл тут же о них. — Женек! — в порыве воскликнул он, не в силах ни сидеть, ни стоять, нервно меряя комнату своими огромными сейчас шагами, — Женек! — говорил он, время от времени резко оборачивая раскрасневшееся лицо к Жене так, как оборачиваются на резкий внезапный выстрел.

— Женек! — в который раз воскликнув его имя, Черкасов заговорил: — Помнишь, нам Раиса все про идею заговорила — новая идея, новая идея. Так я нашел ее — Новую идею. Идея бессмыслия, — он сделал паузу, ожидая произведенного эффекта. Эффекта, как такового, не последовало: Женя не вскрикнул, пораженный, что-нибудь вроде: «Да ну! Да врешь!». В тихом тревожном оцепенении, стоя в дверях своей комнаты, он наблюдал за шагавшим туда-сюда Черкасовым, и ждал — ждал худшего. — Главное, все просто, — приняв Женино оцепенение за тот самый эффект, продолжал Саша, — просто, как все гениальное: мы живем в бессмысленном мире, в бессмысленное время. Коммунизм себя не оправдал, капитализм, тот самый западный капитализм, оказался нам чужд; демократия — пустое слово; вера в Бога зарплаты и пенсии не прибавит. Мы все в тупике — смысла нет, все живут одним днем: копить, наживать, заботиться о завтрашнем дне — в такие смутные времена — бессмысленно. Завтра же может все измениться, деньги вновь обесценятся, или

что-нибудь подобное. Мы живем на рубеже, где старое уже рухнуло, а новое еще не создано. И этот рубеж пуст, его необходимо заполнить, его необходимо оживить, дать ему хоть какой-нибудь смысл, нарядить его хоть в какую-нибудь идею. Но *нам*, молодым, новым людям, *их* старые идеи малы и противны — как поношенный, съеденный молью дедовский костюм. Мы выше ростом, молоды и брезгливы, нам — старое вон, нам подавай современное и модное. Все это понимают, но сделать ничего не могут, лишь обманывают нас, подсовывая нам этот самый костюм, только подглаженный и подкрашенный где в красный, где в белый, а где и в голубой. Ты вспомни, даже музыку для гимна вернули ту, советскую. А от чего — от бессилия и, главное, бездарности! И нам, понимаешь, нам! суждено разорвать в клочья это красногубобелое, штопаное гнилыми нитками барахло! В клочья! — Эту межвременную пустоту. Расшевелить народ. Заставить их поверить, что старого не вернуть, даже с помощью этого чухонца белобрысого. Нет больше той Великой России. И мы должны показать это. А для этого нам необходимо до крайности взвинтить всех своими никому не нужными — пусть злыми, пусть жестокими — но поступками — чтобы все поняли, что дальше — как сейчас — бессмысленно — в истрепанном костюме, уже невозможно. Что пора все радикально менять. И *мы* должны еще сильнее затянуть клапан, чтобы *они* быстрее задохнулись — а тогда мысль их живее заработает. Мы должны помочь России быстрее задохнуться, сократив до минимума эту пустоту, эту агонию безидейности — бессмысленную пустоту — ты понимаешь меня?! Понимаешь?!!!

Женя смотрел на требующего от него понимания Черкасова и... не понимал его! То есть он понимал, слыша и видя Сашу, что тот говорит полную бессмыслицу о бессмыслии; ум за разум мог зайти от такого — вот что Женя понимал.

— Я придумал! — гордо продолжал Черкасов. — Мы будем первыми, мы будем рушить этот мир, но рушить осмысленно — рушить во благо, не как эти замороженные чеченские террористы, а во благо — понимаешь ты меня? Понимаешь?!!! Я вижу, Женек. Ты же мне друг, ты единственный, кто меня понимает. Я придумал. Мы начнем сегодня же. И всякий раз будем говорить *им*, что наш поступок бессмысленен, но от того мы его и совершаем, чтобы вы это поняли. Ты понимаешь меня? Ведь, правда, понимаешь? Мы начнем сегодня же. Сейчас же. Одевайся. Мы уходим.

Женя замотал головой.

— Никаких возражений! Я все придумал. Мы даже больше, чем анархисты, — говорил он, насильно натягивая на Женю куртку. — Анархисты отрицают все ради одного лишь отрицания. Помнишь — еще — «Отцы и дети» — этот нигилист Базаров. Так он действительно только мог базарить. Мы же будем душить, чтобы разбудить народ. Пошли, — Черкасов силой натянул на Женю туфли и выволок его из квартиры. Оказавшись на улице, Черкасов на минуту задумался: — Я знаю! — воскликнул он и, схватив Женю за рукав, поволок его из двора.

...Улица, на которой они сейчас стояли, была безлюдна; с одной стороны тянулись закрытые высокими и густыми тополями жилые пятиэтажки, с другой — гаражи и брошенный, полуразвалившийся двухэтажный дом, обнесенный кирпичным, с частыми проломами, забором. За гаражами виднелись какие-то склады, все это выглядело безлюдно и даже одиноко.

Войдя в заброшенный дом, Черкасов обследовал его и скоро вернулся. Женя безжизненным истуканом стоял посреди улицы. Ни одной машины не проехало, ни одного человека не прошло мимо.

— Грязноватенько, но вполне уютно, — рассеянно произнес Черкасов, изучающе всматриваясь в лицо Жени. — Иди за мной.

Заведя его в дом и усадив на грудку гнилых досок, он приказал:

— Сиди здесь и без звука, — сказав, он вышел на улицу.

Точно паук в ожидании жертвы, сидел он в тени тополя, наблюдая за дорогой. Ждал он минут пятнадцать. За это время проехали две легковые машины; торопливо прошла женщина лет сорока, двое возбужденно о чем-то споривших мужчин вышли из дворов и направились в сторону остановки. Молодая девушка, хорошо одетая, свернула во двор. Черкасов ждал.

Она показалась со стороны остановки. Просто одетая, простоватый голубоглазый взгляд, белокурые жиденькие убранные в хвост волосы. На вид чуть больше тридцати. Шла неторопливо, о чем-то задумавшись, взгляд то и дело падал под ноги, рука часто поправляла так и норовившую сползти с плеча черную дерматиновую сумочку.

Она.

— Бог ты мой, я уже хотел кричать, звать на помощь.

Она вздрогнула.

Черкасов, с искаженным в испуге лицом, жалобно заглядывал ей в глаза. Вид его был по-настоящему несчастен.

— У вас есть телефон? Нужно вызвать скорую, моя девушка... Там, — он указал за забор, — пошла по нужде... стало плохо, — негромко заикался он, неотрывно, словно гипнотизируя, заглядывая ей в глаза. — Ей плохо, нужна «скорая», — он готов был зарыдать.

— У меня нет телефона, — опомнилась она, но я... медсестра.

— Вас сам Бог привел! — Черкасов без проблем увлек ее за забор. — Она там, — говорил он, уже затаскивая ее в дом.

И вдруг она все поняла...

— Я не пойду с вами! — взвизгнув, она дернулась назад. Тут же Черкасов зажал ей горло и волоком втащил в дом.

Женя вздрогнул и от неожиданности соскочил с досок. Отшатнувшись к стене, он молча наблюдал — больше ни-

чего. Без труда поставив ее на ноги, не отпуская горла, Черкасов сунул свое колено между ее ног. В свободной руке его оказался небольшой сувенирный выкидной ножичек. Щелчок — острое лезвие, все исчерченное косыми линиями графита, вырвалось наружу в сантиметре от ее глаз.

— Дернешься, выколю оба глаза, и потом визжи, ори — будешь всю жизнь слепая. — В подтверждение острие чуть ли не коснулось глазного яблока.

Она уже подняла руки, но от страха они тут же плетью упали, лишь кончики пальцев мелко подрагивали.

— Будешь вести себя хорошо — будешь с глазами. — Он освободил ее горло, предупредив: — Взвизгнешь, смотри.

Без движения стояла она прижатая к стене, никак не выказывая сопротивления, даже дыхание ее было тихим, почти безжизненным.

— Обними меня, — приказал Черкасов настойчиво и... нежно.

Она повиновалась.

— Мне убрать нож, или ты будешь глупить? — и вновь странная пугающая нежность.

Она задергала головой, точно в агонии, что означало ее согласие. Черкасов убрал нож.

— Поцелуй меня, — та же пугающая, жестокая нежность. И вновь она подчинилась.

Сняв с ее плеча сумочку, Черкасов отбросил ее. Отняв губы, он взял в ладони ее лицо — так, как берет в свои ладони лицо любимой безумно влюбленный юноша, чуть касаясь ее щек, словно боясь осквернить своими грубыми ладонями ее нежную кожу.

Она подчинялась ему во всем, точно кролик — удаву, и все это молча, чуть дыша.

— Я не чувствую тебя, — вдруг резко произнес он, я не слышу, как тебе хорошо.

— Я не могу, — впервые прошептала она. Страх и желание угодить — вот что было в этом шепоте.

— Ты должна стонать, искренне, фальшь я не потерплю... Ты поняла меня? — он буквально вошел в ее глаза своим острым, не терпящим неподчинения взглядом. Она сощурилась, как от яркого света, лицо ее сморщилось.

— Я попробую. Я буду стараться, — шептала она прерывисто, теперь всем телом помогая ему.

— Вот, умничка, — похвалил он ее и коснулся ладонью ее волос.

Не отводя взгляда, жадно смотрел Женя на эту... сцену... Насилия? Но это не было похоже на насилие. Она стонала, она целовала его, целовала жадно, ее руки, забравшись под его куртку, ласкали его спину... Два страстных любовника, не в силах сдержаться, ворвавшиеся в первый попавшийся, скрытый от посторонних глаз угол, и предавшиеся скорой, не терпящей отлагательств, любви, — вот на что это было похоже. У Жени голова шла кругом...

Он снова услышал Черкасова: скоро задышав, он вдруг громко вздохнул и обмяк. Отстранившись, тяжело сопя, он оправился, причем взгляд его непрерывно следил за ней, все еще прижимавшейся к стене, и с тихим прежним испугом наблюдавшей за каждым его жестом.

— Мне было хорошо, — точно боясь вызвать его гнев, торопливо прошептала она, — я не притворялась, мне было хорошо, — просящая улыбка показалась на ее губах, — я пойду... мне правда было хорошо.

— Я не отпускал тебя, — ровным голосом ответил ей Черкасов.

— Но ведь мне было хорошо.

Жене показалось, что сейчас она закричит.

Мгновенно в руке Черкасова очутился нож. Щелчок — и лезвие с готовностью выскочило наружу.

— Пожалуйста, — глаза ее стали влажными.

— Ты обманула меня, — ровный жесткий голос, — я этого не люблю.

— Хорошо, хорошо, — поспешно согласилась она и даже выдавила подобие улыбки.

Черкасову вдруг стало весело. Игриво глянув на девушку, он сказал ей:

— Не правда ли, все это бессмысленная глупость?

Она замотала головой и тут же закивала, не зная, какого ответа ждет от нее этот страшный молодой человек с режущим грязно-карим взглядом.

Черкасов сделал знак рукой:

— Иди сюда.

Женя подошел.

— Она твоя, — Черкасов одновременно следил и за ней, и за Женей, точно боец, окруженный несколькими противниками и готовый отразить удар любого из них.

— Не хочу, — мотнул Женя головой.

— Не придуривайся, — в тоне Черкасова появилась угроза. — Стоять, — тут же рявкнул он ей, когда она сделала движение в сторону выхода. — Подойди к нему и сделай все сама.

— Он не хочет...

Черкасов только посмотрел на нее — этого оказалось достаточно. Вздрагивая, она подошла к Жене и опустилась на колени. Женю затрясло.

— Не хочу! — он схватил ее за волосы и наотмашь ударил ладонью по затылку.

Свалившись, сжавшись, она спрятала лицо в грязную гнилую землю... Черкасов спокойно осматривал ее сумочку.

— Три тысячи рублей — всего лишь? — засунув деньги в карман, он бросил ей сумочку, заключив: — За удовольствие надо платить.

— Это моя зарплата, я сегодня зарплату получила, — плакала она, не отрывая лица от пола, — мне еще дотацию заплатили...

— Пойдем, — кивнув Жене, Черкасов вышел на улицу. Он шел быстро, не оглядываясь. Догнав его, Женя пытался поймать взглядом его глаза. Черкасов упорно не обращал на него внимания.

Быстро дойдя до остановки, убедившись, что автобуса нет, Черкасов, не медля, пересек дорогу. На противоположной остановке в автобус входили люди. Черкасов не торопясь вошел последним, услужливо пропустив Женю вперед. Все это время Женя старался встретиться взглядом с Черкасовым. И все время Черкасов упорно не позволял ему этого.

Вышли они на следующей остановке. Черкасов не проронил ни слова. Через минуту Женя сорвался. Он говорил негромко, торопливо и, казалось, готов был вот-вот заплакать.

— Нас же посадят, ты — псих, ты изнасиловал ее, ограбил, а я был рядом, я ударил ее, я пособник, нас посадят, ты — псих, ты — извращенец...

— Слушай, — Черкасов, наконец, посмотрел ему прямо в глаза, — а чего это, собственно, я тебя терплю, какого черта я с тобой нянчусь? Пошел к черту отсюда.

Женя заткнулся, точно ему самому ладонью по затылку саданули. Замерев, он смотрел, как неторопливо Черкасов удалялся в сумеречную глубину двора: пять шагов, десять шагов, тридцать шагов... Женя уже не видел его... Рванувшись, он побежал. Черкасов, как ни в чем не бывало, засунув руки в карманы куртки, шел по дороге, даже песенку какую-то мурлыкал. Тяжело дыша, Женя зашагал рядом. Черкасов не замечал его.

Они вышли на ярко освещенную, широкую, многолюдную улицу.

Что-то изменилось в Черкасове, даже походка его показалась Жене не такой уверенной; крепко держа руки в карманах, как-то уж совсем ссутулившись, шел он, щупая прищуренным взглядом асфальт. Проходя мимо урны, он вытащил из кармана куртки руку со скомканными и мусолеными все это время купюрами и бросил их в урну — естественно, как мешающие, давно таскаемые фантики от съеденных шоколадных конфет. Уж не случайно ли он это сделал, мгновением решил Женя, но нет, следующий жест говорил, что нет. Сотню метров шел потом Черкасов и тер вспотевшие и, видно, зудевшие ладони, словно держали они какую-то липкую мерзость. Не удовлетворившись одними этими потираниями, Черкасов достал платок, поплевал на него и тщательно вытер им ладони, после чего выбросил платок в урну — нет, он знал, что выбрасывал деньги.

Женя был раздавлен: такого дня он не мог и придумать. Так не бывает. Такого не бывает. Зачем это так?! Саша жесток, безумен... Но сам-то Женя не такой, сам-то он... нормален; ему зачем это, ему-то это зачем?! Бежать! Бежать! Подальше от жестокого, бессмысленного идиотизма — другого слова нет, и быть не может — жестокий, бессмысленный идиотизм... Бежать, бежать, пока... пока... — мысль завязла, застряв на этом «пока». Пока что? Что пока? Что может случиться дальше? Что еще может прийти в голову этому... человеку?..

— Боишься? — Черкасов остановился и посмотрел Жене в глаза. — Не бойся. Пойдем лучше, водки выпьем.

Женя шел за ним, он подчинялся ему, подчинялся молча, подчинялся беспрекословно. Водки — так водки. Запрокинув бутылку, он пил жадно, точно прохладную воду измученный жаждой путник...

— Ну-ну, остынь, — Черкасов отнял бутылку, — ишь резвый какой.

Женя выпил больше половины бутылки. Сразу же глаза зашторила безразличная, тошнотворная пелена. Но блевать не хотелось. Хотелось идти, куда — плевать, лишь бы идти. Какие-то улицы, дома, вот подъезд, нужно зайти — зачем? — нужно и все! Милая собачка, она хочет, чтобы ее погладили, ее обязательно нужно погладить... только, никого не насиловать, собачка сама хочет, что бы он ее... трахнул... нет, она хочет, чтобы ее погладили, только, никого не насиловать, насиловать плохо. Саша — тварь... а собачка хочет, чтобы ее погладили. Какая у нее густая шерсть. Хочется зарыться в нее... тепло... как тепло. Обнять ее и спать, спать, спать долго... и не просыпаться; просыпаться нельзя. Только, никого не насиловать. А где собачка?! Куда она делась?!... Как тяжело идти. Куда его все время тащат?! Он хочет к собачке! Она теплая, она добрая, а его куда-то тащат... А, это он, Саша, но с ним он никуда не пойдет; куда он его тащит?! Что ему от него надо...

— Куда ты меня тащишь?! — Женя рванулся, не удержался и со всего роста рухнул лицом в мягкую траву... — Сука! Бей меня! Убить хочешь, трахнуть меня хочешь! Бей меня, я сам тебя убью, я убью, я могу!..

Как же хочется спать, умереть и не проснуться.

Какие-то люди. Что вам от меня надо? Никуда я не пойду, я хочу к собачке. Я никуда не хочу идти, не трогайте меня! Не трогайте меня все; я хочу остаться один... Я ни в чем не виноват. Это все Саша. Он все это из-за идеи, отпустите меня. Я хочу к маме; она шлюха; я хочу домой; я спать хочу. Мне холодно... А где Саша?

Напоив Женю водкой, сам Черкасов не сделал и глотка; отняв у Жени бутылку, он выбросил ее в кусты. Что-то действительно изменилось в нем. «Бессмысленно» — это слово кружилось у него в голове, требуя немедленного подтверждения — подтверждения своей значимости. Все слу-

чилось. «Я преступник», — странная гордость охватила его, — «я преступник», — без тени раскаяния, даже без мысли об этом раскаянии, шел он неторопливо по шумному, ревущему проспекту. Идут навстречу люди, смотрят на него (Саша сейчас особенно замечал это) и видят, что что-то в нем особенное — Черкасов смотрел на эти лица, и ощущение своей особенności, на этом сером в своей пестроте фоне, приятно щекотало его нервы. Он наслаждался своей особенностью, шел неторопливо — намеренно неторопливо. А ведь в каком-то квартале отсюда, в каких-нибудь нескольких сотни метров, в старом заброшенном доме он совершил преступление, а эти люди снуют туда-сюда, даже не подозревая об этом; волна радости окатила его изнутри. Он изнасиловал женщину — впервые! И что больше сейчас владело им — чувство осознания преступления или... женщина. Он впервые был с женщиной, и не с какой-нибудь там, а... как в кино, как... Он слов не мог подобрать.

«Я обладал ею, — беззвучно, в возбуждении, шептал он — о б л а д а л .»

Недавние ощущения вновь охватили его, заставив вспомнить каждую деталь, каждую подробность. И новое, еще более яростное возбуждение почувствовал он, взглядом выхватывая из толпы женские фигурки, подчеркнутые плащами и курточками.

«Теперь я — мужчина, настоящий мужчина. Черт, я же не поцеловал ее грудь. Я даже не потрогал... Я даже не знаю, какой она у нее формы! Я... Идиот! — чуть не вскричал он. — Быть с женщиной и не увидеть ее груди. Вот воистину идиот. Но ничего, — подбодрил он себя, — еще не вечер. А не плохая-то идея. Даже приятная».

«Бессмысленность», — вновь поймав эту мысль, он достал из кармана деньги той самой медсестры и бросил их в урну — бессмысленно — и это ему понравилось —

этот жест, идея работает. Нужно идти дальше. Только вот Женя мешает, куда-то все время рвется. Может, и не стоило поить его водкой, поить водкой этого болезненного, нервного подростка — бессмысленно... хе! Все работает! Но ведь не век же он будет таскать его за собой, это тоже ведь бессмысленно, хе-хе-хе. Но и бессмысленно бросать его, одного в чужом районе, когда скоро ночь, хе-хе-хе-хе!! Идея работала, работала и требовала чего-то нового; это становилось уже какой-то игрой — бессмысленной и от того бессмысленно интересной, само слово это уже нравилось Саше... А вот Женя нравился ему все меньше и меньше, слишком он привлекал много внимания — осмысленного внимания, а такое внимание сейчас Сашу не устраивало, оно выпадало из его игры. Оставив валяющегося в грязной траве Женю, лупящего в вялой истерике траву своими слабыми кулачками и требующего, чтобы ему вернули собачку, Саша вышел из дворов на проспект.

Солнце давно зашло, уже и сумерки незаметно растворялись в густой темноте ночи, но это ощущалось, если, задрав голову, смотреть в небо — тревожное, рыхлое местами, забранное тяжелыми пористыми плитами задумчивых в своей черноте туч — грязно-фиолетовое ноябрьское небо. Здесь же, на земле, стоял жесткий, неоновый заслон, рубивший влет эту фиолетовую тоску яростными красно-желтыми огнями реклам и витрин, рассеивая ночь по тоскливо-угрюмым многочисленным переулкам и улочкам, исподтишка поглядывающих на это яростно-неоновое великолепие проспекта. Из одного такого переулка и вышел Саша Черкасов.

«Бессмысленно, все должно быть преступно и бессмысленно», — с таким боевым настроением вклинился в пестрый, суетливо-угрюмый человеческий поток. Пристроившись в хвост какой-то прилично одетой дамы Саша, видя

лишь узкую спину ее приталенного, добротной кожи рыжего цвета, плаща, отороченного лисицей, и стройные ноги в элегантных ботфортах, стал гадать, какое у нее лицо. Нарисовав себе длинноносую уродину с накладными ресницами, лет эдак тридцати, он обогнал ее и даже обиделся, увидев вполне миловидную даму, возраста далеко за балзаковского; обиделся, отстал на несколько шагов и уже откровенно стал ее преследовать.

«Э, брат, да тут уже определенный смысл, — неожиданно подумал он, — а это уже идет вразрез идее». Подумав, он тут же плюнул ей на пятку. Попал. Воровато оглянувшись и убедившись, что никому нет до него дела, плюнул еще раз, промазал. Шагов через тридцать обе пятки дамы блестели слюнявыми подтеками. Довольный собой, Саша оставил ее. Свернув, он спустился в подземный переход и вышел на противоположную сторону проспекта.

Через полчаса ему надоели бессмысленные мелкие пакости. Саше стало скучно. Не зная, чего бы еще такого натворить, следуя за каким-то строго одетым мужчиной, которому, якобы случайно толкнув его, Саша прилепил на спину пальто специально для этого жеваную жевательную резинку. Извинившись, отстав на пару шагов, он шел теперь за мужчиной и теперь, действительно без всякого смысла, смотрел на этот лоснящийся бугорок, прыщом торчавший из короткого ворса кашемирового пальто. «Прыщ» свернул в высокую полукруглую арку, Черкасов за ним. Зайдя вглубь двора, мужчина подошел к скромного вида входу, где из приотворенной двери лился мягкий тепло-лимонный свет; распахнув дверь, мужчина ступил внутрь; Черкасов следом. Оказался какой-то камерный то ли театр, то ли клуб. В небольшом холле, у стены находилась гардеробная с типичной театральной гардеробщицей в очках и в

халате, наблюдавшей, облокотившись на перегородную тумбу, за входящими и принимающей у них одежду. У стены, возле высокой металлической пепельницы, стояли трое бородатых мужчин лет пятидесяти в вязаных свитерах и молодая девушка с какими-то беспокойными глазами, в пестром балахоне.

Сняв пальто, сдав его гардеробщице, мужчина с приветственным возгласом подошел к компании. В своей кожаной косухе и толстовке с оскаленной на ней беззубой мордой, Саша сразу, только войдя, захотел уйти — неловко ему здесь стало. Замявшись в дверях, он вдруг, точно подхлестнув себя, не глядя ни на кого, уверенно прошел в холл, завернул в коридор и оказался в небольшом зале со столиками, баром и сценой у левой от входа стены, где на стуле сидел лысоватый мужчина в белом свитере и, аккомпанируя себе на гитаре, и стараясь высоко вытягивать непосильные для него ноты, пел, с каким-то тоскливым блеянием, о несчастной своей потерянной жизни, задаваясь вечным вопросом: зачем сюда он послан Богом, кто виноват в его судьбе? — Пел долго, пел про мир, где сплошной обман и ненависть и нет любви, а одно разочарование и вот он бредет по этой своей дороге разочарования, и сердце его чувствует новую беду.

Стоя возле дверей, Черкасов слушал и внимательно вглядывался в полумрак залы. За столиками сидели люди, пили коньяк, кофе, слушали пение. Сделав последний аккорд, певец кончил; сдержанные, приличествующие обстановке аплодисменты. Через некоторое время на стуле сидел уже другой мужчина с гитарой, с убранными в хвостик жиденькими каштановыми волосиками и в очках. Точно сговорившись с первым, так же тихо затосковал о своей судьбе, задаваясь тем же вопросом: кто виноват, что он один, и жизнь одна и так длинна, а он все ждет, что он когда-нибудь умрет.

И вдруг эту степенную, полувековую тоску разорвал, взыв юродиво-глумливым дискантом, злой мальчишеский голос:

—Ах, зачем я на свет появи-ился!

Ах, зачем меня мать родила-а!

Проорав, Черкасов мигом выбежал на улицу.

Выскочив из арки и вновь оказавшись на проспекте, он, распираемый смехом, представлял себе перекосившиеся в неудовольствии паскудно-интеллигентные лица.

Эйфория исчезла шагов уже через тридцать. Погрустнев, Саша поймал себя на мысли, что все эти шалости лишь пачкают его идею. После *преступления-то* такие вот мелкие пакости, — нет, не для того он открыл свою идею, чтобы портить вечера каким-то там степенным тоскунам и плевать на пятки послебальзаковским дамам. Нет. Бессмысленность требовала чего-то более серьезного — более решительных поступков, и не каких-то пакостей, а настоящих паскудств, бессмысленных и беспощадных.

«Нужно что-то по настоящему жестокое, бессмысленное, чтобы всем показать... необходимо что-то решительное, или... — на этом мысль его останавливалась: что решительное? Что жестокое?» Он уже прошел «Белорусскую.» Уже шел по Тверской, зло меряя взглядом фасады домов и витрины магазинов, и вся эта яркая, неоновая пестрота злила его своей неизменно уверенной непоколебимостью, так и распирало хотя бы это пошатнуть, если не разнести к чертям собачьим весь этот курятник нарочитого достатка... — Я вам сейчас устрою патриотизм, союз нерушимый, двух куриц свободный...»

Он остановился возле «Макдональдса»: огромные телевизоры-витрины, где в розовом свете сидели и жевали десятки людей. Напротив Черкасова, возле самой витрины, держа обеими руками гамбургер, сидел тучный муж-

чина. Отойдя к припаркованным в бесконечный ряд автомобилям, еще раз прикинув расстояние, Черкасов сосредоточенно вздохнул. Взгляд его опустился к земле. Пустая бутылка из-под шампанского лежала возле одного из деревьев. Решение было принято мгновенно. Плотно сжатые зубы, злые прищуренные глаза, рука крепко схватила бутылку, губы разомкнулись и выкрик:

— Бей жидов, спасай Израиль! — венчался звоном и шумом лопающегося и осыпающегося стекла.

Мигом перемахнув через невысокий заборчик, через какие-то секунды Черкасов стоял уже возле фонтана, где шумно развлекалась компания, человек пятнадцать, таких же, как и он подростков, одетых в косые кожаные куртки, в толстовки с надписями: «Алиса», «Король и Шут», «Sex Pistols» и еще черт знает каких групп. Услышав вопли и крики, вместе со всеми обернувшись на шум, Черкасов, с учащенным до предела сердцебиением, вместо того, чтобы мигом, как вся компания подростков, ринуться с интересом к «Макдональдсу», не торопливо... каких сил стоила ему эта неторопливость, хотелось бежа-а-а-а-ать! — это «бежа-а-а-а-ать!!!» ревели во всем его теле, руки и ноги аж вздрагивали от желания рвануть напропалую — «Бежа-а-а-а-ать», — Но *не-то-роп-ли-во* шел он к Тверскому бульвару, по дороге — так, бессмысленно — хе-хе — пнув бомжа, калачиком свернувшегося на асфальте. Какое-то звериное безумие в крепкий пучок схватило мозги этого подростка, сжимая их в своей страсти — до экстаза, до какого-то животного возбуждения.

«Все бессмысленно!» — все чаще это слово возникало в его голове, и всякий раз получало себе подтверждение. Черкасов с наслаждением (теперь с особенным наслаждением) оглядывался на сидящих на скамейках людей — И ВСЕ — по всей длине Тверского бульвара — сидели не как люди, на сиденьях, а, как петухи и курицы, на насес-

тах — жопами на узких, неудобных спинках, а ногами на сиденьях скамеек. С наслаждением Черкасов наблюдал это: Идея работала! — даже в мелочах.

Возле памятника Тимирязеву, ерзая на неудобной узкой спинке одной из скамеек, в одиночестве, сидел худой парень, длинные черно-каштановые волосы его непослушно спадали на лицо, странно задумчивое и чрезвычайно озабоченное; парень ежеминутно, без всякой досады, равно как и без всякого удовольствия, механически забирал волосы ладонью обратно, запрокидывая голову, но они упрямо лезли к его носу.

— Виталий Андреевич, здравствуйте, — оскалившись в приветствии, Черкасов смотрел на своего бывшего учителя рисования. Казалось, его нисколько не удивила эта встреча; остановившись в шаге от Виталия Андреевича, Черкасов даже голову чуть склонил набок, совсем как придирчивый покупатель, приценивающийся к заинтересовавшей его вещи.

В который раз убрав свои густые, грязные и от того блестящие волосы, Виталий долго посмотрел на своего ученика, но, в отличие от Черкасова, Виталий был жалок, и глаза его были какими-то удивленно беспомощными.

— Кто это вас так обидел, Виталий Андреевич? — вглядываясь в посеревшее лицо учителя рисования, поинтересовался Черкасов тем тоном, каким обычно говорят с душевно больными — намеренно ласковым и от того откровенно не искренним.

Болезненная, обиженная улыбка чуть дрогнула на лице Виталия. Он даже плечами пожал как-то неуверенно, и опять же так, словно его вот только что незаслуженно обидели.

Весь день после, как он уже успел уверить себя, изгнания из Клуба юных техников Виталий бесцельно бродил по центральным улицам и бульварам. Чего он только не

передумал в эти часы блужданий. Он окончательно убедил и уверил себя, что он никто иной, как пустой, никому не нужный человечиска. Он теперь верил, что клуб закрыт для него навсегда.

«Куда теперь картины девать?» — как ни странно этот вопрос мучил его гораздо сильнее, чем вопрос о ночлеге. Он, как ему сперва казалось, трезво все взвесив, вполне логично решил, что пока все утрясется, он поживет у Лены. Надежда, что Борис Борисович смиростивится, иногда выскакивала у него в голове, но тут же он доказывал себе, что все это глупости... И Игорь Иванович не замолвит словечко... Ему это меньше всего надо — отметал и эту надежду Виталий.

Проклиная этого мальчишку, Черкасова, Виталий следом соглашался с ним, приписывая Черкасову слова, что он, Виталий Аболмазов, пустой и бестолковый художник, и все, чем он занимался все эти месяцы, сплошь бессмыслица и самообман. И не важно, что Черкасов вовсе и не говорил ему этого, но человеку, впадшему в состояние крайнего самоедства, порой необходим некий собеседник, в уста которого можно было вложить свои самые острые и соленые мысли и соглашаться с ним, доводя, таким образом, свое унижение до абсолюта. «Да, Саша, ты прав, — мысленно соглашался Виталий, — я пустой художник, я бездарный художник. Нечего мне больше делать в столице, здесь я с тобой совершенно согласен. Таким бездарностям, как я, в столице не место; ты сотню раз прав — хватит испытывать судьбу, мечтать о величии, а пора ехать в свой Липецк и жить как все... Как я устал, и еще эта Лена. Да, Саша, твоя правда — не место таким, как я, в школе, не место. Но я ведь думал, что смогу, я ведь думал, что я художник и смогу научить других, тебя вот. Но чему я, пьянь и извращенец, смогу научить тебя? Ничему, Саша. Здесь не смогу с тобой спорить.

И действительно, чего я сюда приперся? Все таки столица, Саша, возможности, здесь свобода, по крайней мере, я так думал. Но я уеду, не сомневайся в этом, я уеду. Я все понял... Только я очень устал. Замерз и устал. Я спать хочу... Я... Очень устал...»

Туфли его промокли, ступни невыносимо зябли. Единственное, чего ему хотелось — стянуть с ног эти противные носки и опустить продрогшие ступни в таз с горячей водой... а потом в постель, в теплую чистую постель. А все прочее — живопись, работа, тот же Саша со своими бессмысленными угрозами (о-очень напугавшие Виталия) — все размокло и развалилось, растворившись в этом естественном человеческом желании. Спросили бы его в те минуты, когда он, не зная куда идти, брел по Садовому кольцу в сторону метро «Маяковская», спасаясь от тоски в яростно ревушем, притупляющим своим шумом мысли, автомобильном реве: Виталий, выбирай — ночь под дождем на улице, а утром — слава, величие и небо в алмазах, или — сейчас, вот прямо сейчас, таз с живительно согревающей горячей водой и постель, теплая, благоухающая свежестью, кипельно белая постель. Пусть! Пусть со старухой под боком, но чистая, свежая постель. Виталий бы не задумываясь, ответил: постель сейчас! Он и ответил это, почему-то с надеждой глядя на гордо стоящего Маяковского: «Да! постель», — с вызовом смотрел В.Аболмазов на В. Маяковского. «И не надо меня обвинять в малодушии, я замерз и хочу спать», — шевеля губами, беззвучно восклицал он великому поэту. Он решился. Еще раз уже с ненавистью, с вызовом смерив глыбищу великого поэта, он свернул в ближайший переулок. Вдруг вернулся и, сделав грозящий выпад рукой, мысленно крикнул: «Сам ведь говорил, что и глыбище хочется зарыться в мягкое... — он уже хотел продолжить: «в женское», но, тут же в злобе запнувшись, произнес в отчаянии: — Спать я хочу, человек

я, — вновь устремился в переулок и торопливо зашагал в сторону Лениного дома, убеждая себя, что Лена не такая уж и старуха, а вполне... Впрочем, спать. А все остальное... синем пламенем».

Но чем ближе подходил он к Краснопресненским прудам, тем сильнее (даже мгновениями с внезапной яростью) прорывались в сознание воспоминания об этой *старухе*. И почему-то гранитная глыбища Маяковского вставала перед глазами и, разомкнув каменные губы, говорила голосом Виталия: «Так низко пасть. Из за какой-то сиюминутной слабости. Тряпка. Погань».

Виталий не выдержал — гордость взяла свое. «Не пойду», — твердо решил он и свернул в какой-то переулок, — не пойду. Лучше во дворе, под дождем».

Как по заказу, пошел дождь, мелкий, зябкий, пронизывающий до костей осенний дождь.

К вечеру, усталый и измученный, он сам не помнил, как оказался возле дома, где жила Лена. Зло и долго смотрел он на окно пятого этажа.

«Ну, что, приполз, ну, давай, подожми свой куцый хвостик и вперед — *лизни ей ручку*: Леночка, я вернулся, я буду жить с тобой, как ты и хотела, буду удовлетворять твою плоть... Ты хуже проститутки — дожил — приполз к старухе, лишь бы где переночевать. Тварь, как же я тебя ненавижу», — проскрежетал он, глядя на окно пятого этажа.

Он уже не сомневался, что сделает это: поднимется на пятый этаж, нажмет кнопку звонка. Она откроет дверь. Он, конечно, изобразит нескончаемую радость (ради крыши над головой и не такое изобразишь)... и... и дальше всплы-

вали такие раздувшиеся утопленники — такие грязные образы, что аж тошнота к горлу подступила. Несколько раз говорил он себе «нет», уходя прочь, но, не отойдя и на сотню шагов, возвращался — некуда было больше идти! А на улице жить ему совсем не хотелось.

«Комнатной собачке нужно тепло», — с ненавистью подбадривая себя, прошипел он и, не раздумывая, вошел в подъезд. Поднявшись на пятый этаж, он никак не мог заставить себя нажать на кнопку звонка.

«Уж лучше бы ее дома не оказалось», — выплыла спасительная мысль.

— Хоть бы ее не было дома, — произнес он как заклинание и до упора вдавил кнопку.

— Кто там?

Зубы его заколотились, точно от холода. Но отступить было некуда.

— Кто там? — повторила Лена.

— Лена, здравствуй, это Виталий, — произнес он повеселее.

— Кто?

— Лена, это Виталий, — повторил он громко и, как ему казалось, непринужденно.

— Виталий, извините, у меня гость, я не могу сейчас вас принять.

И он услышал, как она отошла от двери.

Вот этого он не мог никак ожидать.

Его не пустили! Его послали! Он готов был ко всему... он растоптал себя, раздавил, завернул в бумажку, украсил ленточкой, тепленького, хорошенького принес, положил — нате!

И ВОТ ВАМ «НАТЕ»!

Не веря своим ушам, он вновь позвонил.

— Кто там?

— Лена, это Виталий...

— Виталий, я же сказала, я занята, оставьте меня в покое.

— Вот это да... вот тебе и... вот так... — бессвязно бормотал он, медленно спускаясь по ступеням. Выйдя на воздух, он беззвучно воскликнул: — Меня послала старуха... — ниже опускаться некуда, — и, не помня себя, с застывшим на лице удивлением, направился вон из двора.

— Так кто же вас обидел? — совсем как ребенку повторил Черкасов свой вопрос.

— Меня послала старуха, — растеряно смотря на Сашу, наконец, ответил Виталий Андреевич, и снова обиженная улыбка дрогнула на его лице.

— ХА-ХА-ХА-ХА-ХА!!! — взрыв хохота заставил всех кто сидел на спинках ближайших скамеек обернуться. — Послала таки?! — рукой вытирая выступившие сквозь хохот слезы, восклицал Черкасов, — послала-а — ха-ха-ха!!!

— Послала, хе-хе, — зараженный этим внезапным и безудержным смехом, засмеялся Виталий, но как-то тихо и униженно.

Сейчас он видел перед собой не своего ученика, а кого-то другого, кто был сильнее его, и в ком чувствовалась какая-то прочная ненависть ко всему — ненависть, которой у Виталия не было. Нет, конечно, он умел ненавидеть, и даже ненавидел, порой зло и отчаянно, но... как-то не прочно. Ненависть его, возникнув, сразу же лопалась и осыпалась, оставляя место и состраданию, и прощению, и, наконец, осознанию и раскаянию. А в этом высоком, плотном, хохочущем сейчас подростке ничего подобного и в помине не было, одна непоколебимая прочная глыбища ненависти. И странное чувство какого-то необъяснимого

уважения к этой завидно прочной, все уничтожающей ненависти, сконцентрированной в этом хохочущем, пышущем здоровьем подростке, почувствовал Виталий. Что-то заискивающе блеснуло в глазах учителя рисования; дождавшись, когда Черкасов устанет смеяться, Виталий спросил его:

— Саша, что мне теперь делать? — спросил тем тоном, когда уже полностью вверяешь свою судьбу тому, кому задан этот изначально лишенный ответа вопрос.

— Ничего, — ответил не задумываясь Черкасов, — все бессмысленно. Что бы вы не предприняли — все бессмысленно, — он ступил грязной подошвой на затоптанное сиденье скамейки и, подобно остальным, уселся на неудобно узкую, жесткую спинку. — Все обман, — продолжил он сквозь улыбку, — обман и ничего больше.

— Обман, — эхом повторил Виталий. — А ты помнишь свой первый обман? — болезненно сморщившись, словно припоминая что-то, пронзительно тоскливо вглядываясь в Черкасова, в его глаза, негромко спросил Виталий.

— Вся моя жизнь — обман, — с мальчишеской однозначностью ответил Саша.

— Нет, такие вещи запоминаются, — изменившись в лице, задумчиво проговорил Виталий, — они въедаются в память, и ничем их уже не вытравишь: первый обман, первая любовь, первая трусость... Я помню свой первый обман, — чуть покачиваясь всем телом в такт своему голосу, продолжал Виталий. — Первый обман... его осознаешь только тогда, когда стыд почувствовал, раскаяние. Мне лет пять было. Мама меня конфетами в зале кормила, а бабушка спала в спальне. Старенькая бабушка, лет восемьдесят, подслеповатая, и слышала плохо. Конфеты шоколадные — «Мишка на севере» — большие, вкусные. Из таких конфет обманки хорошо делать: обертку аккуратно распечатал, конфетку съел, а обертка же-

сткая — легко обратно форму конфеты придать. Мы тогда с пацанами так шутили друг над другом: я тебе конфетку (он берет), а там шиш, а не конфетка. Смешно до коликов.

Наелся я конфет (все до последней съел), смастерил обманку, и дай, думаю, над бабушкой подшучу, страсть мне интересно над бабушкой подшутить. Бабушка добрая, любила меня. Мама тогда телевизор смотрела, какие коварные у меня планы не знала. А я подхожу к маме и говорю: «Можно я бабушке конфетку подарю?» — а сам еле смех сдерживаю. Мама обрадовалась: «Конечно», — говорит. Я радостный, бабушке кричу (обманку в руке бережно держу, как бы не помять), сам довольный: «Бабуля, иди ко мне, я тебе конфетку подарю» (сам — не бегу к ней, хочу, чтобы она сама подошла, так смешнее будет). Слышу голос из спальни: «Иду, внучек, иду, мой родной», — у бабушки голос слабенький, добрый, мягкий, и слышу, как она с кровати встает и ко мне осторожно, ножками шаркая, ступает. Меня аж от радости трясет; трясусь, аж подпрыгиваю от нетерпения, жду — не дожусь, когда бабушка конфетку возьмет, а там — шиш. Ох, как я ждал этого. Но натура детская нетерпелива, хочется радостью своей поделиться (иначе нельзя, иначе какая же это радость, если я один об этом знать буду), поделиться же надо. Кричу, вернее, не кричу, а шепчу громко, с надрывом: «Мама, мамуля, иди сюда!» — а самого аж судорога сводит от нетерпения, ножками пританцовываю, точно писать хочу, ручки дрожат, трясутся от напряжения, что конфетку аккуратно держу. Мама спрашивает: «Что тебе, сынуля?» — «Мама, иди сюда быстрее». Мама видит мою радость, сама улыбается, но, видно, не понимает, что я так трясусь, какой такой восторг меня обуял. «Мама, смотри, что сейчас будет», — конфетку ей протягиваю и шепчу тихо-тихо, чуть ли не одними губами (слышу, бабушка уже близко):

«Мама, тут ничего нет», — говорю, а сам задыхаюсь от подлого счастья. — «Тут одна обертка», — слов не нахожу. И, словно, током меня пронзило, аж в горле комом — не улыбалась больше мама, в испуге вырвала у меня обертку. «Ты что! — шептали мамины губы. — Нельзя так». И страшно мне стало, что на такое я хотел пойти, и вдвойне, в тысячу раз страшнее стало — как увидел бабушку. Счастливая, сияющая, ступала она тихо, держась слабыми руками за стенку: «Иду, мой родной, иду», — а я: «А...я...меня...нет...», — не описать словами того ужаса, что владел мной. Ведь никогда, ничего не дарил я бабушке, и первый подарок — пустая бумажка — обман! Нет такого верного слова, чтобы обозначить мое состояние, когда увидел ее до наивности счастливое лицо, словно не я ребенок, а она; мягкая улыбка, очки съехали на бок и... Такая доверчивость в глазах, такой доверчивости не увидишь и в глазах щенка. «Татьяна Дмитриевна, а Виталька конфетку съел, вы уж простите его...»

Виталий замолчал. Слезы показались в его глазах. — Ты знаешь, Саша, тебе пятнадцать, мне двадцать пять, а я вот тебя не боюсь, не стесняюсь, — уточнил он, — вот видишь, слезы у меня... Я домой хочу. Мне страшно в этом городе одному. Я ведь здесь совсем один. Уеду я отсюда, к маме уеду. Устал я. Все бессмысленно — ты прав. Я в твои годы слушал «Кино», «Алису», «ДДТ». Я, вообще, Саша, думаю, что и переворот в девяносто первом году, может быть, и свершился благодаря тому, что Цой пел, что «Мы ждем перемен», а Кинчев — что «Мы вместе»...

— А знаете, Виталий Андреевич, — перебив его, усмехнулся Черкасов, — а ведь я уже это слышал.

— Не мудрено, — усмехнулся Виталий, — мы живем в раненой стране, мечемся в ужасе, готовые на все: только, чтоб быстро. Храм на бассейн — только чтоб быстро. Слова новые в гимне на старую музыку — потому что времени

нет — чтоб быстро. *Чтобы все помянуть, но только чтоб быстро.* Мечемся — готовые на все, лишь бы выжить: как смертельно больной, не находя помощи у врачей, бежит ко всяким сертифицированным потомственным ясновидящим или народным целителям с международным дипломом. И это метание во всем: в литературе, в живописи, особенно в музыке: все эти «Пилоты», «Торбы — на — Круче», я уже молчу о «Мумий Троллях» и «Ногу Свело», да и Б.Г. и даже «Алиса» поют теперь такую ахинею... А мы, по старинке, ищем смысла в их бессмысленных текстах. И находим его. А сами группы потом удивляются: «Вот, блин, а я такого и не имел в виду». На тебе, вот, майка «Король и Шут», и ты говоришь о бессмысленности, и ты живешь в бессмысленное время, и ты хочешь (и не ты один) его изменить. Все верно, все правильно. Но есть одно «но» — *ты тоже хочешь, чтоб быстро.* Понимаешь, Саша, о чем я?

— Конечно. Вижу, и вы все понимаете. Значит, не потерянный вы человек, молодчина-таки, — панибратски хлопнул Черкасов своего бывшего учителя по плечу. — Знал бы, не выкидывал деньги, а отдал бы вам, — с тихой гордостью произнес он. — Я ведь сегодня преступление совершил — я женщину изнасиловал и ограбил — бессмысленно. А деньги в помойку выбросил, потому что не нужны мне ее деньги. А вот только что, — он кивнул в сторону «Макдональдса», — стекло в тошниловке рассандакал — камнем, — гордость стала насыщаться той самой прочной ненавистью, — взял и метнул камень и ушел — спокойно. И сижу вот с *тобой*, и выслушиваю твои сопли. И надоел ты мне, — неожиданно зло заключил он. — Все мне надоело. Все бессмысленно, — он поднялся, спрыгнул на землю и, не говоря ни слова, зашагал в сторону Арбата.

Виталий, казалось, даже не удивился такому обороту.

— Да-а, бедный мальчик, — совсем старчески произнес он, глядя вслед уходящему Саше. Саша шагал широко, спину держал осанисто, но что-то неестественное было во всей его надменной фигуре, словно он знал, что на него смотрят. И осанка его, и широкий уверенный шаг — все было показным, для чужих глаз.

8

Взглядом проводив смешавшегося в людской суете улицы Сашу, Виталий поднялся с лавочки и неторопливо побрел к Пушкинской площади. Усталость его переросла в полное равнодушие ко всему. Проходя мимо «Макдональдса», с равнодушием, без малейшего интереса и даже любопытства он посмотрел на рваную дыру в стекле витрины, расползшуюся длинными, колючими щупальцами-трещинами; на людей, столпившихся вокруг этой дыры; на машину «скорой помощи», куда сажали двух женщин с порезанными осколками руками; на милиционеров, что-то живо расспрашивающих у прохожих; на двух возмущающихся подростков, одетых в кожаные косые куртки и которых человек пять милиционеров впихивали в милицескую машину; все это не произвело на Виталия ни малейшего впечатления. Спустившись в подземный переход, он подошел к турникетам станции метро «Тверская». Вставил карточку с последней поездкой («Символично», — щекотнула нервы грустная мысль). Усмехнувшись, опустив бесполезную теперь карточку в мусорное ведро — опустив, красивым жестом разомкнув пальцы, — Виталий ступил на ленту эскалатора, всем телом облокотившись на движущийся резиновый поручень, и так и замер, бессмысленно цепляя взглядом бесконечный ряд рекламных щитов. Он ехал на Павелецкий вокзал.

Виталий даже не расстроился, когда, войдя в здание вокзала, убедился, что до Липецка поездов в ближайшие часы больше нет; единственный ближайший, до Ранинбурга — в два ночи.

— Ну, давайте до Ранинбурга, — взяв билет, Виталий вышел из зала касс.

До поезда еще целых четыре часа. Мелкий дождик рисовал тоскливо блестящие кольца в освещенных фонарями розовых лужах. Но, как Виталий не чувствовал себя измотанным и продрогшим, просидеть целых четыре часа в таборно-беспокойном зале ожиданий, где, как нигде, сконцентрирован удушливо-тревожный запах ожидания дальней дороги; где, куда бы ни падал взгляд, он неизбежно натыкался на тюки и чемоданы; где один вид беспокойно-тоскливых лиц, мрачно пережевывающих вареные яйца и соленые огурцы — неизменную пищу любого пассажира — нагоняет такую жутко невыносимую тревогу, что... «Нет, в это чистилище, своей волей... — Виталий поморщился, только вспомнив кисло-тухлый запах зала ожидания, — нет, лучше уж напоследок прогуляюсь, так сказать, по-людски попрощаюсь с этим Городом».

Слабо усмехнувшись — одними глазами — он, хлюпая вконец отсыревшими туфлями, пересек трамвайную линию и зашел в грязную темноту дворов.

Мысли его теперь были далеко, в Липецке: он представлял, как удивится мать и как она обрадуется, а что потом?..
А н и ч е г о.

«Ничего не будет, — размышлял он, — зайду к кому-нибудь из знакомых...расскажу, как замечательно жил в Москве. Врать буду, скажу, что надоело все, взял и уехал. Потому что нет на земле лучше города, чем Липецк, — он в отвращении мотнул головой в досаде на такую издевательскую мысль. — А что, придется врать, ведь не расска-

жу же я правду, как я...да-а, — немедленно всплыл образ Лены, следом, неожиданно, Черкасов, уходящий широко и осанисто в сторону Арбата. — Да-а... Ну ничего. Иду красивый, двадцати двух... да-а... — все повторял он это протяжное «да-а...», словно причитая. Образы прыгали, как зайчики, лихо сменяя друг друга: Черкасов Лену, Лена Черкасова, а вот и Ривкин, доказывающий, что он художник, а все остальные... «Да-а...», — и все это в оформлении какой-то грустной, дурацкой песенки, услышанной мельком на вокзале, и вот теперь назойливо привязавшейся, со своим простеньким, запоминающимся и оттого навязчивым мотивчиком:

Меня ты скоро позабудешь,
Художник, что рисует дождь.
Другому ангелу ты служишь,
И за собой не позовешь.
Художник, что рисует дождь,
Художник, что рисует дождь...

Не в силах отделаться от песенки, которую Виталий гонял по кругу черт знает какой раз — одни и те же слова припева. Он старался вспомнить другие какие-нибудь, более приятные ему песенки, но простенький мотивчик растворял в себе все самые замысловатые мелодии, которые Виталий вспоминал, в надежде отделаться от этого припева, набившего в его мозгах оскомину. Какую бы песню он не запевал, она упрямо ложилась на мотивчик художника, рисующего дождь, даже «Союз нерушимый республик свободных» — что Виталия уж совсем удивило и ...развеселило. Так он и шел напевая под музыку «художника» то «Союз нерушимый» (развлекавший Виталия больше всего), то еще что-нибудь в этом роде. Единственное, что не осилил рисующий дождь художник — это

«Боже, царя храни», — Виталия это чуть-чуть разочаровало. Но настроение улучшилось.

— Жизнь-то налаживается.

А за домами, заревом вздымаясь над крышами, вырываясь из арок, пролезая в любую маломальскую щель в плотно фиолетовой стене, из деревьев и домов, настырно щекоча своим светом глубину дворов, куролесило огнями Садовое кольцо.

«Хватит по дворам жаться — точно преступник, — мгновенно перед глазами возник Саша, — к черту!» — отмахнулся он и скорей зашагал к яростному в своем блеске Садовому кольцу.

Проходя мимо дворовой беседки, в глубокой черноте он увидел светящийся алой звездочкой огонек сигареты. Сразу захотелось курить.

— Угостите сигаретой, пожалуйста, очень курить хочется, — попросил он, не заходя в беседку и, как ему казалось, очень доброжелательно.

— Пожалуйста, — тоненькая девичья рука протянула ему сигарету.

— Можно я зайду? — вдруг мгновенно поменяв свои планы насчет яркого шума Садового кольца, попросил Виталий уже не так жизнерадостно, а больше печально. Разглядев, что девушка равнодушно пожала плечиками, он вошел в беседку.

— А счастье есть на земле, или хотя бы радость? — спросил он, сев напротив девушки, и спросил, точно, самого себя. Радость его сменилась странной задумчивостью и сам он изменился: голос стал мягче, выражение лица загадочным — словом, то были обычные изменения, какие случаются с мужчиной, когда он видит понравившуюся ему одинокую девушку.

— Не знаю, наверное, нет, — она ответила не сразу и, похоже, как и Виталий, сама себе.

— Меня зовут Виталий.

— Лариса, — ответила она, смотря все это время куда-то в сторону, и добавила, слишком уж равнодушно: — если вы думаете приставать ко мне, не надо, глупости все это.

— Я и не собираюсь, — пожав плечами, ответил Виталий, — я просто хочу посидеть и покурить. Я вам не помешаю?

— Нет, сидите.

Они сидели молча. Девушка давно уже бросила сигарету. Казалось, Виталий ей нисколько не мешал, она молча сидела, глядя на редкие, прозрачно-белесые в свете окон капли бесконечно тоскливого осеннего дождя.

— Дождь — это красиво, — чтобы хоть как-то завязать разговор, осторожно произнес Виталий, незаметно ерзая на холодной металлической спинке сидения и время от времени шевеля пальцами ног.

— Я тоже люблю дождь, — девушка отвечала неохотно, но видно было, что ей хотелось говорить, точнее слушать. Разговор потихоньку оживился. К тому же Виталий просто болтал, болтал без умолку. Неся всякую чепуху, он даже старался не смотреть на Ларису, чтобы и повода не подать... Он вдруг поймал себя на мысли, что хочет эту девушку, хочет сильно, хочет страстно и, чтобы подавить в себе это откровенное до дрожи охватившее его тело желание, он болтал, смотря куда угодно, лишь бы не на нее; точно, почувствуй она его желание, и, все — она просто уйдет. Девушка казалась Виталию чертовски привлекательной, даже красивой. Какое-то окно в первом этаже вспыхнуло ярко-розовым светом, и он теперь хорошо видел ее: большие доверчивые глаза, круглый капризный ротик и какая-то странно доброжелательная улыбка очень одинокого человека.

— Ты хочешь меня, или просто замерз так сильно? — вдруг прервав Виталия на полуслове уже стоявшего посре-

ди беседки и что-то живо говорившего и жестикулирующего, пристально взглядываясь в него, спросила Лариса. Теперь ее глаза не казались такими доверчивыми, напротив, что-то капризно жестокое блеснуло в них, и губки, еще недавно влажные и желанные, сухо сморщились в узенькую, злую линию.

— Хочу. И замерз, — сам не ожидая от себя такой смелости и тут же смутившись, признался Виталий.

— Пойдем, — она неровно ступила на пол беседки, и только сейчас Виталий увидел, что Лариса пьяна. Неторопливо, даже не взглянув на Виталия, она зашагала к подъезду одного из пятиэтажных домов. Открыв кодовый замок, войдя в подъезд, Лариса вдруг остановилась, порылась в карманах длинной кожаной куртки и, достав несколько смятых сторублевков, протянула Виталию.

— Купи коньяку и презервативов. Моя квартира тридцать седьмая, на пятом этаже, код в подъезде — три, четыре, пять — одновременно, — сказав это, она неторопливо стала подниматься по лестнице. — Дверь будет открыта, — не оборачиваясь, сказала она.

Секунду помедлив, Виталий вышел из подъезда. Такого он даже не мог себе представить. Не переставая удивляться, крепко сжимая деньги в ладони, он торопливо прошел мимо хоккейной коробки и вошел в двери магазина. И тут его осенило, что так быть не может, это все шутка, она просто откупилась от него, и на самом деле нет никакой тридцать седьмой квартиры. Она просто обманула его. Но зачем? Нет, не обманула, — размышлял он, выходя из магазина и, вспоминая дорогу, гадал: «Не могла обмануть, деньги же дала... А вдруг... Стоп — ага, вот за этими гаражами, а вдруг это засада, а вдруг она дома не одна, — Виталий не знал теперь, что и думать, ко всему прочему он заблудился. — На торце ее дома плакат концерта Ирины Аллегровой; так, где же он... а — вот же, — увидев ориентир, он

уверенно зашагал к дому. — Так не бывает, — вновь выпрыгнула мысль. — Бессмыслица какая-то... Второй подъезд... А вдруг, — он остановился возле первого подъезда, — все это неспроста. Это же абсурд! — беззвучно воскликнул он, крепко сжимая пол-литровую бутылку коньяка, — это же...» — он окончательно запутался и... испугался. Он вдруг ясно представил, что, как только он войдет, в квартире его встретит не Лариса, а какие-нибудь двое здоровенных мужиков и... Виталий не на шутку испугался, даже сделал движение обратно к вокзалу, но... в сердцах махнув — будь, что будет, — откупорив бутылку, хорошо приложился к горлышку и смело подошел ко второму подъезду, уверяя себя, что его просто обманули — никакой тридцать седьмой квартиры нет (набрав код, он вошел в подъезд) и Ларисы нет; и идет он исключительно, чтобы убедиться в этом и... словом, для очистки совести. И... не важно, в любом случае, времени до поезда еще предостаточно.

Дверь тридцать седьмой квартиры действительно оказалось не запертой. Осторожно открыв ее, готовый, если что, удрать, Виталий ступил внутрь. Первое, что его насторожило, — это тишина. Лишь глухой, монотонный шум дождя за окнами. С минуту стоял он возле полуоткрытой двери, вслушиваясь. Казалось, в квартире никого не было.

— Эй, — не громко позвал он. Он хотел следом произнести «Лариса», но не произнес — страх подсказывал быть осторожным. Но и дальше стоять вот так, возле открытой двери... Виталий решился. Не заходя в единственную комнату, вытянувшись, он заглянул в нее: только разложенный диван у стены, возле запертого балкона, телевизор на низкой тумбе, и все это в тусклом, матовом свете малинового торшера, торчавшего в углу из-за дивана. В темной кухне тоже никого не было видно. Не разуваясь, оставляя

грязные мокрые следы, Виталий сделал несколько шагов к кухне, крепко, как оружие, за горлышко сжимая бутылку армянского коньяка. В ванной слышались тихие всплески. Дверь в ванную была не заперта. Осторожно, затаив дыхание, Виталий чуть приоткрыл ее и, с бутылкой наготове, заглянул внутрь. В полной, пенистой ванне мирно лежала Лариса.

— Я уже думала, ты никогда не войдешь, — она произнесла это с нескрываемой иронией и, до обидного, спокойно. — Боишься? — она улыбнулась. — Не бойся. Закрой входную дверь, раздевайся, возьми с кухни два бокала и заходи ко мне, трусишка мой зайка серенький, — она усмехнулась так, будто прекрасно знала, что из себя представляет этот молодой человек. Виталий смутился. Слова — особенно про «зайку» — задели его, он хотел уже было что-то сказать в оправдание, дескать, а что ты хотела...после всего того... а особенно по нынешним временам... Но лишь больше смутился, поставил бутылку коньяка на пол, возле ванны, и, прикрыв дверь, вернулся в коридор.

«Действительно, — снимая куртку и стаскивая вместе с носками ненавистные туфли, размышлял он, в блаженстве шевеля белыми, скукоженными пальцами ног, — чего испугался-то, пьяная девица... — и тут, при этой мысли, стыд его вдруг перерос в тихую озлобленность. — Ну, ладно», — сказал он сам себе, закрыл на замок дверь и уже уверенно прошел на кухню. Бокалов он не увидел; не зажигая света, нашарил на полке два стакана; ополоснув их, вошел в ванную. Увидев его, Лариса развеселилась:

— Эх, за-янька, эх, се-ренький, — хитро улыбаясь, пропела она. Виталий и это стерпел и, чтобы подбодрить себя, так же хитро улыбнулся, даже подмигнул Ларисе.

— Ты чего мне подмигиваешь, может, ты маньяк? — уже с тихой агрессией, четко проговаривая каждое слово, про-

изнесла она, — я ведь закричу. И вообще, сейчас мой муж придет, — с откровенной угрозой заключила Лариса; сощурившись, теперь с нескрываемой ненавистью, смотрела она на Виталия.

— Знаешь, вот коньяк, — Виталий кивнул на бутылку, — вот презервативы, сдача, — достав из кармана рубашки упаковку и деньги, он положил их на край ванны, — а я лучше пойду, — он поспешно вышел в коридор.

— Виталий, подожди, — мокрая, Лариса выскочила следом и, как была в хлопьях пены, крепко обняла Виталия за шею, — не уходи, поцелуй меня, — неожиданно ласково лепетала она, — я вижу, ты хороший, мне очень плохо, побудь со мной, у меня муж бандит, давай выпьем, — вцепившись в Виталиеву руку, она потащила его обратно, в ванную. — Выпьем коньяка, успокоимся, — возбужденно, с придыханием шепча, она стягивала с него джинсы...

Все случилось до неприличного скоро. Виталий покраснел. Опомнившись, Лариса обернулась и, с неподдельным ужасом глядя Виталию в глаза, прошептала:

— Мы же забыли про презервативы! Теперь я забеременею; я обязательно забеременею, — неожиданно спокойно заключила она и, опустив взгляд, хмыкнула: — Какой он у тебя смешной, в этих хлопьях пены! — не удержавшись, она легонько стукнула по нему пальчиком, — здравствуй, дедушка мороз, хи-хи, — совсем как озорная маленькая шалунья, хитро прищурившись, смотрела она на Виталия. — Ну чего ты такой смурной, давай в ванну, — шагнув, она потянула ошалевшего Виталия за собой. И было от чего ошалеть: пьяная, не известно кто такая девушка, и муж бандит, а сам он одной ногой в ванне, в спущенных штанах, мокрый и в пене, а на улице, ноябрь, а через... да уже скоро! поезд! — Снимай с себя все, я тебя помою и в кровать, — веселилась Лариса, открыв воду и поливая Виталия из душа.

— Подожди ты! — вырвавшись, Виталий выскочил из ванны, еле устояв на скользком, по щиколотку залитом пенистой водой кафельном полу, — подожди ты! — схватившись за трубу холодной воды, уже не скрывая страха, в панике вскричал он. — Подожди, — тяжело дыша, исподлобья смотрел он на эту сумасшедшую (в последнем Виталий уже не сомневался), — выслушай меня, — сбивчиво начал он, — я всего лишь учитель, понимаешь ты — всего лишь учитель рисования; мне не нужны никакие неприятности ни с какими бандитами — понимаешь?!

— Не волнуйся, — беззлобно улыбаясь, отвечала она, — я пошутила, давай выпьем. Так, — она упрямо посмотрела на него, — или ты сейчас же раздеваешься и лезешь ко мне в ванну, или я кричу, во всю глотку. Лезь в ванну, — то ли шутя, то ли всерьез скомандовала она.

Виталий подчинился. Повесив на горячую трубу одежду, он осторожно сел в ванну лицом к Ларисе. Сразу стало тепло и... бесконечно спокойно. Теперь Виталия и силой не выволокли бы из этой теплой, умиротворяющей своей переливающейся в блестках пеной ванны. Какой там к чертям поезд!..

Некоторое время сидели молча.

— Не бойся, никто сюда не придет, — спокойно и в то же время серьезно произнесла она.

— Соседей зальем.

— Плевать... там все равно... никто не живет, — чуть слышно, на выдохе прошептала она...

За окном все также бесконечно тоскливо моросил дождь. В полумраке комнаты ярко вспыхивали два огонька, следом, почти одновременно, в потолок выпускались

две густые струйки мягкого, белесого, переливающегося в свете ночи дыма — Виталий и Лариса лежали на застеленном диване и молча курили.

— Дай мне коньяка, — чуть слышно попросила она; обернувшись и взяв с пола стакан с коньяком, Виталий протянул его Ларисе.

— А ты бы смог меня нарисовать? — произнесла она задумчиво, — нет, не сейчас, сейчас у тебя нет ни красок, ни кистей, а потом... когда я умру. Нарисовать меня такой, какая я сейчас, — она поднялась, осторожно переступила через Виталия и подошла к окну, — смог бы, по памяти? Чтобы я была похожа — точь в точь.

— Не знаю, — улыбнувшись, ответил он.

— Как не знаешь, ведь ты же художник, у тебя должна быть феноменальная память.

— Что за предвзятое мнение, что художник должен обязательно обладать феноменальной памятью, — оторвавшись от подушки, Виталий прислонился спиной к стене, — художник не разведчик, — усмехнувшись, произнес он, — художник даже более рассеян, чем внимателен; он мыслит образами, и память у него образная. Знаешь, иногда бывает смешно, когда читаешь в какойнибудь книге: художника так поразило ее лицо, что оно навсегда отпечаталось в его памяти, до мельчайшей родинки на мочке левого уха. Эти писатели почему-то уверены, что у художника не глаза, а фотообъективы.

— А что бы отпечаталось в твоей памяти — чтобы помнил художник? — отвернувшись от окна, она посмотрела на Виталия.

— Что бы помнил художник? — повторил Виталий. — Он бы помнил, что за окном уныло и однообразно моросил дождь, и что *она* была очень печальна и... тревожна в этом холодном серо-фиолетовом свете тревожной, бурокоричневой ноябрьской ночи. Художник видит мир цели-

ком, даже не *видит*, а *ощущает*. Его память настолько богата, что ему нет проку заострять свой взгляд на всякой ничтожной мелочи. Художнику даже не нужно помнить деталей *ее* лица, ему достаточно впитать в себя то настроение, которое было в *ее* позе, в комнате, где возле холодного, в серо-фиолетовом свете, окна стояла *она*, плотно закрытая от мира, как вуалью, багрововириндовой тенью, лишь плечи *ее* светились холодно голубым, но, несмотря на это, очень живым цветом, и волосы цвета болотной тины переливались в пышном свете, очерчивая маленьким контуром, скрывая все остальное в густой багровой глубине комнаты... а за окном моросил дождь. Главное, чтобы *ее* настроение, *ее* тревога *его*, художника, зацепили — вот и все. И поверь, по одному только настроению ты увидишь, что на картине именно *она*, и тогда ты и родинку на мочке левого уха обязательно заметишь — она проявится сама собой...

— Ты ведь правда сегодня не уедешь в свой Липецк, ты ведь правда останешься со мной, правда? — она произнесла это совсем тихо и с той невинно пугающей тревогой одинокого, покинутого всеми человека.

— Не уеду, — произнес он будто самому себе.

— Ты очень хороший, — она подошла к дивану, встав возле на колени и вытянув руку, коснулась его руки, — я ведь хотела сегодня умереть. Весь вечер я сидела в беседке и смотрела на дерево, я не знаю, как оно называется, оно растет прямо под моими окнами. У него такой короткий ствол, и ветви, их спилили, и они такие острые, особенно осенью, когда опадают листья. Я долго смотрела и представляла, как бы я выглядела на этом мокром, грязном дереве, проткнутая жутко срезанными корявыми ветвями. Вот я выхожу на балкон, прыгаю, широко расправив руки, как крылья... Ветви рвут мое тело, вспарывают живот, уродуют грудь, лицо, но я все равно буду улыбаться, даже уме-

рев, я все равно буду красивая... Моя мама выбросилась из окна, это случилось восемь лет назад, в ноябре, сегодня годовщина... Мне тогда только исполнилось двенадцать. Никто не знает, почему она это сделала. Все говорили, что она сумасшедшая шизофреничка. А я знаю — мой отец просто не любил ее. Он не любил ее, — тихо, сквозь слезы повторила Лариса, — а она его любила. Он до того был к ней равнодушен, что вовсе не замечал ее. Даже когда она специально напивалась и приходила домой за полночь; он и не спрашивал, где она была. Она изменяла ему, изменяла открыто — лишь за тем, чтобы он ревновал, но он не хотел этого замечать, ему было на нее наплевать. Утром он просыпался, уходил на работу, вечером возвращался, ужинал, смотрел телевизор и ложился спать. А по выходным он встречался с друзьями, у него было много друзей и много женщин; со всеми он был весел и общителен, кроме моей мамы. Он и не смотрел на нее. Он часто говорил ей: «Нет больше любви, хочешь, давай разведемся, хочешь, будем жить так — меня устраивает». Его устраивает! — Лариса горько усмехнулась. — Конечно, мама из кожи вон лезла, чтобы угодить ему, чтобы вернуть все как было. Она и меня ненавидела, и, пожалуй, больше всех — она ревновала его ко мне. Как это было все мерзко. Она обвиняла меня, что я отняла его у нее. Она всех обвиняла — что мы — *все* отняли его у нее. И эти ее пьяные скандалы, ревность. Как то она даже привела в дом мужчину, привела, когда нас не было, но, подгадав, чтобы мы вернулись как раз — чтобы все увидеть. Мы тогда с отцом ушли в театр, когда вернулись... Но даже это отца не возмутило... Зато для меня это был шок. А через несколько дней... она прыгнула из окна, на наших глазах... Я не знаю, зачем я тебе все это рассказываю. Мне двадцать лет, и я уже дважды официально была замужем, эту квартиру мне снимает Вадим. Два месяца мы с ним вместе.

— А где он? — с вновь возникшей тревогой осторожно спросил Виталий.

— Не знаю, он уходит и приходит, когда хочет. — Резко поднявшись на локтях, Виталий вопросительно смотрел на Ларису. — Его уже две недели — ни слуху, ни духу, может, убили, наконец.

— Так он, правда, бандит?

— Псих он ненормальный, вот он кто. Я с ним даже ни разу не спала, ему все, видите ли, некогда, у него, видите ли, дела, — Лариса говорила зло, глядя куда-то сквозь Виталия, — два месяца назад я с ним познакомилась в «Бункере». На следующий день он снял эту квартиру. Я даже посчитала — за все два месяца я видела его пять раз, включая первую встречу, и каждый раз не больше часа, кроме первой ночи, конечно. Я никак не могла понять, зачем я ему нужна? Сперва я решила, что он использует меня в каких-то своих целях. Но в каких? Я обыскала всю квартиру, думала, здесь тайник, ничего не нашла.

— А с чего ты решила, что он бандит?

— Он всегда носит с собой ствол — пистолет «ТТ». Он мне его показывал, опять же, зачем, я не знаю. Причем внешне он очень мил, обаятелен. Шекспира любит. В первую нашу встречу он мне наизусть читал его сонеты, читал красиво. Я его очень боюсь. Я его не понимаю. Я думала, он просто стеснительный и скромный. Поначалу меня это завораживало, возбуждало: загадка, романтика. Он не требовал от меня ничего, он приходил с цветами и коньяком, читал сонеты, говорил о Шекспире. Я даже боялась приставать к нему первой — так все мне казалось романтично и невинно. В первую ночь мы до утра гуляли по Москве, я слушала его, он говорил. Даже не поцеловал. Я уже решила, что это и есть мой принц, мой рыцарь. Я порвала со всеми мужчинами, с которыми

встречалась раньше, до него... Мне, порой, казалось, что он невинен. Как-то мы с ним договорились о встрече, и я решила его поразить — подарить ему всю себя — *всю*. Денег у меня хватало — его денег, приходя, он всегда оставлял мне много денег, так вот, ожидая его, я застелила этот диван дорогим шелковым бельем, покрыла его лепестками роз...

Он пришел, полчаса посидел, дал мне пятьсот долларов, сказал, что очень спешит, дела, и ушел. Это была самая страшная моя ночь. Так меня еще никто не обижал. Я никогда не чувствовала себя так одиноко, как с ним. У меня всегда было очень много мужчин. А за последние два месяца только ты. Я два месяца берегла себя для него. А сегодня утром у меня возникло такое чувство, я точно поняла, для чего я ему нужна. Но это жестоко, я же женщина, а не кукла, которую раз в месяц достают из коробки, чтобы поиграться и засунуть обратно. Я даже не знаю, кто он, правда ли, что его зовут Вадим. Так ведь можно сойти с ума, да? — влажными, полными болезненной тревоги глазами смотрела она на Виталия, словно ожидая от него чего-то, будто он сейчас скажет то, что все ей объяснит.

— Больше всего я боюсь ночи. Одна. Чего-то жду — вот он придет... Я так больше не могу.

Забравшись на диван, она подползла к Виталию и, как испуганный ребенок, уткнулась лицом в его грудь, крепко обняв его, закусив губу, она беззвучно захныкала. Растеряно глядя Ларису по голове, Виталий только и бормотал:

— Ну, перестань, все нормально, — казалось, он больше утишал не Ларису, а самого себя. Мысль, что сейчас может войти этот мистический Вадим, у которого всегда с собой ствол... Виталия передернуло при этой мысли.

Вдруг тяжело вздохнув, Лариса отстранилась от него и, поджав по себя ноги, села на диван — как русалочка, только лицо ее было теперь не тревожно... лицо ее изменилось. Вытерев ладонями слезы, она отчетливо произнесла:

— Мы все умрем. Придет Вадим и убьет нас.

Вмиг Виталий оказался на полу.

— А сколько сейчас времени? — озираясь, словно ища чего-то, произнес он.

— Не знаю, может два, может три ночи, — она говорила спокойно и так, будто ее искренне удивляло, что Виталий так вот поспешно и суетливо, уже в коридоре, натягивал на себя джинсы и рубашку. Резкий звонок в дверь чуть не свалил его на пол. Замерев — точно Шива — с задранной левой ногой, застрявшей в штанине, одной рукой вцепившись в эту штанину, другой — в стену коридора, Виталий, казалось, перестал дышать.

— Мы ему не откроем, — уверенно прошептала Лариса.

Виталий не слышал ее, он слышал только свое сердце. Осторожно коснувшись ногой пола, он в ужасе смотрел на Ларису.

— Мы его не пустим, — и, хитро подмигнув, она широко улыбнулась, точно оскалилась.

Звонок в дверь повторился.

— А может, это и не он, — после паузы плечами пожала Лариса, — у него есть свои ключи. А может, он их потерял, — гадала она, усевшись на диване по-турецки.

После второго звонка прошла целая вечность — целых пять минут. Виталий ног не чувствовал от напряжения. По стене он сполз на пол и, тяжело дыша, тупо и бессмысленно смотрел на Ларису. Все, что ему сейчас хотелось, это удрать, быстрее, на вокзал, в поезд, домой, подальше от этого — о, как он понимал сейчас весь смысл этого вдальб-

ливаемого ему вчера Сашей Черкасовым слова — бессмысленного, *бес-смысленного* идиотизма.

Поднявшись с дивана, Лариса подошла к нему и села рядом.

— Ну, чего ты боишься, трусишка мой, зайка серенький, поцелуй меня, иди ко мне.

— Тебя что, это возбуждает?! — оторвав от себя ее руки, дрожа от страха, прошептал Виталий.

— Да-а, — странно смотря на него, произнесла Лариса, — мне очень нравится, когда ты боишься, ты становишься... таким... беззащитным, таким желанным.

— Я пойду.

— А вдруг он за дверью.

— Признайся, ты сумасшедшая?

— Да-а, — тем же тоном ответила она, — или ты раздеваешься, или я кричу, — поднявшись, она крепко схватила его за руку и потянула обратно на диван.

— Слушай, если у тебя есть деньги, пойдем что-нибудь выпить купим.

— Пойдем... только, — пронзительный, полный боли взгляд, — не убегай от меня. Я боюсь оставаться в эту ночь одна. Я погибну — как мама. Обещаешь мне?

— Да, — после долгой паузы кивнул Виталий.

Из подъезда они решили выходить по одному: первым Виталий. И... оказавшись на улице, осторожно, то и дело оглядываясь, он нырнул в темноту деревьев и дальше, уже не соображая, рысью — к вокзалу.

На востоке зарождался рассвет, но то, что наступает утро, Виталий увидел лишь, когда выскочил к трамвайному полотну и увидел прогремывавший мимо трамвай, полный ехавшими на работу людьми. Времени было около семи утра.

Не чувствуя ни усталости, ни... вообще ничего не чувствуя, кроме одного — скорее, скорее, скорее!!! на вок-

зал... Сунув женщине, стоявшей на входе возле турникетов, ведущих к платформе электропоездов последнюю десятку, Виталий прошел на платформу и, не чуя от радости ног, вскочил в отправляющуюся электричку «Москва — Узуново». Двери гулко захлопнулись. Звук выходящего пара, и, и!.. ну, же!!! Прислонившись к стене тамбура, Виталий облегченно выдохнул — электропоезд тронулся, и только сейчас Виталий обратил внимание, что на нем не было носок.

«Это уже не важно», — счастливо улыбаясь, подумал он, всматриваясь сквозь стекла дверей в предраассветную Москву.

9

Сняв вторую уже, пустую, пачку от сигарет, Лена в тысячный, наверное, раз посмотрела на часы: 07:05, — зелеными цифрами на черном фоне показывали электронные часы.

— Семь утра, — устало и как-то беспомощно произнесла она, — пять минут восьмого. Интересно, а во Владивостоке сейчас сколько... надо посчитать: двенадцать часов разница... семь ноль пять, нет, уже семь ноль шесть. Семь ноль шесть отнять двенадцать, будет... будет... — она на минуту задумалась, пытаясь решить эту неимоверно сложную сейчас для нее задачу, — сколько же будет? Семь ноль шесть минус... или нет — прибавить двенадцать. Получается: семь плюс двенадцать... Я так больше не могу; уже семь утра. Убили, наверное, — вскочив со стула, Лена выбежала из кухни, вцепилась в трубку телефона и на память, уже в который раз, стала обзванивать больницы и отделения милиции (только не морги, в это поверить! — она не могла себе

этого позволить) — она запомнила все эти номера наизусть.

Когда Лена проводила своего гостя, было всего лишь одиннадцать вечера, время, как говорится, еще детское, но не для ее Жени. В одиннадцать он всегда уже дома. «Наверное, с друзьями», — Лена была еще слишком счастлива. Ну, одиннадцать, ну, загулял, он взрослый мальчик... Когда зеленые цифры электронного циферблата показали: 02:00, — Лена, все это время убеждавшая себя, утешавшая, что мальчик уже взрослый, ну, загулял, ну пора уже... враз сорвалась с кресла в мгновение пронзившем ее ужасе. Не помня себя, стояла она в коридоре с телефонной трубкой в руке, пальцами другой нервно теребя листы телефонного справочника. Женья пропал, Жени нет, Женья не пришел домой... Где мой мальчик?!!

— Где собачка? Я хочу домой, я в тюрьму не хочу, я требую адвоката, я требую ... — Женья еще чего-то требовал, возмущался, лежа в грязи двора, где его бросил Черкасов, когда какая-то старушка заметила его и, подойдя, склонилась над пьяным мальчиком. К слову сказать, старушка не первая увидела Женю. Женья лежал в двух шагах от дворовой дорожки, по которой с того времени, как его оставил Черкасов, прошел не один десяток людей; большинство просто делали вид, что ничего не видят, хотя Женю, лупящего кулачками по траве, всякий раз обдававшего свое лицо брызгами грязевой жижи, чего-то говорившего, пытавшегося встать и падавшего, такое трудно было не заметить, но именно поэтому большинство его и не замечало — связываться с пьяным,

грязным, не исключено, что и обгадившимся, пусть даже и подростком, да хоть и ребенком, дело не благодарное; возиться с ним, пачкаться... да и к тому же помогать всякой сволоте (а приличный человек разве станет пьяным валяться где ни попадя), может, он ко всему прочему и больной какой — заразный; и не исключено, что вообще БОМЖ (до Белорусского вокзала рукой подать, а там этой сволоты приезжей...), а с этими ребятами связываться нормальному человеку совсем не прилично. А помрет, ему же лучше, отмучается, и ладно... И вообще, пусть милиция этим занимается.

— Сынок, ты как? — склонившись, участливо спросила старушка.

— Да милицию вызовите — и все, — так, мимоходом, бросил какой-то степенный мужчина, проходивший в это время мимо, бросил на ходу, может быть, даже и не надеясь, что его мудрым советом воспользуются.

— Так милицию, — обернулась на голос старушка, но увидела лишь спину, — милицию то надо, но пока она подъедет, он ведь простудится. — Сынок, — позвала она какого-то молодого человека, торопливо идущего навстречу, — сынок, помоги, а то вишь, — она указала на Женю.

Молодой человек, не говоря ни слова, взял Женю под мышки, отволол к ближайшей скамейке и, усадив его, так же молча заспешил своей дорогой.

— Оставьте меня... не-е трогайте, — возмущенно протянул Женя, — у меня мать — шлюха, — сказав, он сделал широкий взмах рукой, как при команде «пли!», и тут же свалился на землю.

— Ах, что же это, — старушка совсем растерялась.

Забрав под себя землю, точно поправляя подушку, Женя что-то еще промямлил и, замерзая, поджал под себя ноги.

Остановив двух подростков, старушка попросила их усадить «того мальчика» на скамейку.

— Хе! Гля, бухой, — усмехнувшись, парни усадили Женю на скамейку.

— Пацан, ты чей? — спросил один из них.

— Уйдите, не-е трогайте меня, — с трудом выговорил Женя и, разомкнув веки, мутно вглядываясь в парней, удивленно и с какой-то даже придурковатостью в тоне спросил: — А где Саша?

— Не знаю, — совсем развеселившись, ответил парень, — ты где живешь-то, пацан?

Женя не ответил, глаза его закатились и, откинувшись, он потерял сознание.

— Ну-ну-ну, — удержал его парень и, уже не шутя, сказал своему товарищу: — звони в «скорую».

Достав сотовый телефон, тот, не мешкая, набрал номер скорой помощи.

— Да, здравствуйте, у нас тут парень, пьяный... плохо ему... совсем плохо... в обмороке. Адрес? Какой у него адрес? — растерянно вытаращился парень на старушку. Старушка пожала плечами. — Не знаю, — нервно крикнул он в трубку, — на улице он, я с сотового звоню... да не кто я ему... прохожий, да... Откуда я знаю, есть у него полис или нет... я... я что, по карманам у него шарить должен? Какую еще платную... да не кричу я на вас, с чего вы взяли, что я вам хамлю, ему пло... да откуда я знаю?!!! — вскричал он. — Что вы меня парите, я вообще его не знаю... Да пошли вы!!! — проорав последнее, он отключил телефон. — Полис, милицию, говорят, вызывайте, платная «скорая», ни хрена я не понял.

— Приедут? — смотрела на парня старушка.

— Ни хрена они не приедут, только деньги зря потратил! На счету два бакса было, а теперь и того...

— А, может, в милицию, — предложила старушка.

— Знаешь что, бабушка, — нервно воскликнул парень, — благими намерениями проложена дорога в ад. Я и так впустую деньги потратил, а если еще милицию буду вызывать, и, не дай Бог, он помрет, — парень кивнул на бесчувственного Женю, — звони бабушка сама, откуда хочешь и сколько хочешь. Пошли, — скомандовал он своему притихшему товарищу, и подростки, не оглядываясь, торопливо, совсем как какие-нибудь преступники, заспешили от греха подальше.

— И что же теперь, — ничего не понимая, прошептала старушка и вдруг неожиданно звонко закричала:

— Помогите! Люди, помогите! Ребенок умирает.

— Нет, нет, не хочу умирать, не хочу-у..

— Тихо, тихо, чего ты, маленький, не умрешь, все хорошо.

Женя открыл глаза. Тускло светил голубой свет больничных ламп. Женя лежал на кровати, от его руки тянулась капельница, и из бутылки, державшейся на железной стойке, по длинной тоненькой пластиковой трубке капала прозрачная желтоватая жидкость.

— Все хорошо, — мягкий, успокаивающий голос. Женя поднял глаза. Девушка в белом халате стояла рядом и ласково улыбалась, с тревогой вглядываясь в пришедшего в себя мальчика. — Как тебя зовут? — спросила она, улыбаясь.

— Я в больнице? — вглядываясь в девушку ничего не понимающим взглядом, прошептал Женя, с трудом ворочая пересохшим языком.

— Да, все хорошо, — отвечала девушка, — я сейчас позову доктора, — и, раза два оглянувшись в Женину сторону, она вышла из палаты.

— А Саша... здесь? — чуть слышно вслед ей прошептал Женя. Ничего не понимая, он бессмысленно смотрел в белый оштукатуренный потолок.

«В больнице», — мысль возникла и исчезла, как и все, что возникало сейчас у Жени в голове — мутно растворилась в болезненной пелене. Женя даже не силился что-нибудь вспомнить; полная, тяжелая усталость владела им, не давая сил напрячься и что-либо понять. От усталости веки его опустились, сизая рябь заволокла глаза, и Женя вновь провалился в тревожное забытие.

Крики старушки о помощи подействовали, через каких-нибудь полчаса Женю уже вносили в машину «скорой помощи». К этому времени у него начался сильный жар. Всю дорогу до больницы Женя бредил, бессвязно бормоча, что «сам он ни в чем не виноват, что все это Саша, и его идея: все бессмысленно, и все умрут...»

— Во, пацана колбасит, — усмехнувшись, заметил медбрат, молодой белобрысый парень, но усмешка его была нарочитая, ненатуральная, словно этой усмешкой он самого себя подбадривал; это был его первый выезд. Всю дорогу он старался шутить и даже с Женей пытался разговаривать, спрашивая его: — Что, брат, идея подвела? Террорист, значит, ты у нас. Ринат Басаев, значит? Ну-ну.

— Надоел, помолчи, — осадил его врач, женщина пожилая и видно сильно уставшая. Болтовня молоденького

медбрата ее раздражала, а когда тот спутал Дасаева с Басевым, так и вовсе разозлила, — за больным лучше следи, умник», — тихо рывкнула она на медбрата и, открыв окно, нервно закурила. Она уже собиралась домой, когда случился этот вызов. «Ушла бы на пять минут раньше, дома была бы уже», — в сердцах досадовала она, — теперь и кино просмотрела, и этот еще, балбес белобрысый», — очень ее злило, что задержалась на работе на пять минут. Пожав плечами, медбрат замолчал, хотя чего было «следить», он не очень-то и понимал: Женя хоть и бредил, но бредил тихо, без метаний, так что, чего было следить за ним... И парень ограничился тем, что протер ватным тампоном вспотевший Женин лоб.

— Ну, и кто это, что это, что это, кто это? — скороговоркой произнес дежурный врач, когда вошел в приемное отделение, где лежал Женя.

— На улице лежал; пьяный, ко всему прочему, а *кто это, что это*, — передразнив дежурного врача, ответила врач «скорой помощи», — этого я не знаю. Предположительно, пневмония, — заключила она и, соблюдая все формальности, покинула приемное отделение.

— Он идейный, революционер, — вставил-таки медбрат и, усмехнувшись, последовал за своим врачом.

— Революционер, значит, так, так, так. Зина! — крикнул дежурный врач медсестру, записывая что-то на листе бумаги. — Его ко мне в палату, вот капельница, — он протянул ей листок, — а как очнется, на рентген.

— Очнулся, говоришь, — произнес дежурный врач, когда он вместе с медсестрой, той самой ласковой девушкой,

входил в палату, где лежал Женя. Сев на стул возле Жениной кровати, врач посмотрел на Женю. — Ну, и кто вы, что вы, что вы, кто вы, — привычной скороговоркой произнес он. Женя открыл глаза. — Вот и хорошо, — увидев это, произнес врач. — Ну, рассказывай, революционер, кто ты и по какому такому поводу напился?

Собравшись с силами, Женя, наконец, разглядел врача: высокий, широкоплечий, розовощекий, чему-то улыбающийся, и глаза прищуренные и какие-то пытливо-требовательные.

— Я не виноват. — Разомкнув губы, тихо прошептал Женя.

— Ну, это мы еще посмотрим, — не известно к чему заметил розовощекий доктор и спросил: — Как зовут-то тебя?

— Женя, — после долгой паузы ответил Женя.

— Уже полдела. — С облегчением произнес доктор и кивнул медсестре, которая сразу что-то записала в своем журнале. — Давай, Женя, не торопись, — смягчившись, продолжал доктор, — и рассказывай, главное, где живешь и домашний телефон, а то родные твои с ума уже, наверное, сошли.

— Это все Саша, словно и не услышав вопроса, отвечал Женя, — он страшный человек, он преступник. Он еще что-нибудь сделает. Его надо остановить. У него идея. Все бессмысленно... и всех... надо убить...

— Вот тебе, бабушка, и Юрьев день, — уже серьезно произнес доктор и, тронув Женю за плечо, настойчиво продолжил: — Здесь поподробнее: кто такой Саша, где он...

— Черкасов, на выдохе прошептал Женя, — он и я... нет, он, а я просто ударил, потому что не хотел. А он хотел. Он ее заманил в дом, а потом изнасиловал.

Через полчаса доктор сидел в ординаторской возле телефона и набирал номер своего бывшего одноклассника.

— Костян, здорово, — услышав, что на том конце взяли трубку, нарочито спокойно произнес доктор, — это я, Степа. Ну, и что, что семь утра, пить надо меньше, нормальные люди давно завтракают. У тебя вчера было заявление об изнасиловании и ограблении?.. Нормальный вопрос, как раз в семь утра такие вопросы и задают. Костян, не нуди, если я звоню, значит, все серьезно, — с видимой досадой и, теряя свое деланное спокойствие, воскликнул доктор, — говори, было или не было. Было?! Хорошо! И скажи, это была молодая девушка, а преступники подростки? Да?! В каком районе это было?.. Да?! Отлично! С тебя, Костян, коньяк. Один у меня сейчас в палате... вот тебе и «Да».

10

В это утро Саша Черкасов проснулся рано, совсем еще до темноты; и было отчего. Эту ночь он спал беспокойно. Вдруг, среди ночи, он вскочил с постели, и, нервно укрывшись в простыню, зашагал туда-сюда по комнате. Сна как не бывало, было какое-то тревожное, дремотное состояние, мысли то ли наяву, то ли во сне долбили Сашину голову, возвращая его во вчерашний день, заставляя теперь по-новому переварить все те *бессмыслицы*, которые он натворил, точно в пьяном бреду.

— Что я наделал-то... — шептал он, нервно шагая по комнате, — что ж теперь будет... Обойдется, — резко осаживал он сам себя, валился на постель, но тут же вскакивал.

Эта тревога (сначала, как ему казалось, необъяснимая — если только от усталости) появилась в нем еще вчера, когда он, раздражаясь (и больше раздражаясь на свое необъяснимое тревожное раздражение), скоро шел домой.

Да, что-то выходило не то, точнее, не совсем то. *«Просто мне все надоело»*, — решил он и оттого пришел в еще большее раздражение.

В тот час, когда он так резко ушел от Виталия Андреевича и направился в сторону Никитских ворот, Саша вел себя так, словно точно был уверен, что ему смотрят в спину. Какая-то мальчишеская гордость, даже дерзость, охватила его, он, как струну, вытянул спину, подбородок надменно вздернул вверх, — таким Сашу должны видеть — таким он бы сам хотел видеть себя — стройный, дерзкий и гордый, даже величественный. Но вскоре ему это надоело; Виталий Андреевич остался далеко позади, а больше ему рисоваться было не перед кем. Плечи его опали, устал шел он, засунув руки в карманы куртки. Ему все надоело — вся эта бессмысленная идея какой-то там бессмысленности. *«Действительно, какая-то бессмыслица. Еще посадят за нее»*, — эта мысль так ясно возникла, и, возникнув, уже не отпускала его. Саша испугался. Мало того — он понимал, что он испугался.

Изнасиловал.

Ограбил.

Разбил витрину.

— Ё-мое, — в страхе чуть слышно вымолвил он и, озираясь, вышел на небольшую пустынную улочку, — хорошо, что еще не замели. — Вздрагивая, лихорадочно сообщал он, торопливо шагая в сторону метро «Краснопресненская». «Хватит, — нервно озираясь он то и дело, — хватит, пошалили и хватит. Там ведь никто разбираться

не будет: идейный — не идейный... Только в руки себя сейчас возьми, а то при виде первого мента и выдашь себя...»

Он обернулся. Нет — никого нет, он в безопасности, он один. *Один?!!* — весь ужас отобразился в одном этом слове. Женек... Его же теперь схватили и... Все. Зайдя в какую-то арку какого-то двора, он опустился на лавочку. Все... «Но нет, — воспрянув, мысленно воскликнул он, — нет, я ни в чем не виноват. Деньги-то я выбросил, главную улику-то я выбросил! Я скажу, что она сама, у меня есть свидетель, Женек, ей было хорошо — она сама это говорила, я несовершеннолетний, я ее не... она сама! Женек мне друг, он единственный, кто меня понимает, он... тряпка!»

Уже решительно, он быстро зашагал в сторону своего дома, нервно теребя лежавший в правом кармане ножик (он будет защищаться, он живым не дастся, он в тюрьму не пойдет). Никаких метро, никаких автобусов, никаких людей. Временами он вздрагивал, сильнее сжимал ножик, когда видел какого-нибудь подозрительного прохожего быстро переходил дорогу или сворачивал во дворы, или (если дверь была не заперта) прятался в каком-нибудь подъезде. Спрятавшись же в подъезде, чего-то ждал, тревожно выглядывая из окна. Вдруг быстро выскакивал на улицу и бежал. Вот уже Краснопресненские пруды, вот уже до его дома оставалось совсем чуть-чуть... Навстречу шел невысокий, очень толстый юноша, шел неторопливо и часто затягиваясь курил, недалеко отводя сигарету, только лишь чтобы выпустить дым, и вновь затягивался. Подходя к Саше, юноша широко, совсем, как младенец, смотрел на него, смотрел удивленно и улыбаясь всем лицом — точь-в-точь, как грудной младенец. Это был Кеша, местный сумасшедший. Саша с ним даже не здоровался хотя,

когда Кеша встречался ему, Кеша всегда улыбался и смотрел на Сашу так, будто ему очень сильно хотелось, чтобы Саша с ним поздоровался (впрочем, Кеша смотрел так на всех). Каждый вечер он выходил из своего подъезда и, гуляя вокруг дома, курил. И, не зная почему, Саша поздоровался с ним.

— Здравствуй, Кеша.

Кеша остановился, он не ответил на приветствие, лишь взгляд его стал удивленно ласковым. Тяжело дыша после быстрой ходьбы, стоял Саша и прямо смотрел Кеше в глаза. Их молчаливое созерцание друг друга длилось минуту. Наконец, Черкасов не выдержал:

— Ну, чего ты молчишь? — тихо и очень нервно сказал он, глядя на Кешу. — Ну, скажи что-нибудь.

Улыбнувшись, Кеша показал свои ровные белые зубы. Было ему тридцать лет. Тринадцать лет назад это был совершенно нормальный, крепкий юноша, только поступивший в Бауманский институт. Кеша сошел с ума сразу, в одну неделю. Тринадцать лет назад Кеша сидел со своим ровесником и лучшим другом, Серегой, возле Серегиного подъезда, о чем-то весело трепались, хлопали друг другу по плечу, смеясь, говорили: «Да ладно, да ты гонишь, да я не верю». — «Ах, так! Да я тебе клянусь!» — «Брехня, гонишь ты, Серый!» — «Я гоню? — Серега, вскочив с лавочки, стал в боксерскую стойку, легко ткнул кулаком Кешу в грудь. — Да я тебе за такие слова, знаешь, что, понял! Ха-ха-ха!» — и снова ткнул Кешу в грудь. «Убью, зараза!» — смеясь, воскликнул Кеша, и ткнул Серегу в грудь. Охнув, Серега согнулся и рухнул на асфальт. Удар хоть и оказался не сильный, но случился на вдохе и вошел точно в сердце.

Кешу не посадили. Тем же вечером у него случился нервный срыв, его отвезли в больницу. За месяц в больни-

це он сразу оплыл, потолстев на двадцать килограммов, и замолчал. Во дворе его все жалели и, пожалуй, больше всех мать Сергея. Порой, встречая его на улице (домой она не заходила к нему ни разу), она незаметно клала ему в карман пачку сигарет, купленных специально для него, и говорила негромко: «Я не виню тебя, Кеша, знай это, я не виню тебя», — и быстро уходила.

— Ну, чего вот ты молчишь? — вновь повторил Черкасов и вдруг сам ответил: — А я знаю, почему ты молчишь. Ты до сих пор о Сереге думаешь, да? Ведь все бессмысленно случилось, по глупости, не нарочно. Ты же не хотел, ведь так? А я вот хотел, понимаешь ты, я то хотел, вот в чем вся соль: моя-то бессмысленность осмысленна, понимаешь ты это?!

Ласково заглядывая на Черкасова, Кеша кивал в такт его словам.

— Дурак ты, Кеша.

Наивно улыбаясь, Кеша продолжал кивать.

— Вот чего ты киваешь? Ты разве понимаешь, о чем я говорю?

Кеша не останавливаясь, кивал.

— Ничего, ты не понимаешь.

И здесь Кеша кивал. Казалось, ему просто нравилось, что с ним говорили, он всем кивал, кто с ним заговаривал, кивал и наивно-удивленно улыбался точь-в-точь как грудной младенец.

— Я тебя ненавижу, Кеша, — неизвестно почему в раздражении произнес Черкасов и, не оглядываясь, зашагал к подъезду.

Вбежав на второй этаж, он дрожащими от волнения руками достал из кармана джинс ключи и открыл дверь.

Когда он вошел в квартиру, все были дома: отчим, как всегда, после работы ужинал в большой комнате, сидя в

кресле, склонившись над тарелкой, стоявшей на его коленях, и смотрел телевизор; мать лежала на диване и читала.

— Сашенька пришел, — услышав, как сын закрыл за собой входную дверь, мать сразу отложила книгу и поднялась с дивана. Высокая, чуть полноватая, с правильными и красивыми чертами лица и такими же, как у сына, глубоко-кариими глазами. Ей было тридцать пять, но выглядела она гораздо моложе.

Стараясь не смотреть матери в глаза, Саша торопливо разделся, стянул ботинки, позволил матери чмокнуть себя в щеку, что она делала всегда при встрече с сыном, и, все так же пряча взгляд, пошел в ванную.

— У тебя все нормально? — спросила мать.

— Да, — не глядя на нее, ответил Саша, закрывая за собой дверь в ванную.

Защелкнув шпингалет, он долго и пристально смотрел на себя в зеркало. Разгоряченное тревогой лицо, губы плотно сжаты, глаза сурово прищурены. Невольно Черкасов даже залюбовался собою. Но, быстро прогнав это, он, продолжая вглядываться в свои глаза, беззвучно промолвил: «Соберись, Александр, ты сильный, ты умный. Слабость — вон, нет слабости. Ничего же не случилось. Сейчас умойся, успокойся (мать не должна тебя таким видеть), позвони Жене, и... все нормально».

После такого аутотренинга он отвернул на всю катушку вентиль холодной воды и, набирая пригоршнями воду, хлестко и тщательно умылся, оставив после себя лужи воды на кафельном полу. Ледяная вода взбодрила. Вытерев пол и вымыв после руки, он, уже с видимым спокойствием, покинул ванную.

Мать ждала его на кухне; она сидела за обеденным столом, на котором уже стоял горячий ужин. Все было

уютно и мило: на столе розовая скатерть, слева от Сашиной тарелки лежала вилка, справа ножик, рядом салфетница, где милым букетиком торчали розовые салфеточки. Вообще, вся кухонька была уютная, розовая и милая. На стенах маленькие картиночки в рамочках, вьющиеся цветы под самым потолком в красивых горшочках, декоративные разделочные досочки, розовенькие шторы на окне, на подоконнике фиалки, и нигде ни пылинки.

Саша вошел в кухню улыбаясь, но все также пряча взгляд; как он ни старался — посмотреть прямо матери в глаза он не мог. Досадуя на это, он сел за стол напротив матери и с каким-то озверением принялся уничтожать куриный окорочок. Шумно ворочая челюстями, он и сам удивлялся этому внезапному приступу голода. Еще минутоу назад голода не было и в помине, Саша даже не представлял себе, как он вообще сможет есть. Но только он взял в руки куриную ляжку и нехотя укусил ее, как голод резко выскочил откуда-то из глубины желудка, и уже без всяких приличий Саша рвал зубами эту ляжку, жадно, почти не жуя, глотал куски сочного, с хрустящей корочкой, мяса, следом пихая в рот нанизанные на вилку соломки жаренного картофеля и все это заедая ломтем бородинского хлеба.

С голодом прошла и тревога. Отдышавшись, вытерев салфеткой рот, Саша откинулся на табурете и, спокойно и долго, посмотрел прямо матери в глаза.

— Спасибо, мамуля, о-очень вкусно! — протянул он, улыбаясь.

— У тебя все нормально, сынок? — видя довольное лицо сына, словно в подтверждение этому, спросила мать.

— Да, мамуля, у меня все нормально, — повеселев, ответил ей сын и, в доказательство своих слов, он поднялся

из-за стола и, предварительно вымыв в мойке руки и насухо вытерев их розовеньким полотенцем, подошел к матери, крепко обнял ее и поцеловал в щеку. После вернулся на свое место и, уже не торопясь, стал пить горячий сладкий чай.

Не было воспоминаний, не было теперь дурных мыслей. На минуту только возникли и то лишь, казалось, для того, чтобы Саша удивился, как его все это теперь не волнует. Даже первый порыв позвонить и справиться, дома ли Женя, стал полным вздором. «Дома, конечно, дома, где же ему еще быть? И хватит об этом. Даже если не дома... и... хватит об этом!» — досадливо злился он на самого себя. Он, Саша, дома, в тепле, сытый, все хорошо; мать вот сидит рядом и что-то рассказывает. А все остальное — вздор! Этот день закончен. Ничего не было. Словно сон. Ничего не было. И чтобы совсем забыться, Саша со вниманием стал вслушиваться в особенно приятный ему сейчас мягкий, чуть низкий голос матери.

В сущности, ничего особенного мама и не говорила; как всегда, сидя вечером с сыном на кухне, она рассказывала, как провела день, что интересного и забавного видела она и слышала в магазине или в метро (отчим зарабатывал достаточно денег, и мама Саши Черкасова занималась исключительно домашним хозяйством). Рассказывала подробно и с удовольствием. Рассказывала о двух собачках, которые всегда радостно виляют хвостиками, видя ее, и всякий раз ждут ее, потому что она всегда покупает им колбаски.

«Они такие милые, — говорила мама, — такие счастливые, когда видят меня; а рыженькая, наверное, скоро ощенится. Я вот не знаю, как щеночки ее зиму-то переживут, я, думаю, их надо в наш подъезд принести, возле окна, у батареи коробочку им можно поставить, тряпочку чистень-

кую постелить. Как ты, Сашенька, думаешь, правильно, ведь так?»

Саша, соглашаясь, кивал и вдруг, неизвестно к чему (по крайней мере, не к месту перебил маму на полуслове), он, вдруг странно, и как-то болезненно вглядываясь в мать, спросил:

— Мама, ты меня любишь?

— Конечно, — сразу и ласково ответила мама.

— Я тоже тебя, мама, люблю! — но сказал он это как-то слишком нервно и болезненно. Тревога показалась в маминых глазах. Саша увидел это.

— Мама, все хорошо, — воскликнул он, — это я так, нашло что-то, все хорошо, мама...

Как-то, копаясь в шкафу в кладовке в поисках каких-то своих тетрадей, Саша наткнулся на дневник матери. Долго не мог он открыть и прочитать его. Страх — увидеть в этом дневнике что-нибудь *такое*, что-нибудь очень личное, и что могло... Словом, нелегко ему было заглянуть в самое личное... но как хотелось... И каково же было его удивление, даже больше, умиление, когда он наконец-то решился и прочел его. Саша искренно веселился той наивности, с которой его мать описывала свои чувства, чувства девятнадцатилетней девушки, и тут же удивлялся: неужели в девятнадцать лет можно переживать первый поцелуй, прогулки под Луной, держась за руки и говоря о поэзии Блока. «Так не бывает, — мысленно восклицал он, когда, оставаясь один дома, доставал из-под кровати дневник и читал его, — это какой-то девятнадцатый век. Это какая-то... тургеневщина».

«... Он держал меня за руку, мы стояли в беседке в парке Горького, смотрели на реку. А по реке плыл прогулочный катер. Было тепло и хорошо. Я смотрела на людей — как они веселились, танцевали (наверное, они что-то праздновали и наняли по этому поводу катер). Им было хорошо и весело. Но я была почему-то уверена, что им было хорошо, потому что мне было хорошо. Он держал меня за руку. И тут мне очень сильно захотелось, чтобы он обнял меня крепко-крепко. И я совсем не удивилась, что когда только подумала об этом, он сразу меня и обнял. И поцеловал. Это было так странно. Вечер, чистое звездное небо. Я ведь никогда до этого не целовалась, и мне даже не было стыдно, вот нисколечко, ни чуть-чуть. И даже то, что на нас смотрели. И пусть, что смотрели. И у него был такой счастливый взгляд. И я поняла, что это любовь. Потом он проводил меня домой. Но мы не сказали друг другу ни словечка, мы были так счастливы, что нам не нужны были слова. И уже возле моего дома мы стояли долго, молча, глядя друг другу в глаза, не сказав друг другу ни словечка. А потом, когда я пришла домой, почему-то мне очень захотелось плакать — от счастья, я и плакала, вспоминая его губы и свой первый поцелуй».

(Этот «он», как Саша сразу понял, и был его, Саши Черкасова, отец.)

«...Я не хочу делать аборт, — через силу, стыдясь написанного, прищурившись до слез, но все равно читал Саша. — Пусть он бросил меня, пусть все говорят, что я дура, пусть. Да, он не любил меня, ну и что, но я-то любила и, наверное, сейчас люблю. А меня заставляют делать аборт. Даже мама заставляет. Но ведь этого нельзя... так нельзя. Я не хочу убивать своего Сашеньку, я знаю, у меня родится Сашенька, мальчик, и он будет самым счастливым человек-

ком на всем белом свете. Его будут все любить. Он будет самым умным, самым красивым. Разве я могу убить такого человечка?»

Ясно он увидел сейчас, сидя на кухне, напротив матери, эти слова, каждую строчку, каждую букву. И это: «Мама, ты меня любишь?» — вырвалось само собой, как в продолжение этих внезапно возникших в его памяти слов.

— Знаешь, мама, — произнес он вдруг неожиданно серьезно и не по-детски вдумчиво, — знаешь что, мама, а ведь я *не самый счастливый человечек*. Я преступник, мама.

— Что ты, сынок, — лицо ее изменилось, — что ты такое говоришь?

— Ты что, мама, я же пошутил! Ты чего, я же так, ляпнул, и все, как тот художник: «Бей жидов, спасай Израиль!» Я это ляпнул, понимаешь ты, ляпнул! И все, — точно опомнившись, воскликнул Саша, бросившись к матери. Крепко обняв ее, он в каком-то даже припадке шептал: — Мама, я же пошутил, мы живем в раненой стране, так Виталий Андреевич сказал, я же это так, я это сам не знаю зачем. Понимаешь, мы живем в раненой стране. Я понял, мы, как подранки. Ладно, я устал. Я спать хочу. Я завтра тебе все расскажу — честно-чесно! — все расскажу. Только не подходи ко мне сейчас. Я тебя очень сильно люблю мама, очень-очень. И это главное. Все, до завтра. А щенков приноси, я их кормить буду, все, я спать, — он вышел из кухни в свою комнату, плотно заперев за собой дверь.

— Что случилось-то, — тихо, в каком-то замороженном ужасе, еще толком ничего не понимая, но, *чувствуя*, под-

нялась она из-за стола, — что с Сашей-то моим случилось, что случилось-то? А ведь случилось, — произнесла она уже с ужасом, — ведь случилось.

Она вышла из кухни, остановилась возле двери комнаты сына. Но даже постучать не решилась — подняла руку, а постучать не решилась — так и опустила руку. Бледная, она вошла в большую комнату.

— Что-то с Сашей случилось, — тревожно вглядываясь в мужа, негромко произнесла она.

— Все нормально, — ответил ей муж, протянув пустую тарелку, — ему шестнадцать лет, в этом возрасте чего только не случается. Может, он влюбился.

— Если бы так, — взяв у мужа тарелку, негромко, сама себе, произнесла она и бессмысленно уставилась в телевизор, где какой-то жизнерадостный мужчина со вкусом рассказывал, как жарить камбалу.



Саша проснулся резко, совсем еще затемно; вскочив с постели, он быстро зашагал по комнате.

— Я ни в чем не виноват, — одними губами шептал он, — ни в чем не виноват, — бормотал, нервно смотря на стены. — Ни в чем, — прошептал он, остановившись взглядом на огромном плакате, с которого спокойно смотрел на него лик, косо перечеркнутый надписью *NO FUTURE!*

— Я ни в чем не виноват, — зло прошептал он, глядя в спокойные глаза лика.

Замерев, он прислушался, ему показалось, что в комнате, где спала мать, его подслушивают. На носочках, дойдя до постели, он осторожно, о-очень медленно сел на кровать, кровать предательски громко скрипнула.

— Саша!

— Саша!.. Сережа, — она бросилась обратно к себе в комнату, — Сережа, Саша... ушел!

— Снег, — вырвалось у Саши само собой — он вымолвил это негромко, с неожиданной, неизвестно откуда возникшей в эту минуту нежностью, — снег, — повторил он и... заплакал, даже не заплакал, а слезы лишь выступили, и спазм схватил горло. Но Саша поборол это чувство, утерев ладонями слезы и не позволяя им выступить вновь. Так спокойно стало. — Пусть, — бормотал он негромко, — пусть, — повторял он, наблюдая крупные белые-белые хлопья снега, медленно падавшие на землю. — Пусть, — глубоко вздохнув, словно очистившись, выдохнул он. Спазм отпустил горло, внутри все утихло. Легко шел теперь Саша, ладонями ловя падающие снежинки, и шептал: — Я сам

пойду в милицию, я сдамся, я совершу это, и пусть это бессмысленно, я все равно это совершу.

Ему представился суд. Он, Александр Черкасов, в наручниках, стоит в клетке, охраняемой вооруженными милиционерами. За длинным черным столом сидят судьи. В зале, битком набитом, зрители, журналисты, все телевизионные каналы. Ему зачитали приговор (он отказался от адвоката, он согласен с приговором, он не собирается защищаться и оправдываться), его обвинили и приговорили к пожизненному заключению. Нет! — к смертной казни. И вот, ему предоставили последнее слово. В зале тишина. Мертвая тишина. Все видеокамеры направлены на него. Он выдержал паузу. Нет, он несколько не испугался приговора, его лицо спокойно и торжественно — он знает, за что идет на смерть. Он находит взглядом мать. Она тихо плачет. «Не плачь, мама», — говорит он ей негромко. Потом он смотрит на судьей. Смотрит открыто, смотрит не боясь, и судьи отводят глаза, они не могут вынести этот прямой и сильный взгляд.

— Вы думаете, все то, что я совершил, бессмысленно? — говорит он спокойно и вкрадчиво. — Вы ошибаетесь. В этом мире нет ничего бессмысленного и нет ничего случайного, — он выдержал паузу. В зале ни звука. Все, замерев, ждут, что он скажет дальше. Вы думаете, что я преступник, — произносит он, взглядом ища глаза главного судьи, — вы ошибаетесь. Я всего лишь сын своего времени и своей страны. А какое время, таков и сын. Мы живем в раненой стране, где время замерло в болезненном ожидании — что будет дальше — выживем ли. Выживем — говорю я вам. *Мы* — выживем. Мы, подранки, злые и беспощадные. И нас много. Вы думаете, что, убив меня, вы обезопасите себя? Нет. Я уже чую запах крови. Запах новой

крови — новой идеи. Мы — Татуированные Макароны. Мы — Бессмысленны. И с нами придет Революция — бессмысленная и беспощадная.

...Саша и не заметил, как рассвело. Словно очарованный, шел он по грязной, хлюпающей земле; снег давно перестал падать и растаял. Теперь даже с гордостью шел он и смотрел в лица прохожих. Они еще узнают кто он, они еще услышат...

— Давай, вставай! Давай, вставай! Я прошу вас, помогите, пожалуйста! — молодой парень в болоневой куртке и в фиолетовой вязаной шапочке с надрывом, пьяно ревел, дергая за рукав пальто своего товарища, лежавшего возле стены дома, другой рукой взывая к проходящим мимо людям:

— Помогите, пожалуйста! Ему плохо, помогите, пожалуйста!

Люди шарахались от него, парень был сильно пьян. Лицо и руки его были выпачканы грязью, слезами и кровью. — Помогите же, люди!!! Нас убивали! Нас хотели убить, помогите, пожалуйста! Суки, бляди, чтоб вы все сдохли, люди!!! Я вас всех ненавижу, люди. Вставай Витя, вставай, они все бляди, все суки, вставай. Пожалуйста.

Оторвав от земли окровавленную голову, Витя неожиданно ясно и зло произнес, глядя на державшего его за рукав пальто своего товарища:

— Пошел ты в жопу, Вова, ты говно и придурок. Я тебя ненавижу, урод, все из-за тебя, пошел ты в жопу, придурок, — и, вновь уронив лицо в грязь, заплакал, пьяно скуля: — Ты урод, ты придурок, я тебя ненавижу, урод, все из-за тебя...

— Я придурок?! Я урод?! Да я спасти тебя хотел, сука! — Вова вдруг зло и с размаху всадил ногой Вите в живот. — Сука, я придурок?! Да я спасти тебя хотел, я помочь тебе

хотел, я на помощь звал, ты же друг мне. Я — придурок?! И после всего этого, я — придурок?! — пьяно ревел он, ладонями утирая слезы и ногой всаживая в Витю крепкие пинки. — Я? Придурок?!..

Люди торопливо проходили мимо. Заморожено, стоя в трех шагах от этих двух пьяных парней Саша смотрел на них.

— Что смотришь, петух? — заметив Черкасова, рывкнул ему друг Вити.

— Ты просил помочь... — это прозвучало так нелепо...

— Я сейчас помогу тебе, урод! — и парень бросился на Черкасова, но, споткнувшись, растянулся на асфальте. — Стой, — шипел он, поднимаясь с асфальта. Но Черкасов, уже не оборачиваясь, скоро шел прочь; очарованность его как водой смыло. До начала уроков оставалось минут сорок, нужно было увидеть Женьку и узнать, что да как — теперь его это очень сильно волновало. Он шел в школу.

Следователь, Константин Владимирович, высокий тридцатилетний и довольно тучный молодой человек с опухшими, красными, после бессонной ночи, глазами, сидел за кухонным столом. Напротив него, бледная, сидела мама Саши Черкасова. Два опера лет двадцати семи стояли возле окна, один курил, стряхивая пепел в горшок с фиалками.

— Я ничего не понимаю, — бормотала пересохшими губами мама Саши Черкасова, — он убежал из дома... было половина седьмого... я ничего не понимаю. Он преступник... мой Сашенька преступник? Это ошибка...

— Куда он мог пойти? — негромко, но настойчиво перебил ее Константин Владимирович.

— Я не знаю.... я ничего не понимаю... Он хороший мальчик, он очень добрый, он щенков собирался в подъезде приютить и кормить их...

— Все-таки, куда? — настойчиво и подчеркнуто вежливо вновь перебил ее следователь.

— Я не знаю, у него сейчас уроки... он никогда не пропускает уроки... вы ошибаетесь, он хороший, он цветы всегда поливает...

— Ладно, — Константин Владимирович тяжело поднялся, — спасибо вам. Валера, — он кивнул на курящего опера, — останется здесь. Вы не волнуйтесь. Пойдем, — кивнул он второму оперу и, выходя, сказал Валере, который, уже докурив, открыл форточку и собирался выбросить окурочек на улицу, — если что, звони мне на мобилу.

— Хорошо, — кивнул тот и, бросив окурочек, закрыл форточку.

— Ну, что, куда сейчас? — спросил следователь у опера, когда они выходили из подъезда дома, где жил Черкасов.

— Я, думаю, в школу зайти, — неуверенно предложил опер, невысокий светловолосый парень с очень цепкими бледно-синими глазами.

— А я думаю, в магазин, — сурово заключил следователь, — все равно этот Черкасов дальше своего дома не убежит, а с такой головой я никуда не пойду.

— Вот это *настоящая* идея, — усмехнувшись, поддержал опер. — Слушай, Костик, — заговорил он, когда они шагали к магазину, — а мамаша у этого Черкасова ничего, как ты думаешь, Валерка... а?!

— Я думаю, что нужно брать темное пиво, — совсем сурово ответил следователь.

— Костик, пошли в кафе, на улице по такой погоде пиво как-то стремно пить, — кивнул опер на небольшую забегаловку.

— Пошли.

И они вошли в двери забегаловки.

— Ху-у, — облегченно выдохнул Костик, разом осушив бутылку темного пива и, достав сигареты, закурил. — Давай по второй, — он протянул оперу деньги, — Дима, только темного.

Кивнув, опер подошел к бару. Через минуту он вернулся с двумя бутылками пива.

— Я вот только одного не понимаю, — говорил опер, доканчивая вторую бутылку, — какого хрена — идея какая-то? Ну, трахнул он бабу, ну, лаве с нее снял, какого хрена идея-то? Они что, эти малолетки, совсем сбрендили? Этот, который в больнице, ты вот ездил к нему, я вот так и не понял, чего он нес, про какую-то бессмысленность, какие-то макароны, может, у него с головой, того, — опер крутанул пальцем у виска.

— У них сейчас у всех с головой того, — отвечал Костик. — Ладно, время уже одиннадцатый час, пойдем, у меня сегодня помимо этих *идейных* работы валом.

Два первых урока Саша не знал, куда себя деть — Жени в школе не было. Особо не разговаривая ни с кем из пацанов, лишь коротко отвечая на приветствие рукопожатием, Черкасов на каждой перемене выходил на улицу и ждал, что Женя вот-вот, вот сейчас войдет в школьные ворота и...

Прошли уже две перемены. Чего только Черкасов себе не надумал... Нервно бледный, обходя компании

пацанов, возвращался он в школу и высиживал урок, ничего не слыша и ничего не понимая. Две двойки схватил он. Его спрашивали, он поднимался, тупо всматриваясь в учителя, выслушивал вопрос, но не произносил ни слова. Что учитель литературы, что географии недоумевали: такое с Черкасовым творилось впервые (даже не зная урока, он, обычно, все равно что-нибудь да говорил, невпопад, не в тему, но говорил; но так, чтобы ни слова...).

На большой перемене, только она началась, к нему подошел Юрка Моисеев.

— Санек, ты чего?

— Нормально все, — раздраженно ответил ему Черкасов, — все нормально, — повторил он, как отрезал.

— Санек, — тон Юрки изменился, — со мной так разговаривать не стоит, я тебе не девочка.

— Извини, Юр, — Черкасов попытался улыбнуться, — извини, голова сильно болит.

— Ладно, забыли, — в знак примирения Юрка пожал протянутую ему руку. — Ты чего, в столовку не идешь, что ли? — спросил он прежним дружелюбным тоном.

— Нет, Юра, не хочу.

— Как знаешь, — Юрка заторопился в столовую.

И Саша, сам не зная почему, пошел за ним.

— О, а говорил голова болит, не хочу, — усмехнулся Юрка, заметив вставшего в очередь Черкасова.

— Передумал, — усмехнулся и Черкасов.

— Ну, чем нас там сегодня будут травить? — вызывающе, и видно, что шутя, воскликнул один из пацанов.

— Когда это мы вас травили, умник? — возмущенно, что тоже в шутку, ответила повар, тетя Люба, добавив: — давно за уши не драли, а то вон матери-то скажу.

— Люба, ты его половником, — сурово ответила другой повар, крупная, высокая женщина, которая и была мате-

рю шутика. — Ты мне еще так пошутить! — крикнула она сыну. — Что дадут, то и будешь есть.

Очередь заготовила.

— О! Фаршированные макароны! — взяв тарелку с макаронами по-флотски воскликнул шутик.

— Чего?! — встрепелось несколько мальчишек, — чего-чего?!

— Тьфу ты, блин, макароны с фаршем, — поправился шутик, очень довольный своей неожиданно вырвавшейся остротой.

— По-флотски, значит? — очередь вновь заготовила.

— По-флотски, по-флотски, — смеялась и повар тетя Люба.

Взяв свою порцию, Черкасов сел за один стол с Юркой и еще двумя пацанами: Валеркой, высоким, худым парнем, и тем самым шутиком, коренастым, рыжеволосым Мишей Бражником.

— Классно ты, Михей, приколотся — фаршированные макароны, — говорил Валерка, шумно поедая эти самые макароны, — люблю я макароны по-флотски.

— Я сам макароны люблю, — согласился и Миша.

Черкасов все это время неторопливо возился вилкой в тарелке, нанизывая на вилку короткие белые макароны, усыпанные катышками фарша.

— Ты чего не ешь? — кивнул ему Миша.

— Это не фаршированные макароны, — глядя в тарелку, отвечал ему Черкасов.

— Ясное дело... — весело проговорил Миша.

— Это *фашиованные* макароны, — не дав Мише закончить, продолжал Черкасов.

Три пары глаз с интересом уставились на Черкасова.

— Это фашио из макарон, — продолжал свою внезапно возникшую мысль Черкасов, — макаронный фашио. Макаронный фашизм.

— Во ты куда! — присвистнул Валерка.

— Пацаны, помните, Раиса нам про идею говорила?

— Ты опять о своем, — ответил Валерка.

— Да, — твердо сказал ему Черкасов, — идея. Нам необходимо создать организацию. Организацию Татуированных Макарон.

— Это хорошее название для рок-группы, — усмехнулся Валерка.

— Это название для политической организации, — не слыша его иронии, продолжал Черкасов напористо, пронзительная глубина появилась в его карих глазах. — Вы поймите... — и он даже, но не громко, стал говорить, переводя свой резкий взгляд с одного подростка на другого. Он говорил скомкано, торопясь, казалось, даже сам до конца не понимал произносимых им слов: говорил о раненой стране, говорил о бессмысленности текстов современных рок-групп, говорил вообще о бессмысленности настоящего времени, говорил все то, что владело его мыслями последние дни. Не сказал лишь о своих с Женей похождениях, хотя чуть не проговорился, но вовремя осекся, вновь продолжая про идею. Говорил увлеченно и, как казалось ему, убедительно... — Мы должны перевернуть этот мир, — закончил он с нервной отдышкой, — именно мы.

— Санек, все это круто, — отвечал ему Юра, — но все это хрень собачья. Ладно, пацаны, пойдем, покурим.

Пацаны давно уже все съели, в то время как Черкасов не съел ни одной макаронины.

— Пойдем-ка, покурим-ка, — довольно согласились и Валерка с Мишей.

Отнеся тарелки на мойку, пацаны вышли из столовой — и сразу на улицу. Черкасов вместе с ними. Он чего-то им не договорил. Они не поняли его, он сказал что-то не так...

или не то. Но они должны его понять. Он должен им объяснить. Он обязан.

— Пацаны, вы поймите, — начал он, когда они уже стояли возле входа в школу на улице.

— Санек, это к скинам, они такой хренюю занимают-ся, — перебил его Юрка, — или к РНЕ, на худой конец, к чеченцам. Саня, Раису меньше слушать надо. А лично мне эти коммунистические приколы... — скривив рот, многозначительно закончил Юрка.

— Да, Санек, — добавил Валерка, — мы люди нормальные. У меня отец нормально зарабатывает. Мне это, как ты выразился, бессмысленное время очень даже наполовину смыслом. Я, лично, собираюсь окончить школу и поступить в МГУ. Вообще, Саня, все эти перевороты для быдла или шизофреников. Тем, кто работает, — он многозначительно посмотрел на Черкасова, — китайцы не зря говорили, когда хотели кому-нибудь зла: «Чтобы ты жил во время перемен». И я удивляюсь тебе, Саня, живешь в нормальной семье... Короче, Раису меньше надо слушать. И вообще, из школы ее гнать, а то она своими уроками только мозги засоряет.

Черкасов, затравленный, смотрел на Валерку. Его не понимают. Его не хотят понимать. Они все зажавшиеся маменькины сынки. Они не понимают.

— Вы не понимаете, — не выдержал он.

— Все мы понимаем, — отмахнулся от него Юрка, усмехнувшись, — у верблюда два горба, потому что жизнь борьба, все мы это уже проходили, а вот у тебя, Санек, действительно, с головой того...

— Черкасов.

Саша вздрогнул. Обернувшись на голос, он увидел двух мужчин, идущих к нему от школьных ворот. Один высокий, тучный, в темно-сером пальто, второй низко-

рослый, в коричневой кожаной куртке и с цепкими бледно-синими глазами, смотревшими на Сашу зло и с какой-то псиной ухмылкой. Это псиная ухмылка до спазма в горле враз вцепилась в Черкасова, так, что он отчетливо задрожал.

Опер уже схватил его за рукав толстовки, сказав: «Ну, пошли, идейный ты наш», — когда, ничего видно уже не соображая, в страхе, мгновенно накрывшем его, зверином страхе, Черкасов достал из кармана джинсов свой ножик... Щелчок, и лезвие с силой влетело оперу в лицо.

— А-а-а!!! — заорав, Черкасов, опрометью проскочив мимо Константина Владимировича, выбежал за ворота школы.

Схватившись за распоротую щеку, опер в злобе (чего-чего, а такого отпора он и представить себе не мог) рванулся за Черкасовым.

— Стоять! — орал он, на ходу вытаскивая пистолет. — Стоять! — кровь заливала ему шею и ворот, и больше не боль, а злоба выхватывала этот пистолет.

— Дим!.. — голос следователя заглушил выстрел, — какого... зачем... — хрипел он, тяжело побежав к лежавшему на асфальте Саше Черкасову.

— По-пал, — неожиданно весело, разделяя каждый слог, произнес опер, и неторопливо зашагал вслед за следователем, даже не замечая теперь, что по его лицу шла кровь.

Уехала машина «скорой помощи», увозя тело Саши Черкасова. Расходилась толпа зевак. Милиционеры, небольшими компаниями, двигались в сторону отделения милиции.

Т а Т У и р о в а н н ы е м а к а р о н ы

Константин Владимирович неторопливо шел вместе с опером Димой, с уже зашитой и заклеенной щекой.

— У тебя лицо и куртка в крови, — чтобы что-то сказать, заметил следователь, — ехал бы в больницу, там тебе все, как положено.

— Завтра, — отмахнулся Дима, — в отделении умоюсь. Ерунда.

— Ты зачем стрелял? — не выдержав, произнес следователь. — Он бы дальше своего дома все равно бы не убежал.

— Он бы мог меня зарезать и, наверняка, кого-нибудь прирезал бы по дороге, — искренне удивившись, отвечал Дима.

— Убивать его было бессмысленно, — невольно вырвалось у Константина Владимировича и, осознав сказанные им слова, он в удивлении обернулся к Диме: — Вот тебе, Дима, и идея.

— Да ладно, одной тварью меньше будет, — отмахнулся опер.

Следователь ничего на это не ответил, у него вновь начала болеть голова.

— Пивом голову не обманешь, — чуть слышно произнес он.

— Чего? — не расслышав, переспросил Дима.

— Пошли в кафе, говорю, опять голова раскалывается.

— По пивку?! — потер ладонями Дима.

— Нет, теперь только коньяк, — усмехнувшись, отвечал следователь, глядя на окровавленную куртку опера.

литературно-художественное издание

Денис Коваленко
**ТАТУИРОВАННЫЕ
МАКАРОНЫ**

р о м а н

Корректор *А. Селезнева*
Компьютерная верстка *А. Шукин*

Издательство «Зебра Е»
Изд. лиц. № 05017 от 07.06.2001
119121, Москва, ул. Плющиха, 11
тел./факс (095) 631-25-55
e-mail: zebrae@rambler.ru
zebrae@awax.ru

По вопросам приобретения книг обращаться
в Издательскую группу АСТ:
129085, г. Москва, Звездный бульвар, д. 21, 7 этаж.
Тел.: (095) 215-01-01, факс: 215-51-10
E-mail: astpub@aha.ru, <http://www.ast.ru>

Издание осуществлено при техническом содействии
ООО «Издательство АСТ»

Подписано в печать с готовых диапозитивов 15.12.04.
Формат 84×108¹/₃₂. Бумага офсетная. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 22,68. Тираж 4000 экз. Заказ 1019.

Издано при участии ООО «Харвест».
Лицензия № 02330/0056935 от 30.04.04.
РБ, 220013, Минск, ул. Кульман, д. 1, корп. 3, эт. 4, к. 42.

Республиканское унитарное предприятие
«Издательство «Белорусский Дом печати».
220013, Минск, пр. Ф. Скорины, 79.



АЛТЕРНАТИВА
Н А

ISBN 5-94663-168-3



ДЕНИС

КОВАЛЕНКО

Сенсация Интернета —
«Татуированные мака-
роны».

Скандал Интернета —
«Gamover».

Роман одного из са-
мых ярких авторов
российского поколе-
ния «Next».

Роман, в котором
нет ни ведьм, ни кол-
дунов, ни домовых.
Роман, где обманщи-
ки и злодеи несчаст-
ны, богатые не в си-
лах выбраться из
тупика, а если герой
вдруг оказывается
счастливым, то полу-
чается неправда.
Но выход все равно
есть...